Чайная книга

СОСТАВИТЕЛЬ

Макс Фрай

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Никто никогда не издавай сборника рассказов про чай, тем более — с авторскими рецептами приготовления этого напитка. Поэтому нам пришлось это сделать, а вам теперь придется читать, а потом заваривать чай и печь пироги по нашим рецептам.

- Чайная книга
  - Дмитрий Дейч
    - Из цикла «Переводы с катайского»
  - Марина Воробьева
    - Крепкий чай
  - Виктория Райхер
    - Миньян
      - Часть первая
      - Часть вторая
      - Часть третья
  - Алексей К. Смирнов
    - Три чая, два кофе
  - Елена Касьян
    - Чай для Берты
    - Ключик от Виолетты
    - Три часа пополудни
    - Кое-что о Рут
    - Еще слаще
  - Сергей Малицкий
    - Рвущаяся нить
      - 1
      - 2
      - 3
      - 4
      - 5
      - 6
      - 7
      - 8
      - 9
      - 10
      - 11
      - 12
      - 13
      - 14
      - 15
      - 16

- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24

- Виктория Головинская
  - Один дома в воскресенье
- Н. Крайнер
  - Сказка про поиски счастья
- Константин Наумов
  - Attaya
- Некод Зингер
  - Чай Святой земли
- Юлия Боровинская
  - Пережить лето
- Ольга Лукас
  - Я читаю
- Рая Полонская
  - Однажды
- Лея Любомирская
  - Кошка
  - Несезон
- Мария Станкевич
  - Вопрос веры
- Юлия Бурмистрова
  - Виргиния Министрова, дождь, сахар и половинка хлеба
- Марина Богданова, Оксана Санжарова
  - Тунгусская ракета
- Танда Луговская
  - Лети, лети, лепесток
- Ольга Морозова
  - Поющий тропы
- Светлана Дильдина
  - Остров белого пса
- Алексей Толкачев
  - Бабушкина мята
- Нина Хеймец
  - Пингвин
  - Бюро находок
- Елена Боровицкая

        - Счастливое платье
    - Юка Лещенко
        - Заячий пирог
- art
    - Обложка
- notes
    - 1
    - 2
    - 3

Чайная книга

Дмитрию Дейчу, который справедливо заметил, что сборник рассказов про кофе должен быть уравновешен сборником рассказов про чай.

И был абсолютно прав

Дмитрий Дейч

Из цикла «Переводы с катайского»

Мастер Ван-эр из уезда Цзясин продавал свои чайники в три раза дороже, чем мастера из Цзюйжуна. Некто спросил его: «Неужели вы настолько глупы, что думаете, будто станут покупать у вас — когда у соседей дешевле? Или вы считаете нас, покупателей, глупцами, которые готовы платить за пустоту?» Ван-эр ответил: «Разумеется, вы платите именно за это. Наливая воду в чайник, вы восполняете пустоту, присутствующую в нем. Мои чайники не отличаются по объему от чайников конкурентов, и количество пустоты остается прежним, зато у меня она в три раза гуще, чем у соседей, поэтому цена разумна и оправданна. Скажите спасибо, уважаемый, что я не беру в шесть раз дороже — объем пустоты способен умножить каждый, но, чтобы улучшить ее качество, требуются поистине необычайные умения».

* * *

В городе Кайлин живут люди с ярко-красными волосами. Их женщины носят платья из рыбьей чешуи, а мужчины подпоясываются змеями. Чужих они не жалуют, а все потому, что по кайлинским законам, если чужестранец попросит чего-нибудь, нельзя отказывать, в чем бы просьба ни состояла, а кто не соблюдает этот закон, того живьем закапывают в навоз. И вот, для того чтобы путешественник не мог попросить денег или еды, всех приезжих отлавливают сетями прямо на въезде в город и зашивают рты прежде, чем они догадаются заговорить.

Однажды в тех краях оказался императорский посланник, ехавший с государственной инспекцией в Чжоу. Только он оказался у ворот, как его вместе со слугами и охраной накрыли крупноячеистой сетью, оглоушили и поволокли в темницу. И уже было собрались зашить рот — ему и всем, кто был с ним, — как один из нападавших вспомнил, что перед тем, как бедолагу лишили сознания, он успел крикнуть «еще чаю!». Верно, он обращался к своим собственным слугам: одного из них застигли с горячим чайником в руке, но уверенности в этом не было, поэтому, прежде чем зашить ему рот, принесли чашку чая и привели чужеземца в сознание, чтобы соблюсти законы гостеприимства.

А для того чтобы посланник не мог попросить их еще о чем-либо — словами или знаками, — горожане послали с чаем двух увечных, один из которых был глух, а другой — слеп.

Посланник, не будь дураком, тут же сообразил, что разбойники, захватившие его, придерживаются каких-то неведомых местных правил, но угадать, в чем тут дело, не мог,

поэтому решил просто тянуть время, надеясь на авось. Ноги его были связаны намертво, на руках были железные кандалы, зато голова, хоть и побаливала после удара, все же была достаточно свежа, чтобы принимать решения. Он пил свой чай такими маленькими глотками, что чашка оставалась полной до самого вечера.

Неоднократно посланник пытался заговорить со своими тюремщиками, но слепой стоял заткнув уши, как ему было велено, а глухой — крепко зажмурив глаза. Оба они ждали окончания чаепития поодаль — так, чтобы ненароком не оказаться в пределах досягаемости пленника, — и при всем желании он не мог принудить их говорить или слушать.

Наконец тот из горожан, что был глух, не выдержал и приоткрыл один глаз — чтобы проверить, в чем дело, почему до сих пор не подают условленного сигнала, после которого им обоим можно будет наконец покинуть темницу.

Пленник немедленно макнул палец в чай и вывел прямо на стенке своей чашки два иероглифа: «ЕЩЕ ЧАЮ».

Иероглифы быстро высохли, но дело было сделано: глухому ничего не оставалось, как отправиться за дверь.

Когда он выходил, посланник обратил внимание на то, что коридор был переполнен людьми: все они молча ждали, когда он наконец допьет свой чай, чтобы снова оглушить его и навсегда лишить дара речи.

Не теряя больше ни секунды, он завопил что есть мочи: «Свободу мне и моим людям!» — и, разумеется, тут же был освобожден и с почестями препровожден к городским воротам.

Всю дорогу посланник молчал как рыба, но, выходя за ворота, обернулся, как бы желая что-то сказать, и, когда толпа горожан в ужасе замерла, расхохотался и попросил отменить нелепый закон, приведший к большому количеству напрасных жертв и зряшных усилий.

* * *

На поле боя полковник Лин из Хао и Костлявый У, который командовал Чусской армией, были злейшими врагами, но как только военные действия прекращались и наступало перемирие, не могли отказать себе в удовольствии встретиться, подобно добрым друзьям, — в чайном домике, чтобы провести вечер, обмениваясь мыслями о природе человека и назначении государства. Когда чай был распробован и старинная посуда оценена по достоинству, Костлявый У сказал: «Сегодня вечером я

припомнил обстоятельства нашей первой встречи. И вот удивительно: события всплыли в моей памяти с такой ясностью, будто это произошло вчера… Знаете ли вы, уважаемый, сколько лет мы с вами знакомы?»

Полковник рассмеялся и ответил: «Совсем недавно я тоже думал об этом и пришел к выводу, что впервые мы узнали друг друга на поле битвы ровно сорок лет назад».

«Совершенно верно! — воскликнул У. — Вот уже сорок лет мы стараемся погубить друг друга, будто нет у нас дел поважнее! А ведь если задуматься, такие люди, как мы, могли бы действовать сообща!»

«Ах, если бы это и в самом деле было возможно… Увы, служивые люди Поднебесной — заложники долга, и мы с вами не можем позволить ради личной симпатии забывать о политических интересах. Сегодня нет между нами ничего, помимо любви и уважения, но завтра на поле брани мы без колебания перегрызем друг другу глотки. Единственное утешение состоит в том, что если кто и победит меня в сражении, то это будет человек, к которому я испытываю самые добрые чувства».

«В таком случае, — подумав, сказал У, — я принимаю решение за нас обоих. Здесь и сейчас, в присутствии Мастера чая, клянусь, что ни при каких обстоятельствах не стану посягать на вашу жизнь, и клятву свою ставлю выше велений долга и законов государства».

Услышав эти слова, полковник Лин прослезился. Колени его задрожали, ум пришел в расстройство, он ничего не сумел сказать в ответ, как ни старался. Увидев, что рассудок больше не подчиняется ему, он махнул рукой и стремительно покинул чайный домик, не найдя в себе сил даже для краткого прощания.

Костлявый У остался наедине с Мастером чая, и тот, дождавшись, пока смятение, вызванное неожиданным проявлением чувств, окончательно уляжется, сказал: «Нынче вечером мне довелось присутствовать при удивительном событии, — никогда не забуду ощущения, которое вызвали у меня слезы на глазах этого человека. Но вот что занимает меня, и я многое готов отдать, чтобы рассеять сомнения: каким образом полководец способен исполнить подобную клятву? Неужели в пылу битвы вы покорно подставите грудь под удар вражеского клинка?»

«Думаю, в этом не будет нужды», — ответил старый вояка, пробуя на язык восхитительный чай, в седьмой раз заваренный Мастером.

«Неужели вы надеетесь, что полковник Лин последует вашему примеру и откажется от сражения?»

«Это не в его духе».

«В таком случае, на что вы рассчитываете, уважаемый?»

Костлявый У, зажмурившись, снова отхлебнул чая и вместо ответа спросил: «Во время своей церемонии вы прежде кладете чай или льете воду?»

«Я кладу чай», — ответил на это Мастер.

«Может ли получиться хороший чай, если прежде налить воды?»

«Я слышал о том, что Мастер чая по имени Ю Лань из уезда Хубэй однажды поступил ровно так, как вы говорите. И хотя все знают, что ни хороший, ни даже сколь-нибудь приличный чай не может быть приготовлен, если до такой степени исказить порядок действий, гости, бывшие в чайном домике, были изумлены: волшебный напиток превосходил все, что они пробовали до сих пор! Позже, когда ученики просили Мастера научить их этому удивительному способу или повторить церемонию, он отвечал, что совершить подобное деяние Мастер способен лишь раз в жизни».

«Я хорошо знаю эту историю, — улыбнулся Костлявый У, — поскольку был в числе гостей и все видел своими глазами. В самом деле, ни до, ни после не приходилось пробовать ничего подобного. Аромат чая был так силен, что вэньянский платок, который я оставил рядом с чашкой, хранит его до сих пор. Тем вечером, когда восхищенные гости принялись расходиться, я задержался на минутку и спросил Мастера Ю Ланя: „Вы хорошо знали, что, если чай будет испорчен по причине грубого нарушения правил, вам придется расстаться с титулом, всем своим имуществом, а может быть, и с самой жизнью. На что вы рассчитывали, когда, поддавшись внезапному порыву, изменили порядок церемонии?“ И Мастер ответил: „Я ни на что не рассчитывал. И потому не мог ошибиться“».

Об элитных чаях, чайных мастерах и чайных клубах: инструкция для ленивых, но любопытных
(Рецепт от Макса Фрая)

В смысле, для тех, кто давным-давно собирается как-нибудь на досуге приобщиться к чайной культуре, но не знает, с чего начать. Ну и заодно для тех, кто однажды где попало непонятно что попробовал и не понял, в чем, собственно, фишка. Так часто бывает.

Тут такое дело. Все эти элитные китайские чаи (белые, желтые, зеленые, бирюзовые, красные и черные), о которых то и дело рассказывают знатоки и гурманы,

отличаются от напитка, который рядовой европеец привык считать чаем, как, скажем, вино от воды. То есть и то и другое утоляет жажду, но воздействует на организм совершенно по-разному. Надеюсь, это понятно.

Я настоятельно не советую вам бежать в ближайшую лавку, приобретать там первый попавшийся дорогой чай и заваривать его дома. Ничего не выйдет, если вы не прирожденный гений, а очень мало шансов, что вы гений именно в этой области. Впрочем, даже гению необходимо знать ритуал, то есть некоторые технические подробности приготовления чая. И хорошая специальная посуда не помешает.

Поэтому правильно действовать так:

• При первой возможности пойти в специальный чайный клуб, в Москве их довольно много, в Питере тоже имеются; как обстоят дела в других городах и странах, не знаю, но надеюсь, что чайная жизнь есть уже практически везде.

• В чайном клубе необходимо нарваться на хорошего чайного мастера. Это самый важный момент. Чайный мастер должен быть магом (то есть обладать способностью изменять материальный мир по своей прихоти) или хотя бы колдуном (назубок знать ритуал), идеальный чайный мастер совмещает оба эти качества.

Что важно. Чайный мастер, который будет готовить вам чай, должен быть вам по-человечески симпатичен, иначе — деньги (обычно немалые) на ветер.

Еще хороший чайный мастер не должен по ходу дела слишком много трындеть про эзотерику. Обычно чем больше трындит, тем меньше толку, проверено не раз.

При этом на все ваши вопросы чайный мастер должен отвечать внятно, толково и — самое главное! — так, чтобы вы не чувствовали себя идиотами только потому, что не знаете чайной культуры. Невежество, помноженное на желание учиться, не изъян, а достоинство. А чайному мастеру, который заставляет клиента смущаться, стесняться, прятать глаза и руки, чувствовать себя дураком, место в «Макдоналдсе». Бегите от него прочь.

Пол, возраст, национальность и одежда чайного мастера значения не имеют. Я хочу сказать, что седобородый азиат в шелковом халате вовсе не

обязательно приготовит чай лучше, чем юная европейская девица в шортах, хотя облик первого, безусловно, внушает доверие и настраивает на возвышенный лад.

Чтобы раз и навсегда приохотиться к чайной культуре, имеет смысл начинать знакомство с элитными чаями с каких-нибудь ярких сортов. Скажем, зеленый жасминовый или улун с молочным ароматом. Это, конечно, не обязательно, но так просто больше шансов, что чай вам сразу очень понравится. Самые тонкие и изысканные чаи неподготовленному человеку вообще чуть ли не водой кажутся. Гурманами становятся постепенно, понимание нюансов приходит с опытом.

Обучаться приготовлению чая лучше всего во время визитов в чайный клуб, наблюдая за действиями чайного мастера, который с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Если чайный мастер на вопросы не отвечает, значит, он занимает чужое место. Махните на него рукой и поищите кого-нибудь другого.

Там же, в чайных клубах, обычно продается соответствующая посуда, чай разных сортов и прочие необходимые вещи. Некоторые люди уже после второго-третьего чаепития понимают, что могут распрекрасно делать все это сами дома. Некоторым надо больше времени. Наконец, некоторые понимают, что им все это счастье даром не нужно, и это тоже верное решение. На чае свет клином не сошелся, потому что есть еще мате. И кофе. И водка, в конце концов.

А рекомендовать заочно какие-то сорта чая решительно невозможно. Их нюхать надо, когда покупаешь. И вообще, сперва следует побольше всего перепробовать и узнать, что вам на самом деле нравится. В этом смысле чай ничем не отличается от других событий человеческой жизни.

Марина Воробьева

Крепкий чай

На даче как на даче. Стемнело, Славка заварила чай покрепче и села на веранде у окна. Хорошо, что окно смотрит на тропинку, и, если в калитку входят ночные гости из города, Славка сначала видит через цветные стекла веранды, как они проходят к двери, машут и улыбаются. Окно длинное, и можно почти минуту смотреть это цветное кино. Но дверь открывается, друзья громко смеются, со звоном вываливают на стол рюкзаки с бутылками и консервами. Теперь друзья уже не такие разноцветные и прекрасные, как на тропинке за окном веранды, и Славке хочется отмотать все назад, чтобы все вышли и попятились по тропинке к калитке, и опять вперед, и опять назад.

Сегодня гости так и не появились, только Ромка вернулся из города. Ромка проскочил от калитки до двери так быстро, что Славка не успела его рассмотреть, и он вошел в дом совсем не окрашенный, черно-белый и злой. Кинул сумку: «Разбери!» Долго мыл руки, сначала смывал с куска мыла, подобранного с пола, песок и налипшую муху, потом намыливал руки два раза, а потом кончилась вода в умывальнике и Славка налила еще из ведра.

Ромка сел за стол: «Чаю налей!» Славка поставила чайник, чтобы разбавить остывшую крепкую заварку кипятком. Ромка взял из ее рук фарфоровый чайник с заваркой, хлебнул из носика и поперхнулся.

— Славка! Ты сколько заварки положила?!

— Три ложки… столовые.

— А ты знаешь, сколько стоит сейчас чай? А ты знаешь, что у меня опять проблемы на работе и надо экономить?

— Но это заварка…

— Уходи!

— Но последняя электричка…

— …из моего дома!

Славка ничего не собирает, деньги и проездной на метро у нее в кармане, она выходит за калитку и бежит по поселковым улицам в сторону станции. Бежит так быстро, что поселковые собаки собираются в стаю и на бегу съедают подол Славкиной юбки, а она не замечает и все же вскакивает в последний вагон последней электрички.

* * *

Славка уже почти спит, когда электричка подъезжает к городу, и, вместо того чтобы войти сразу через переход в метро, Славка оказывается на улице. Садится на вокзальной площади на скамейку и закуривает. Мимо Славки проезжает танк. Потом еще

один танк. И еще.

— Чего расселась? В городе война! — кричит ей танкист, высунувшись из люка.

— А кто враги? — равнодушно спрашивает Славка, затягиваясь сигаретой. Но танкист ее уже не слышит, а потом и вовсе падает с простреленной головой.

Славка, не бросая сигареты, бежит в переулок и встречает там своего бывшего из Лейпцига с перевязанной рукой и лучшую подругу из Америки в костюме бабочки. Из динамика, который висел над ними на кирпичной стене, вываливаются звуки вальса, и подруга в костюме бабочки танцует.

Славка внимательно смотрит на ее крылья. Крылья сделаны из папиросной бумаги, странно, что они не рвутся на ветру. Красивые крылья, но почему-то черно-белые. Вдруг Славка понимает, что и листья на деревьях серы не от ночной темноты.

Славка так долго и внимательно всматривается в окружающие предметы, что переулок расступается, чтобы не смущать Славку, и справа виден пустырь. А в конце пустыря цветное пятно светится. Славка идет на это цветное пятно.

Славка идет около часа, пока ей не надоедает. Тогда Славка садится и достает последнюю сигарету. Она сидит у веранды с цветными стеклами. Веранда похожа на ту, что на Ромкиной даче, только дома при этой веранде нет, зато на улице стоят столики. Наверное, кафе. Интересно, откуда оно здесь, думает Славка и садится за столик на улице. К ней никто не подходит, и Славке приходится подняться и топать на веранду, чтобы поторопить официантов, ей хочется пить. На веранде никого нет, зато на каждом столике стоит тяжелый чугунный чайник с кипятком. Славка открывает шкаф и находит несколько пачек заварки. Она открывает пачки одну за другой и потрошит их прямо в кипяток. Славка любит крепкий чай. Теперь можно сесть у окна и через цветные стекла рассмотреть посетителей, которые направляются в Славкино кафе. Пока посетители, прекрасные и разноцветные, идут по тропинке через пустырь, можно все придумать сначала. Теперь никто не изменит цвет, входя в Славкину дверь, и никто никогда не посмеет играть вальс.

— Маэстро! Польку-бабочку! — кричит Славка и думает: ох, знать бы еще, что это за полька-бабочка.

— Нет проблем, — подмигивает Славке невесть откуда взявшийся Маэстро и взмахивает палочкой.

Крепкий чай

Бухнуть в чайник побольше заварки, залить

кипятком. Пить из носика.

Виктория Райхер

Миньян

Миньян (букв. «счет», «подсчет», «число») — группа из десяти взрослых мужчин, необходимая для общественного богослужения и ряда религиозных церемоний. Талмуд устанавливает число «десять», ссылаясь на ряд библейских стихов.

Еврейская энциклопедия

Часть первая

— А Рахель, дочка Элиэзера Рыжего, потом вышла замуж за сына Миры. Ты помнишь Рыжего Элиэзера, Менаше? Он торговал коврами на той улице, по которой никогда не ходила хромая Нехама, у нее там сын погиб в драке, помнишь? Драку-то ты должен помнить, о ней весь город говорил. Сын Нехамы напал с ножом на резника Иоава, нападать с ножом на резника — ты не находишь, что это идиотизм? Но он напал. И Иоав его зарезал, а кто бы его не зарезал на месте Иоава, если сын Нехамы сначала увел у него жену, а потом пришел его убивать? На мой взгляд, это глупость — сначала уводить у человека жену, а потом приходить его убивать. Если уж увел, сиди тихо, нет? Но сын Нехамы, ты же знаешь, он всегда был, бедолага, недалек…

Роза глубоко вздыхает и наклоняется, чтобы потрогать Менаше лоб.

— По-моему, опять жар, — озабоченно говорит она и нажимает на красную кнопку возле кровати. Никто не приходит. Роза встает, опираясь на палку.

— Опять болтают у себя. Вот скажи мне, Менаше, почему молодые женщины так любят поговорить? Что им уже есть сказать? Говорить должны старые, у них опыт и много свободного времени… Подожди минутку, я позову кого-нибудь.

В коридоре тихо. На полу ковер, поэтому Розино шарканье не очень слышно. На стенах висят картины, изображающие птиц.

— Птицы, — бормочет Роза, шаркая по коридору, — птицы, звери, гады морские… Хоть бы одного приличного человека нарисовали.

Она доходит до двери с табличкой «Дежурная сестра» и палкой стучится в дверь.

— Ау! Вы меня слышите там, или все уже насмерть заговорились?

Дверь распахивается, и на пороге возникает, потягиваясь, заспанная румяная Мири в мятом белом халате.

— Роза, Роза, чего ты кричишь? Ты знаешь, который час?

— Я-то знаю, который час, — отвечает Роза, — а вот тебе до этого не должно быть никакого дела. У тебя работа такая — не знать, который час. У Менаше снова температура.

— Опять? — Мири становится серьезней. — Сколько? Ты измеряла?

Роза презрительно пожимает плечами:

— Стану я измерять. Я рукой знаю.

Мири заходит в комнату и выходит снова, выкатывая за собой столик с лекарствами и шприцами.

— Роза, ты просто скандалистка, — весело говорит она. — Ты уже тут достала всех. То ты рукой знаешь температуру, то сердцем чуешь воспаление…

— А что, — Роза задирает подбородок вверх, — а и чую. Мой муж, не твой. У тебя-то самой муж есть?

— Как не быть. Есть.

— Да, ты сдобная, — одобрительно говорит Роза, оглядывая Мири с ног до головы, — мужу с тобой должно быть хорошо. Так неужели ты не чувствуешь, когда у него температура или что болит?

Мири катит тележку по коридору. Тележка катится мягко, стеклянные пузырьки неподвижны, только изредка легонько позвякивают.

— Я про сына такое чувствую. И про дочку. А про мужа — чего ему? Он здоров.

Роза идет за Мири так быстро, как может, но все равно отстает.

— Мужчина, Мири, — говорит она, — для женщины как ребенок. Ты все о нем знаешь, даже если он не говорит.

— Я работаю, — отвечает Мири, ввозя тележку с лекарствами в комнату, где лежит Менаше. — Мне не до того, чтобы ладонью температуру здоровому мужику измерять.

Мири берет Менаше за руку и, шевеля губами, считает пульс. Потом трогает ему лоб и ставит термометр. Через три минуты термометр пищит.

— Горит! — сообщает Роза. — Я же говорила.

— Да не то чтобы горит, — пожимает плечами Мири, глядя на термометр, — но и не то чтобы нет. Я дам жаропонижающее.

— Сделай укол, как в прошлый раз, — просит Роза. — От того лекарства, которое было до того, у него потом синяк был.

— Ладно, — соглашается Мири и распечатывает шприц.

После укола Менаше дышит спокойней.

— Эй, — окликает Роза в спину уходящую Мири, — спасибо тебе.

— Не за что, — оборачивается Мири от дверей, — спокойной ночи. Ты опять всю ночь тут будешь сидеть или к себе пойдешь?

— Температура упадет — пойду, — обещает Роза. — Всю ночь сидеть не буду, не тот у меня возраст — ночами сидеть.

Мири выходит, прикрыв дверь. Роза гладит худую руку Менаше, лежащую на простыне.

— Никуда я не уйду, не бойся, — говорит она. — Утренняя смена придет, тогда пойду. С тобой Дита посидит. Я же не досказала тебе. Когда Рахель выходила замуж, она должна была в этом ее странном белом платье, совершенно нескромном, спуститься прямо к жениху со ступенек магазина своего отца. Так? А Нехама — она же была двоюродной сестрой отца невесты. И что ей, по-твоему, было делать? Если на этой улице, значит, погиб ее сын и она по ней, разумеется, никогда не ходит — но по этой же улице пойдет под хупу ее племянница, и куда ей деться? Так Нехама вот что придумала. Она всегда была ненормальная, поэтому и придумывала выход из любого положения, ты же понимаешь. Она сказала — «не пойду по улице», и она по ней не пошла. Она пошла по ковру! Пришла к своему брату, Рыжему Элиэзеру, и говорит: «Дай мне два ковра!» Он сначала не понял, он всей семье регулярно дарил ковры, ты что, спрашивает, хочешь их сменить? А она ему отвечает — нет, я на свадьбу твоей дочери пойду по твоим коврам… Так и шла. Она шла, а двое ее детей от второго брака, Амир и Рони, перетаскивали эти ковры один за другим, чтобы хромая Нехама могла не ступать на землю. И все бы ничего, Менаше, но вот ты мне скажи: как она могла после всего этого спокойно забрать те ковры к себе домой и постелить в салон?

* * *

Ночь почти прошла. Скоро придет утренняя смена.

Мири зевает и тянется к расписанию — проверить, кто их меняет. Ага, Иланит и Нили. Иланит — это хорошо. А Нили молоденькая слишком.

— Я ее прошу вчера, — говорит Мири, продолжая изучать расписание, — подойди к этой парочке, Розе с Менаше, дай Розе попить, жарко. Так она меня спрашивает, представляешь: а разве Роза относится к нашему отделению? Она же вроде к ортопедии приписана, может, там и попьет?

Седая Полина, напарница Мири, качает головой.

— Бедная Роза, — говорит она. — Так и сидит с ним целыми днями, а?

— Сидит, — кивает Мири. — Спускается с утра на лифте из своего отделения и сидит. Разговаривает.

— Да, поговорить она мастер, — Полина ладонью массирует себе виски и трет глаза, — будто не видит, что он не понимает ничего.

Мири собирает в сумку мобильный телефон, зеркальце и губную номаду.

— А кто знает, понимает, не понимает? Он же не говорит. Кто его разберет.

— Когда я еще работала в России, — говорит Полина, не отрывая ладони от лица, — у нас была одна старая врач. Так она по выражению глаз полностью парализованного человека могла понять, что он чувствует.

— Я со своим сыном так могу. — Мири достает из сумки расческу и причесывается перед небольшим зеркалом, висящим на стене. — Он спит, а я из соседней комнаты знаю, что у него заболело что-нибудь. Ладно, полседьмого. Пойдем меняться. Пора.

* * *

Солнечный коридор еще пустой. Это «шахматный коридор»: пол в нем выложен черно-белой плиткой. По коридору туда-сюда, перешагивая длинными ногами через три-четыре клетки, ходит и кашляет Исайя.

— Реб Шае! — Из-за угла коридора появляется тощий Меир. — Молиться пойдешь?

— Нет, — не оборачиваясь, отвечает Исайя, продолжая измерять шагами коридор.

— Реб Шае, нехорошо! — укоряет Меир, осторожно переступая по клеткам. — Десятый нужен, миньяна нет.

— Доктора попросите.

— Доктор в вечернюю смену. С утра сегодня бабы.

Исайя закашливается, Меир пережидает. Как только наступает тишина, вступает снова:

— Реб Шае, пойдем молиться. Тебе же хорошо будет потом, доброе дело сделаешь — и себе, и нам. День без молитвы — что это за день? То ли жил, то ли нет. Мы ведь не дикие звери, без молитвы жить.

— Не витийствуй попусту, — надменно говорит Исайя. — Я

занят.

Меир бросает быстрый взгляд в сторону лестницы.

— А я тебе скажу кое-что, — он понижает голос. — Ты пообещаешь пойти со мной молиться, а я тебе скажу кое-что.

— Что? — останавливается Исайя. — Ты ее видел, да? Ты видел Шейлу?

— Да, — кивает Меир, вставая на цыпочки, чтобы Исайя его лучше слышал. — Да, я ее видел.

— Когда?

— Вчера. И она сказала…

Меир прикрывает ладонью рот и смеется.

— Вот пообещаешь пойти с нами помолиться, тогда скажу.

— Так не могу я уйти-то, — почти миролюбиво объясняет Исайя, — я же ее пропущу.

— Не пропустишь, — шепчет Меир, сгибаясь так, что высокому Исайе приходится низко нагнуться к нему, — она с утра в парикмахерскую пошла.

Лицо Исайи выражает непонимание.

— В парикмахерскую? Зачем?

Меир хихикает тоненько, и шея его дрожит.

— Ты старый, Шае. Ты совсем старый пень. Зачем женщина ходит в парикмахерскую? Чтобы стать красивой!

— Ей не надо, — уверенно говорит Исайя. — Она и так красивая.

— Ты не только старый, ты еще и глупый. Любая женщина хочет стать красивее, чем она есть на самом деле. Ты что, забыл? У тебя что, жены не было никогда?

— Была, — признается Исайя. — Умерла. Пятнадцать лет назад.

— За пятнадцать лет у тебя высохли остатки мозга. — Меир сокрушенно качает головой, тихонько направляя Исайю в сторону лестницы. — Женщина пошла в парикмахерскую. Женщина хочет стать красивой. Что это означает?

— Что это означает? — Исайя смотрит на Меира сверху вниз и хмурит брови.

— Это означает две вещи. Во-первых, что ближайший час она сюда точно не придет. А во-вторых, что ты ей нравишься, глупый хрен!

— Нравлюсь?

— Нравишься.

— Я?

— Ты.

— А вот это мне абсолютно все равно, — величественно произносит Исайя, разворачиваясь в сторону лестницы. — Бог с

тобой, религиозный фанатик. Пошли молиться. Может, вымолим себе чего-нибудь.

* * *

Шейла Майер смотрит в большое зеркало. Жаннин в длинном белом халате укладывает ей волосы феном.

— Не слишком пышно, — просит Шейла. — Я свои волосы знаю. Чуть переборщишь с феном — сразу клубятся, как взбитые сливки. А я делаюсь похожей на продажную женщину.

— Ну что вы, миссис Майер, — с горячностью спорит Жаннин, — вы у нас самая элегантная. И кожа, посмотрите, какая кожа. Почти никаких морщин.

Шейла складывает губы бантиком, посылая сама себе в зеркало воздушный поцелуй. И уточняет:

— На дешевую продажную женщину.

— У вас изумительные волосы, миссис Майер, — говорит Жаннин. — Я бы тоже хотела такие.

— У тебя не хуже. А если будешь делать два раза в день гимнастику для лица, то и морщин не будет.

Жаннин отводит руку с феном и с тревогой всматривается в свое отражение.

— У меня вроде пока и нет морщин.

— Ой, извини, ради бога, — смеется Шейла. — Я хотела сказать — в моем возрасте.

Жаннин причесывает ее маленькой расческой.

— Брови подправь, — напоминает Шейла.

— У вас сегодня что, свидание? — интересуется Жаннин.

— Посмотрим. — Шейла загадочно улыбается. — Если повезет, то да.

— А если не повезет?

— Значит, повезет завтра.

Жаннин заканчивает работу и под конец опрыскивает Шейлу духами.

— Вот и всё, можете идти на свое свидание.

— Кто же ходит на свидания с утра. Я вечером пойду.

Жаннин ахает:

— А режим?

Шейла смеется:

— А режим не пойдет.

Она идет по коридору, напевая про себя.

— Как вы легко ступаете, миссис Майер, — говорит ей

проходящая мимо Иланит. — Как балерина.

— Я была большим начальником, — отвечает Шейла. — Начальники должны легко ступать. Иначе все будут думать, что у них нечистая совесть.

Отдалившись от Иланит, Шейла заворачивает в коридор мужской половины отделения и проходит мимо комнаты номер двадцать семь. Дверь комнаты закрыта.

Шейла тихонько идет до конца коридора. Разворачивается, идет в обратную сторону, притормаживает напротив двадцать седьмой комнаты и очень осторожно, придерживая себя за спину, садится на пол. И охает во весь голос.

Дверь моментально распахивается, и рядом с Шейлой вырастает Исайя.

— Шейла! Господи, что с тобой?

Она улыбается высокому Исайе снизу вверх:

— Привет. Я тут мимо шла. И, представляешь, упала.

— Ужас какой, — говорит Исайя и сияющими глазами смотрит на нее.

* * *

Кровать Менаше поставлена так, что до полудня солнечные лучи из окна ложатся ему на грудь.

— Он, когда спит, иногда хрипит. А если нет — то дышит настолько тихо, что мне приходится ему к губам зеркало подносить, — негромко говорит Роза вошедшей Дите. Дита крупная, она тяжело ступает, пол под ней скрипит, и Роза смотрит с неодобрением. — Ты шумишь.

— Глупости, — басом отмахивается Дита. — Кому я тут мешаю.

— Нам, — кротко говорит Роза, поглаживая плечо Менаше. — Мы спим.

Дита усаживается на стуле и вынимает вязание.

— Роза, на тебе лица нет. Ты когда спала в последний раз?

— Я каждую ночь сплю! — возмущается Роза.

— Вот я попрошу кого-нибудь тебе давление измерить. — Дита звучит так, будто угрожает, но смотрит она тревожно. — Ты те таблетки пьешь?

— Пью, — моментально отвечает Роза. — Каждый день.

— Сколько раз в день?

— Четыре.

— Сколько-сколько?

— Ну… два.

— Роза… — в голосе Диты слышится усталость. — Роза, какого цвета те таблетки?

— Какие таблетки, Дита?

— О которых мы говорим. Которые ты пьешь каждый день.

Роза задумывается. Думает она долго, Дита успевает развернуть вязание, вынуть спицы и немного провязать.

— Синие. То есть нет. Белые.

— Ты уверена?

— В чем?

— В том, что они — синие. Или белые.

— Кто синий, Дита?

Дита начинает смеяться. От смеха у нее трясутся полные щеки, и она делается похожей на лающего бульдога. Роза смеется вместе с ней.

— Ты… — с трудом выговаривает Роза сквозь смех, — ты, когда смеешься… похожа… на лающего бульдога…

— Почему на лающего? — обижается Дита. — На смеющегося уж тогда.

Роза успокаивается, бледными пальцами вытирая слезящиеся глаза.

— Бульдоги не умеют смеяться. Они собаки.

— Собаки, Роза, всё умеют, — нравоучительно говорит Дита, снова берясь за спицы. — У тебя просто никогда не было собак.

— Не было, — соглашается Роза. — Но зато у нас была собственная лягушка. Она жила в саду.

— Так, всё, с меня хватит. — Дита машет рукой. — Сейчас ты скажешь, что эта лягушка умела разговаривать, а через пять минут я поверю, что ты ее поцеловала и она превратилась в принца. Иди спать.

— Иду, — соглашается Роза. — Но лягушка у нас действительно была.

— А что с ней стало потом? — с подозрением спрашивает Дита и косится на Менаше. — Ты же не хочешь сказать мне, что он…

Роза останавливается в дверях и тоже смотрит на Менаше.

— Я бы с радостью тебе это сказала, — говорит она неожиданно грустно. — Но она жила у нас через шестьдесят два года после того, как мы с Менаше поцеловались в первый раз.

* * *

В десять — обход. Дежурит доктор Фаина — подтянутая,

прямая, с красивым немолодым лицом. С ней ходят высокая размашистая Иланит и Нили, у которой на груди, над кармашком белого халата, вышито «Нили» зеленым мулине.

— Доброе утро, — здоровается доктор Фаина.

— И тебе, — басом соглашается Дита, шевеля спицами и губами считая петли.

— Что ты вяжешь? — спрашивает доктор, приближаясь к кровати, на которой лежит Менаше.

— Свитер, — неохотно отвечает Дита и сворачивает вязанье. — Проверь, что там с ним, ладно? Роза говорила, ночью температура была.

Доктор Фаина кивает и приближается к Менаше.

— Пролежни лечим, — подходит Иланит, — но пока безуспешно.

— Вижу, — вздыхает доктор Фаина, открывая Менаше и разглядывая ярко-красные пятна у него на боку. — Не помогает. Ладно. Я выпишу ему другую мазь.

Она диктует, Иланит записывает, Дита слушает, приоткрыв рот. Доктор Фаина прикрывает Менаше простыней и поворачивается к двери.

— А что мне ей сказать? — останавливает ее Дита. — Она же спросит.

— Скажи… — доктор Фаина мнется. — Скажи, чтоб зашла ко мне. Она когда придет?

— Днем должна. Я ее спать отправила, она не спит совсем.

— Не спит — это плохо, — задумчиво говорит доктор Фаина, глядя мимо Диты, — может, ей снотворное выписать? Чтоб спала?

Дита сокрушенно качает головой:

— Ты, конечно, можешь выписать. Но пить его она не будет.

— Почему?

— А я знаю? — Дита пожимает обширными плечами. — Она не верит в таблетки. Говорит, пока жив Менаше, я не умру. А потом — какая разница?

Нили негромко вздыхает. Зеленое вышитое «Нили» поднимается и опускается на ее груди.

— Передай ей, пусть зайдет ко мне, — повторяет доктор Фаина и выходит.

Стоит ей зайти за угол коридора, к ней подходит Роза, тяжело подволакивая ноги.

— Доброй утро, — осторожно говорит она.

— Доброе утро, — здоровается доктор. — Ты почему не спишь?

— А почему я должна спать? — кротко удивляется Роза. — Я

же не сова, чтобы спать днем.

Доктор Фаина берет Розу под локоть.

— Ты как себя чувствуешь в последнее время?

— Отлично, — заверяет ее Роза, — а вот Менаше ночью, ты знаешь…

— Знаю, да. Я видела. У него пролежни не проходят, уже начали образовываться пузыри.

— Ты не видела, какие пузыри были у моего дяди Яцека, — оживляется Роза, — я как сейчас их помню. Он двадцать лет лежал в постели, у него был диабет и не было обеих ног. Так вот, таких пузырей, какие были у него, я никогда в жизни не видела. И на боках, и на животе, и…

— Роза, — мягко говорит доктор Фаина, — это очень нехорошие пузыри.

— А я что говорю, хорошие, что ли? Я и говорю тебе, двадцать лет у моего дяди Яцека были такие вот нехорошие пузыри, и все двадцать лет…

— Ты таблетки пьешь, которые я тебе выписала? — спрашивает доктор Фаина.

Роза с готовностью кивает, смотрит на доктора секунду и отвечает:

— Нет.

— Вот за что я тебя люблю, Роза, — говорит доктор Фаина, — это за то, что ты никогда не врешь.

— Выпиши ему какую-нибудь другую мазь, — просит Роза. — У него температура, ему больно. Из-за этого ему снятся плохие сны.

— Я не думаю, что ему снятся плохие сны. Но мазь выпишу, хорошо. А ты все-таки иди поспи.

— Пойду, ага, — соглашается Роза.

— Правда?

— Кривда.

Доктор Фаина смеется:

— В этом доме только от тебя и услышишь такие слова.

— Ужас, да? Меня Менаше всю жизнь за язык ругает. Роза, говорит, ты со своим языком когда-нибудь доберешься до ада. А знаешь, что я ему отвечаю?

— Что?

— Что уж в аду-то мне точно найдется с кем поговорить…

* * *

У Ханы боли с утра, и она лежит в постели. Рядом Стив,

читает ей вслух английский детектив. Он, как обычно, сидит с прямой спиной и держит книгу далеко от глаз.

— Хорошо знать иностранные языки, — говорит Мири, ввозя тележку с лекарствами и поправляя волосы при виде Стива. — Я вот даже французского толком не знаю, хотя мои родители и пытались меня научить. А уж английский, так вообще…

— А у меня с ивритом до сих пор проблемы, — извиняющимся тоном говорит худощавый Стив. — И еще у меня акцент. Сразу видно, что я — американ.

— Американец, — смеется Мири. — «Американ» звучит как «орангутан».

— Что такое «орангутан»? — интересуется Стив.

Хана открывает глаза.

— Стив, орангутан — это такая обезьяна, — говорит она и закрывает их снова.

— Большая? — интересуется Стив.

Мири задумывается.

— Да, довольно-таки большая.

— Тогда ладно, — соглашается Стив. — В конце концов, все мы более или менее большие обезьяны.

— Я — нет! — Мири встряхивает пышными волосами.

— Ты — маленькая обезьяна, — не спорит Стив. — И хорошенькая.

Мири меряет Хане давление и делает укол.

— Боли с утра ослабевали? — спрашивает она вполголоса у Стива.

— Нет, — говорит Стив прежним извиняющимся тоном. — И обезболивающего осталась последняя ампула.

— Я скажу врачу.

Мири выкатывает тележку. Стив смотрит на часы и наклоняется к лежащей Хане.

— Хана… Мне пора.

Хана опять открывает глаза.

— Ты так часто сюда приходишь, Стив. Ты устал.

— Я не устал, — протестует Стив. — Это не работа — приходить и читать тебе английский детектив. Это удовольствие. Кайф.

— Тоже мне кайф — сидеть с умирающей старухой.

— Хана, перестань. Когда ты станешь умирающей старухой, я приду и скажу тебе об этом. А пока ты просто болеешь, в этом нет никаких трагик.

— Трагедий.

— Трагедий тоже нет.

Мири катит тележку по коридору. Нили идет за ней.

— Мири, а этот американец — кто он нашей Хане? Она же не американка.

— Приемный сын, — машинально отвечает Мири, занятая своими мыслями.

— Как интересно! — изумляется Нили. — Он сирота?

Мири качает головой. Волосы у нее снова растрепались.

— Нет, просто, когда ему было семнадцать лет, он приехал один учиться и жить в Израиль. Это было в семьдесят втором году. Вся его семья осталась в Америке, а Хана с мужем жили в кибуце и стали ему «усыновляющей семьей». Ты же понимаешь, когда парень один живет в стране, это тяжело. Ему некуда ездить на субботу из университета и все такое. Стив ездил к Хане. Вот так и ездит, как видишь, до сих пор.

— А другие родственники у нее есть?

— Муж умер, есть сестра. Да ты ее видела — Мириам.

— Это та, что все время рыдает, что ли? — неодобрительно уточняет Нили. — Та зануда?

— Родственники разные бывают, — уклончиво отвечает Мири. — Ты укол Шварцман делала?

— Которой? Доре делала, Гите нет.

— Пойди сделай. Надо до пяти.

— Слушай, а почему у них одна фамилия, у Доры и у Гиты? Родственницы?

— Да нет, просто однофамилицы. Они, по-моему, даже не знакомы. Ты идешь?

— Иду, иду, — отмахивается Нили, оставаясь на месте.

Стив держит Хану за руку, прощаясь.

— В следующий раз я испеку ореховый пирог. Такой, как ты любишь. Может, ты хоть тогда повеселеешь.

— Необязательно тебе так напрягаться, — устало говорит Хана. — Необязательно печь мне пироги.

— Обязательно, — упрямится Стив. — Я обещаю.

— Не обещай, — требует Хана. — Ничего не обещай. Вдруг у тебя не выйдет на этой неделе, а на следующей я уже умру?

— Обещаю, — настаивает Стив. — Придется тебе не умирать до следующей недели.

— Я не могу тебе этого обещать. Поэтому и ты не обещай мне ничего.

— Обещаю, — повторяет Стив. — И не говори глупостей, — говорит он с порога и быстро выходит.

— Как ты думаешь, сколько ей осталось? — шепотом спрашивает Нили у доктора Фаины, делающей записи в журнале

за стойкой.

— Нили, пойди сделай укол Гите Шварцман, — громко говорит Фаина. — До свиданья, Стив.

— До свиданья, доктор, — отвечает Стив.

— Завтра придешь?

— Завтра нет. Завтра очередь Мириам. Я приду послезавтра и принесу ореховый пирог.

— Ты умеешь печь пироги? — восхищается Нили. Ей нравится Стив.

— Да, — он приветливо улыбается. — А еще — стирать белье, гладить брюки и стрелять в цель.

— Звучит как реклама. Собираешься сделать мне предложение? — хихикает Нили.

— К сожалению, не могу, — учтиво отзывается Стив. — Я гей, и у меня есть бойфренд. Всего хорошего, доктор. Счастливо, Нили.

И аккуратно прикрывает дверь.

* * *

Обходы, уколы, родственники, разговоры. В середине месяца становится прохладно, сидящие в парке старушки кутаются в шали.

Доктор Фаина уходит на вечерний обход. С ней идут Мири и пришедший на ночную смену доктор Шауль Штайнер. Нили ждет в комнате медсестер.

До конца обхода она успевает смыть косметику с глаз и снова их накрасить.

— Серебристые тени были лучше, — замечает Мири, включая чайник. — А от коричневых у тебя такой вид, будто под глазами синяки.

— Это стиль такой, — протестует Нили. — Называется «женщина с горчинкой».

— Я бы назвала его «женщина с морщинкой». — Мири кладет чайные пакетики в две одинаковые чашки, добавляет сахар. Одну чашку ставит перед Нили, другую оставляет себе, садится в кресло и с удовольствием отпивает горячий чай. Вытягивает ноги.

— Слава богу, сегодня тихо. А то у меня уши уже болят. Вчера я с утра работала, так там такое было!..

— Какое было? — удивляется Нили. — Мне ничего не рассказали.

— Не успели, ты же только что пришла. А вот если бы пошла со мной на обход, вместо того чтобы глаза тут красить…

— Ну расскажи уже! — требует Нили.

Мири делает еще глоток.

— Шварцман с утра умерла.

— Дора?

Мири кивает.

— В том-то и дело, что Дора. Она умерла под утро, в восемь пришел раввин, приехали ребята из похоронной конторы, врачи, персонал, ну ты понимаешь. Беготня. А вчера тут была дочка другой Шварцман, Гиты. Она передавала матери одежду и забыла отдать шерстяную кофту. Не вытащила из сумки, бывает. А Гита вечно мерзнет и жалуется на сквозняки. И вот с утра, перед работой, ее дочь решила заскочить и закинуть эту чертову кофту сюда. Времени у нее почти не было, и потом, ты же знаешь Гиту Шварцман — к ней на пять минут зайдешь, через пять часов выйдешь. Она любит поговорить. А у ее дочери не было перед работой пяти часов, да они еще и виделись накануне. Поэтому дочь забежала в холл, поймала уборщика, отдала ему кофту и сказала: «Передай это Шварцман, хорошо?» Уборщик сказал «хорошо», и Гитина дочь убежала.

— И что он сделал с этой кофтой?

— Он ее взял, пошел на второй этаж и спрашивает: «У вас тут Шварцман есть?» А ее хоронят с утра! Толпа стоит, кто-то плачет, Дору еще не увезли. Тут притаскивается уборщик с шерстяной кофтой и сует ее, мол, срочно просили передать. Дежурила Иланит, и она почему-то решила, что кому-то в семье страшно важно, чтобы Дору увезли хоронить именно в этой тряпке.

— Так в похоронном бюро все равно разденут! — удивляется Нили.

— Ну, там-то разденут, но дотуда ее нужно в чем-то довезти. Она в халате была. А уборщик не стал разбираться, ему сказали «кофта», «Шварцман» и «второй этаж», он и сделал все как сказали: взял кофту и отнес ее Шварцман на второй этаж. И не его вина, что там балаган — Шварцман умерла, ей передали кофту, умерла не она, но ее хоронят…

— И чего?

— Чего-чего. Кофту надели, Дору увезли. А днем в отделение звонит Гитина дочь. К телефону подходит Иланит и на вопрос: «Где та кофта, которую передали Шварцман?» — честно отвечает: в похоронном бюро.

Гитина дочь пугается, но пытается держать себя в руках и задает логичный вопрос: почему кофта в похоронном бюро? А Иланит отвечает ей — так ведь вы просили именно в этой кофте

отвезти маму хоронить…

Нили хихикает, расплескивает чай и взвизгивает, хватаясь за коленку.

— Я из-за тебя обожглась!

— Из-за меня? — фыркает Мири. — Ладно, пей свой чай.

— А что дальше-то было? — Нили трет коленку.

— Примчалась Гитина дочь, шумит, гремит, где мама, что случилось, почему похоронное бюро… Кричит в коридоре на Иланит, рыдает, ругает наше отделение, требует директора… К маме, что характерно, не заходит. Сразу к директору, ага. А на ее голос выходит Гита. Она как раз прилегла передохнуть, и ее разбудили вопли дочери, которая рыдает, почему без нее похоронили маму.

— С ума сойти, — Нили смеется в голос, — ну она успокоилась хотя бы, когда увидела, что Гита вполне жива?

— Если бы, — вздыхает Мири. — Она заорала еще громче. Потому что ее по-прежнему интересовали два вопроса. Первый: почему в отделении творится такой кошмар?

— А второй?

Мири хмыкает и глотает чай.

— А второй — где мамина новая шерстяная кофта…

Нили потягивается и смотрит на себя в зеркало, морща нос.

— Телевизора не нужно, честное слово. Всё есть.

— Не нужно, ага, — соглашается Мири. — Ты еще не знаешь, чем все кончилось.

— Неужели еще не конец?

— Почти конец. Вечером позвонила дочь Доры.

— А ей-то что было надо?

— Она хотела узнать, как получилось так, что ее мать оказалась в похоронном бюро в чужой одежде.

* * *

Исайя осторожно берет Шейлу за талию. И закашливается.

— Ты простужен? — пугается Шейла. — Я аллергик, мне нельзя болеть.

— Нет, нет, — машет рукой Исайя, — я здоров. У меня просто астма.

Шейла гладит ладонью его лицо.

— Как тебя называла мама? — спрашивает она.

— Шайка, — отвечает Исайя. — Нас было двое братьев, я и мой младший брат Иегошуа. Его она называла Шуйка. Наша мама

была из России и объясняла нам, что «шайка» по-русски — это команда бандитов. Как мы.

Шейла улыбается, показывая блестящие белые зубы.

— А Шуйка?

— А Шуйка — это мой дурацкий младший брат. Он погиб в Войне за независимость в сорок восьмом году. Я жутко ревновал его к маме, знаешь.

— Почему? Мама больше его любила?

— Да нет, не думаю. Просто он погиб, понимаешь? И мама с тех пор гораздо больше думала о нем, чем обо мне. А тебя как мама в детстве называла?

Шейла вздыхает:

— Шейнделе. При рождении меня назвали Шейндл. А уже потом, в Америке, я переделала имя на Шейла — в университете Шейндл звучало странновато. Но мама меня так и звала всю жизнь. Ей нравилось.

— А тебе? — спрашивает Исайя и перебирает длинными пальцами длинные волосы Шейлы.

— Мне тоже, — тихо отвечает Шейла. — Но я никогда в жизни и никому в этом не признавалась. Я всю жизнь была очень современная американская дама.

— Шейнделе, — нежно говорит Исайя. — Шейнделе моя. У тебя самое красивое имя в мире.

— Когда умерла твоя жена, Исайя? — спрашивает Шейла.

— Пятнадцать лет назад.

— А отчего?

— Знаешь, мне кажется, просто устала. Она никогда не болела, всю жизнь работала. А потом стала слабеть и умерла. Врачи говорили: «Сердце». А я сказал: Варда просто больше не хотела жить. Ей надоело.

— Не понимаю, — говорит Шейла. — Как может надоесть жить? Мне никогда не надоест.

— Сколько тебе лет, Шейла?

Шейла качает головой:

— Не скажу.

— Ну скажи, — упрашивает Исайя. — Я никому тебя не выдам. Мне, например, восемьдесят девять, и я этого не скрываю.

— То ты, — тихонько смеется Шейла. — Ты — другое дело. А сколько мне лет, забыла даже я сама.

— Почему это я другое дело? — обижается Исайя. — Ты хочешь сказать, что я выгляжу на свой возраст?

Шейла откидывает голову, щурит глаза и разглядывает его.

— Нет, — выносит она вердикт. — Ты не выглядишь на свой возраст. Ты выглядишь мужчиной вне возраста. Тебе идет.

— У тебя длинные ресницы, — говорит Исайя. — У Варды тоже были длинные ресницы. Я любил их гладить пальцем, вот так.

Он подносит палец к ресницам Шейлы и гладит их.

— Это как гладить крыло бабочки. Так же страшно случайно повредить.

— Меня не так просто случайно повредить, — усмехается Шейла. — Я крепкая.

Исайя обнимает ее за плечи.

— Ты хрупкая, Шейнделе, — уверенно говорит он. — Ты самая хрупкая. Я никогда тебе не поврежу.

Он осторожно наклоняется к Шейле и целует в губы. Шейла закрывает глаза.

— Исайя, я двадцать лет не целовалась.

— Ты врешь, — шепчет Исайя, не отрывая губ от ее лица, — ты все врешь, моя старая девочка. Тебя целуют каждое утро, ты просыпаешься, и ангелы целуют тебя в глаза. А еще тебя целуют каждый вечер: ты засыпаешь, и мои мысли приходят тебя целовать.

— Ты романтик, Шая.

— Я реалист, Шейнделе. Я не хочу умереть, не успев узнать, как пахнет твоя кожа.

— Моя кожа пахнет старостью и мылом.

— Твоя кожа пахнет свежестью и земляникой.

— Это мыло такое, Шая. Земляничное мыло.

— Это твоя кожа такая, Шейндл. — Исайя целует Шейле лицо и руки. — От нее пахнет твоими мыслями и теплом.

— Мысли не пахнут.

— Твои мысли пахнут чем-то неприличным, — говорит Исайя ей на ухо. — Я это чувствую.

— Это твои мысли пахнут чем-то неприличным! Тебе не стыдно?

Исайя останавливается и смотрит на Шейлу с интересом.

— Шейнделе, ты не хочешь мне говорить, сколько тебе лет. Ладно, не надо. Скажи мне только одно: семнадцать тебе уже есть?

— Ну… — мнется Шейла. — Вообще-то и это секрет, но тебе я признаюсь: да.

— Отлично, — радуется Исайя. — А мне уже исполнилось двадцать один.

— Давно? — интересуется Шейла.

— На прошлой неделе. Так вот. Мы оба — совершеннолетние, дорогая. Мы можем делать абсолютно все, что захотим. И нам не стыдно.

Шейла обнимает его за шею.

— Тогда ладно, — говорит она и тянется губами.

Исайя закашливается.

— Послушай, — пугается Шейла, — а это не запрещено?

— Ха! — выдыхает Исайя. — Хотел бы я найти человека, который запретит мне кашлять.

— Да нет, глупый. Я хотела спросить — это… ну, это… Тут все-таки дом престарелых. А мы не женаты. Ты уверен, что здесь это можно?

Исайя хмыкает:

— У меня за стенкой живет приятель, Меир. Он раввин. Если для тебя это имеет значение, я его сейчас позову, и он нас поженит. Хочешь?

— Нет, нет, — пугается Шейла. — Я почтенная вдова и с удовольствием умру в этом статусе.

— Ладно, — смеется Исайя и снова берет ее за плечи. — Иди ко мне, почтенная вдова. Я помогу тебе умереть с удовольствием.

Часть вторая

— Папа, — раздраженно говорит Таль. — Как ты себя чувствуешь?

Исайя, раскинувшись, сидит на кровати в пижаме, Таль стоит напротив него. Он еще выше, чем отец, — для того чтобы видеть глаза сидящего Исайи, ему приходится сгибаться чуть ли не вдвое. Он бы сел на стул, но на стуле лежит гора одежды, а второго стула нет.

— Зависит от того, что понимать под словом «чувствовать», — отвечает Исайя. — Если ты имеешь в виду мое физическое тело, то оно находится в непростой ситуации выбора между астральной зависимостью и земной независимостью от своих комплексов и чувств. А если ты ведешь речь о моей эмоциональной реальности, то она…

— Что с твоей астмой? — перебивает Таль.

— А что может быть с моей астмой? — удивляется Исайя. — С ней, как обычно, все в порядке. Она прекрасно себя чувствует, полна сил и регулярно меня навещает — видимо, для того, чтобы я не заскучал. Правда, мне-то и без нее достаточно интересно. Но ей, кажется, об этом не сообщали.

— Папа, — Таль сглатывает, — послушай меня, пожалуйста.

— Да? — откликается Исайя. — Я слушаю тебя, конечно.

— У меня сложности, — говорит Таль. — Мне понадобится… уехать.

— Уехать из своей Америки?

— Да, из дома.

— Куда? — интересуется Исайя. — Надолго? Далеко?

— Не знаю. Возможно, надолго. Возможно, далеко. Я не знаю, когда сумею приехать в Израиль в следующий раз. У Линды проблемы на работе, и она…

— Тогда доброго тебе пути, — кивает Исайя и закрывает глаза.

Таль решительно сдвигает в сторону длинную ногу Исайи и усаживается на кровати рядом с ним.

— Папа, у меня для тебя отличная идея. По-моему, в данный момент тебя больше всего интересует жизнь на Марсе.

Исайя открывает один глаз и склоняет голову к плечу.

— Так вот. Я хочу тебе посоветовать — лети на Марс. Сделай там все свои дела, а потом разок посмотри оттуда вниз. На Землю. Вспомни, что она существует, разгляди ее с высоты — и обрати наконец внимание на меня. Своего сына.

— Сынок, — отвечает Исайя. — Мне восемьдесят девять лет.

— Я в курсе, папа.

— А тебе, если я не ошибаюсь, сорок четыре.

— Сорок три, — мрачно поправляет Таль.

— Тем более. Сорок три. Тебе, надеюсь, осталось жить еще порядка сорока с лишним лет. А мне, полагаю, года два. Так какая тебе разница, учитывая все предстоящее время без меня, на что именно я буду обращать внимание в эти два оставшихся мне года?

Таль смотрит на стену перед собой. На ней висит фотография в рамке: летний парк, залитый солнцем, и смеющийся мальчик, сидящий на ветке дерева.

— Джереми вырос, — кивает Таль на фотографию. — Стал почти как я.

— Еще бы, — кивает Исайя. — В нашем роду все мужчины такие, как ты.

— И как ты, — говорит Таль.

— И как я, — соглашается Исайя. — А дед Барух был и еще повыше. Ты помнишь деда Баруха?

— Смутно. Мне было всего семь лет, когда он умер.

— Мне было шесть, когда умерла твоя прабабка Шейне-Хая. Но я ее прекрасно помню. Она лепила халы на шабат, когда была мука. А когда не было, говорила: «Нестрашно, дети. Следующий год принесет нам муку. Муку и здоровье». Вот это ее «муку и здоровье» я запомнил.

— Муку и здоровье, — задумчиво повторяет Таль. — Можно подумать, это самое главное.

— Я много лет считал, что так и есть, — говорит Исайя.

— А теперь не считаешь?

Исайя какое-то время молчит.

— И теперь считаю, — говорит он после паузы. — Да, кстати. О муке. У меня тут для тебя…

Он лезет под подушку и достает оттуда пачку денег, перетянутую резинкой.

— Вот. Возьми. Тут не очень много, но для того, чтобы побаловать Линду и Джереми…

Таль делает протестующий жест рукой:

— Папа, ты сошел с ума! Я работаю, у меня все есть.

— Разумеется, у тебя все есть. Но ведь и у меня все есть. А эти деньги я отложил специально для тебя.

— Папа, нет!

Исайя полностью открывает глаза.

— Послушай, Таль. Ты сказал, что, наверное, уедешь. И не знаешь, когда у тебя будет возможность приехать в следующий раз. Скорее всего я тебя больше не увижу. Поэтому считай, что эти деньги — мой подарок Линде и Джереми. Моя, так сказать, последняя воля. А с ней не спорят.

Таль мнется.

— Здесь тысяча долларов, — говорит Исайя.

— Тысяча долларов? — изумляется Таль. — Откуда столько?

— Говорю же, моя последняя воля. Бери, бери.

На словах «последняя воля» Таль вздыхает:

— Ну, если так…

— Так, так, — Исайя протягивает ему деньги и гладит по плечу. — Нельзя спорить с отцом, которого ты больше не увидишь.

— Папа!

— Нестрашно, сынок. Следующий год принесет тебе муку и здоровье.

— Муку и здоровье, — угрюмо повторяет Таль, убирая деньги. — Именно это нам тут всем и нужно.

— Нам — тут, — говорит Исайя, — вам — там…

Вечером к Исайе заходит Меир.

— Что это ты вдруг умирать собрался, старый хрен? — спрашивает он с порога.

— Я? — удивляется Исайя. Он сидит на кровати и читает книгу. — Умирать? С чего ты взял?

— У тебя не голос, а иерихонская труба. Ты так орал о своей последней воле, что разбудил меня, когда я спал после обеда.

— А… — Исайя машет рукой. — Это обычное дело.

— Что значит «обычное дело»? — Меир проходит в комнату,

сбрасывает гору одежды со стула и садится.

— Ты набросал, — укоризненно говорит Исайя. Меир не реагирует.

— Так что там у нас с последней волей, реб Шае? А?

— Да понимаешь, какая штука… — Исайя вздыхает и закрывает книгу. — Мне нужно было всучить Талю деньги. У него долги, он не очень легко живет. Ну я и подсобрал тут кое-что. Сказал, мол, напоследок.

— Это чтобы помочь деньгами своему ребенку, тебе понадобилось таким образом на него давить?

— Мой ребенок, Меир, уже довольно большой мальчик. И очень упрямый. Мы не очень ладим, и денег у меня он брать не очень хочет. Но с последней волей не поспоришь. А тысяча долларов — все-таки сумма. Пусть будет здоров.

Исайя считает объяснение законченным и снова раскрывает книгу.

— Но, Шае… — возмущается Меир. — Это жестоко! Ты знаешь, что ни о какой последней воле речи нет, но Таль-то ушел с тем, что он больше тебя никогда…

Исайя поднимает голову:

— Нестрашно, Меир. Я делаю так уже десять лет.

В глазах Меира непонимание.

— Десять лет?

— Ну да. Таль раз в год приезжает из своей Америки, и у него вечно долги. Я за год собираю ему деньги и отдаю. Но просто так мой гордый мальчик денег не берет. Зато отлично берет в качестве моей последней воли. Так мы и живем.

Какое-то время они молчат. Исайя читает книгу, Меир покачивает ногой.

— Послушай, Шае, — наконец произносит он. — Все-таки это не очень честно. Может, ты это и делаешь уже десять лет, но Таль наверняка ушел смущенный. Мы уже не так молоды, чтобы играть в такие игры.

Исайя тихонько смеется:

— А кто тебе сказал, что это игры, Меир? Кто из нас может поручиться, что проживет ближайший год? Возможно, это и была наша с Талем последняя встреча.

Меир хмурится:

— Или нет.

Исайя не спорит:

— Или нет.

* * *

Доктор Фаина чертит что-то ручкой в блокноте, доктор Шауль Штайнер сидит, положив подбородок на сложенные руки.

— Это невозможно, Фаина. Ты же знаешь.

— Знаю, Шауль. Но ты же видел ее.

— Видел. И тем не менее.

— Шауль, она просто не переживет.

— Мы не лечим такие пролежни. Их лечат в Реховоте, туда мы его и отправим. Там есть отличное отделение для лежачих.

— Но, Шауль, отделения для ходячих там нет вообще.

— Ему оно и не нужно.

— А Роза?

— А Роза останется здесь.

Доктор Фаина встает и подходит к доктору Шаулю вплотную.

— Шауль…

Он тоже встает и успокаивающе накрывает ее руку своей рукой.

— Ничего страшного, Фаина. У Менаше будут хорошие условия, он долежит свои дни в покое.

— И в одиночестве, — добавляет Фаина.

Доктор Шауль начинает сердиться:

— Он после тяжелого инсульта! И ничего не соображает! Что ему важнее, как ты думаешь, щебет Розы над ухом или отсутствие острых болей?

Фаина разводит руками:

— И то и другое. То, что ты называешь «щебетом Розы»…

Доктор Шауль делает протестующий жест рукой:

— Хватит. Все это я уже слышал. Мы переведем его на следующей неделе, я предупрежу внизу, чтобы приготовили машину. А дежурная сестра позвонит в Реховот. Я с ними говорил, они нас ждут.

Он сердито идет по коридору, размахивая руками и бормочет себе под нос:

— Она не переживет, она не переживет… Посмотрим, кто тут кого еще переживет…

В нише сужающегося коридора на него натыкается Роза.

— Добрый день, доктор Шауль, — здоровается она, широко улыбаясь. — Вы уже здоровы, слава богу? Я справлялась два дня назад, у вас была простуда.

— Что? — теряется доктор Шауль. — Простуда? У меня?

— У вас, — терпеливо кивает Роза. — Не у меня же. У меня последняя простуда была приблизительно сорок девять лет назад. Я ничем не болею, знаете? Даже смешно. Менаше говорит, что у

нас с ним один набор болезней на двоих. — Роза переводит дыхание и добавляет: — И весь достался ему одному, бедняге.

— Будьте здоровы, Роза, — тепло говорит доктор Шауль и уходит к себе в кабинет.

Стива, выходящего из комнаты Ханы, ловит раскрасневшаяся Нили.

— У меня есть ореховый пирог, — сообщает Стив. — Там, — он указывает на Ханину дверь. — Хочешь кусочек?

— Нет, — Нили качает головой. — Я худею.

— Зачем? — удивляется Стив. — Ты и так худая.

— Я не худая, я стройная, — уточняет Нили. — А хочу быть худой.

— Зачем? — повторяет Стив.

Нили не отвечает. Вместо этого она смотрит на Стива в упор.

— Стив, то, что ты мне в прошлый раз сказал. Ну… про то, что ты…

— Про то, что я — гей, — кивает Стив.

— Ну да, — быстро говорит Нили, — про это, вот. Ты извини, но я хотела тебя спросить… — Нили смотрит в сторону и выпаливает: — Это правда?

— Нет. — У Стива суховатый негромкий голос. — Точнее, не совсем.

Нили поднимает бровь и нерешительно улыбается.

— Я действительно гей, — извиняющимся тоном говорит Стив. — Но бойфренда у меня сейчас нет.

Нили непонимающе смотрит на него и какое-то время молчит. А потом спрашивает:

— Почему?

— Сейчас мне не до личной жизни.

Нили продолжает смотреть непонимающе.

— Хана умирает, — мягко говорит Стив. — Мне бы хотелось побыть с ней.

— Мириам собиралась прийти, — вспоминает Нили. — Она должна была быть вчера, но не приходила. Позвонила, спросила, когда будешь ты.

Стив напрягается.

— И что ты сказала?

— Не я разговаривала.

— А кто?

— Иланит. Она объяснила, что ты был вчера и будешь сегодня. Мириам сказала «хорошо».

— Просто замечательно, — бормочет Стив. — Ну хорошо. Спасибо, Нили.

Нили стоит несколько секунд неподвижно. Потом спрашивает:

— За что?

Но Стив уже ушел.

* * *

Полумрак. Хана лежит, прикрыв глаза. Шторы задернуты, кровать в тени. На стуле, сгорбившись, сидит невысокая женщина и плачет.

— Хана… — причитает она, покачиваясь, — о Хана, как же мне тяжело. Если бы ты знала, как мне тяжело. Я встаю с утра и не могу дышать, я ложусь в постель и не могу заснуть, я ни одной книги не могу прочесть…

В комнату входит Стив.

— Можно подумать, ты раньше читала книги. Женщина вскакивает.

— Стив!

Она опрокидывает стул и виснет у Стива на шее. Он сгибается под тяжестью ее тела. Женщина плачет навзрыд:

— Стив, какой ужас… Я была у врача, и он сказал…

Стив резко вскидывается:

— Что сказал?

Женщина плачет. Стив трясет ее за плечи:

— Мириам, что сказал врач?

— А что он мог сказать? — нервно отвечает женщина сквозь слезы. — Ничего он не сказал. Сказал «уже недолго».

— Он уже месяц это говорит.

— Ты считаешь, месяц — это долго?

Женщина опять начинает плакать:

— Стив, это так ужасно, я ни жить, ни спать не могу…

Стив молча стоит, поддерживая женщину за плечи.

— Есть хочешь? — спрашивает он. — Я принес ореховый пирог. Ты его раньше любила.

— Это я его раньше любила, — отзывается Хана с кровати, не открывая глаз. — А Мириам его любит до сих пор.

— Хана, не говори так, пожалуйста, — рыдает Мириам, — я слышать этого не могу. Ты поправишься, ты обязательно поправишься, и мы с тобой еще будем вместе есть ореховые пироги. Бедная моя Хана, сестричка, прости меня, прости…

Хана переглядывается со Стивом и закрывает глаза.

— По-моему, Хана устала, — говорит Стив. — Пойдем посидим в кафе. Ты должна хотя бы выпить чаю.

Мириам всхлипывает и выходит, опираясь на его локоть. Стив оборачивается у двери, строит плачущую рожу и подмигивает. Хана слабо улыбается в ответ.

* * *

— А главным агрономом у нас тогда был Иерухам Брох. Ты помнишь Иерухама, Менаше? Он курил как паровоз. Просто ни секунды не мог прожить без сигареты во рту. Сначала он курил эти дешевые вонючки, которые невозможно нюхать нормальному человеку, а потом перешел на «Мальборо». Ну это когда уже кибуц разбогател, конечно. До того ни главному агроному, ни главному председателю было просто не достать ничего по-настоящему дорогого. Их бы сгрызли свои же кибуцники, если б они попытались. Так вот, Иерухам Брох обнаружил как-то с утра, что по его лучшему полю ночью кто-то бегал. Представляешь, Менаше? Бегал и мял посадки. Я уже не помню, что он там сажал, то ли свеклу, то ли капусту…

— Ваш кибуц никогда не выращивал капусту, Роза!

Это Меир заглянул. Роза хмурится.

— Ты уверен? Кажется, там было что-то круглое и зеленое. За конюшней. Разве нет?

— Это были арбузы! — хихикает Меир. — Ты не можешь отличить арбуз от кочана капусты, старая вешалка? Тебе пора на свалку.

Роза пожимает плечами:

— В таком случае, мне пора на свалку уже лет шестьдесят. Я и тогда не могла отличить. Как дела?

— Тебя доктор Фаина зовет.

— Ого, — удивляется Роза, — какому большому начальству мы понадобились. Она не сказала — для чего?

— Сказала, — веселится Меир. — Будет тебе экзамен проводить. Положит перед тобой кочан капусты и арбуз и велит отгадывать, кто из них где. Если не угадаешь — выгонит тебя из нашего дома вон. Потому что ты не используешь свой мозг.

— Да уж, выгонит, — Роза поправляет волосы. — Из нашего дома не выгоняют даже тех, кто давно забыл, что такое «капуста» и «арбуз».

Она косится на Меира и добавляет:

— А также тех, у кого отродясь не было никакого мозга.

— Менаше! — Меир поворачивает голову к кровати. — Твоя жена меня оскорбляет.

Роза гладит по щеке лежащего Менаше.

— Его самого его жена оскорбляла много лет. Вряд ли он тебе посочувствует. Я пошла к доктору, а ты посиди тут, ладно? — просительно добавляет она.

Доктор Фаина встает навстречу Розе.

— Ты спала? — требовательно спрашивает она.

— Оставь, — отмахивается Роза. — Ты же не за этим меня звала. Что случилось?

— Роза, — у Фаины негромкий спокойный голос. — Я разговаривала с доктором Штайнером. Состояние кожи Менаше очень нас тревожит.

— И меня оно тоже тревожит, — с жаром подхватывает Роза. — Я давно говорила Мири и Иланит — нужно поменять ему мазь, нужно мазать чаще, он совсем…

— Роза, — перебивает ее доктор Фаина, — дело не в мази. У Менаше началось осложнение, инфекция, его нужно серьезно лечить.

— Нужно, — энергично соглашается Роза. — Лечите.

— Мы не можем, — говорит доктор Фаина. — У нас нет ни аппаратуры, ни нужных специалистов.

— А где могут?

— В Реховоте. Там есть специальное отделение кожной гериатрии, там это лечат.

— Что «это»? — напряженно уточняет Роза.

— Кожные осложнения лежачих больных. Он же не встает, в этом все дело. Ты же понимаешь.

Роза смотрит на нее, хмуря брови.

— Не понимаю, — говорит она. — Что я должна понимать?

— Что то, что мы переводим Менаше, — терпеливо говорит Фаина, — это вынужденная мера. Я и так тянула, сколько могла.

— Куда переводим?

Доктор Фаина вздыхает.

— В Реховот.

— Ну и хорошо, — радуется Роза. — В Реховоте при доме престарелых, я слышала, парк большой. Летом мы сможем в нем гулять. А комнату мне там отдельную дадут, или придется с соседкой ее делить? Если с соседкой, ты попроси их заранее уточнить, чтоб некурящая была. А то, пока со мной жила старая Мина, я измучалась совершенно. Она же курила как паровоз. Я ей говорила сколько раз: «Мина! Перестань курить! Ты этим двигаешь к могиле нас обеих!» А она мне знаешь что отвечала?

— Роза… — Доктор Фаина склоняется к Розе и обнимает ее за плечи. — В Реховоте нет отделения для ходячих. Там только тяжелая гериатрия, для таких как Менаше. Мы не можем

перевести тебя вместе с ним.

— А… как? — непонимающе спрашивает Роза.

Доктор Фаина поглаживает ее по плечу.

— Он переедет туда, за ним будет хороший уход. Там знающие врачи, они сделают так, чтобы у него не было болей. А ты останешься с нами, здесь.

— Как «останусь»? — тон у Розы все такой же непонимающий. — Как я останусь здесь, если Менаше будет в Реховоте? Что я здесь буду делать?

— То же, что и всегда. Гулять, общаться, разговаривать… — говорит доктор Фаина и сбивается. — Роза, пожалуйста, пойми. Ты же не хочешь, чтобы Менаше умирал от боли?

— Не хочу, — кивает Роза.

— А здесь для того, чтобы ему помочь, нет никаких условий. Никаких.

— Но я же должна с ним все время быть, — растерянно говорит Роза. — Он же не может без меня.

— Он может без тебя. — Доктор Фаина трет лоб ладонью. — За ним там будет хороший уход. Ему помогут. Поняла?

— Поняла, — кивает Роза.

— Умница. Я знала, что ты все поймешь. Мы перевезем его на следующей неделе, доктор Шауль уже заказал машину.

Роза снова кивает и напряженно смотрит на Фаину.

— У меня еще один вопрос.

— Конечно, Роза. Сколько угодно вопросов.

— Зачем вы его переводите?

Фаина вздыхает.

— Роза, я объясняю тебе. У Менаше — кожная инфекция. Мы здесь не можем им заниматься. А в Реховоте есть специальное отделение, где врачи смогут сделать так, чтобы он…

Голос у доктора Фаины мягкий и успокаивающий, она говорит и тихо гладит Розин рукав. Роза слушает ее, не прерывая.

— Поняла? — заканчивает свое объяснение доктор Фаина.

— Поняла, — соглашается Роза.

— Ты хочешь что-то еще спросить?

— Да… — говорит Роза немного виновато, словно ей самой неудобно, что она хочет что-то еще спросить. — Зачем вы его переводите? И куда?

* * *

— Так и ходит за всем персоналом, — нервно поясняет Иланит. — Подстерегает за каждым углом и набрасывается:

«Зачем вы его переводите?» Ей уже все объяснили десять раз. Сам доктор Шауль приходил. И Фаина. А она все ходит и все спрашивает: «Зачем вы его переводите, почему вы его переводите». Можно подумать, у нее скачок маразма. Хотя она-то никогда в маразме не была.

— Бедная Роза, — вздыхает Мири.

— Правда, у нас ведь как, — продолжает Иланит свою мысль, — сегодня ты не в маразме, а завтра — уже да…

— Мы тут сами уже в маразме, — говорит Мири. — Надоело все. В отпуск хочу.

— Ты же была в отпуске два месяца назад.

— Была, — соглашается Мири. — И опять хочу. Мы ездили во Францию, показывали ее детям. У Дорона там тетка живет.

— Так с детьми весь отпуск и провели?

— А куда мы их денем. Так и провели. Ну ничего. — Мири потягивается и смеется. — Еще двенадцать лет, Май в армию уйдет. И мы наконец-то отдохнем.

Иланит хмыкает:

— Знаю я, как ты отдохнешь. Ты будешь бесконечно возить ей в армию еду и одежду.

— Буду, — легко соглашается Мири. — Но, может быть, после армии? Ронену будет двадцать три, Май — двадцать, и мы с Дороном останемся вдвоем. Мы не были вдвоем с тех пор, как родился Ронен. Уже девять лет.

— Я так не могу, — говорит Иланит. — Мне нужна моя жизнь, а не жизнь моих детей.

— Так это и есть моя жизнь, — возражает Мири. — Дорон и дети. И эти вот, — она кивает на дверь комнаты медсестер, ведущую в коридор отделения. — Хотя эти, прямо скажем, хуже детей. Те, хотя бы когда в школе, жить дают…

На электрической панели над столом загорается красная лампочка с цифрой «двадцать семь». Раздается пронзительный звон.

— Это Исайя, экстренный вызов, — вскакивает Мири и смотрит на часы. — Господи, четыре часа утра. Что у него случилось?

Они с Иланит бегут на второй этаж. Мири перепрыгивает через две ступеньки.

— Он никогда не вызывает ночью, никогда, — задыхается она от бега, — и приступов у него раньше ночами не было, но астма — такое поганое дело, может начаться спазм…

Иланит молча движется рядом с ней. У нее мускулистые длинные ноги, поэтому там, где плотная Мири бежит, ей

достаточно перебирать ногами. Возле комнаты с номером двадцать семь они останавливаются. Дверь закрыта, из комнаты слышатся прерывистые стоны. Над дверью мигает красная лампочка, и назойливо-непрерывно звенит звонок.

Мири стучится в дверь:

— Исайя? Это сестры, Исайя, открой, тебе плохо? Ты можешь дойти до двери?

Стоны не прекращаются, дверь остается закрытой. Мири толкает ее, но дверь не поддается.

— Надо открыть, — говорит Иланит. — Скорее всего он упал.

Мири прислушивается:

— Точно, приступ. Задыхается и не может встать. Черт. У тебя есть мастер-ключ?

— Нет. — Иланит шарит по карманам и достает мобильный телефон. — У Авнера есть, я звоню.

Она набирает несколько цифр и ждет ответа. Мири подпрыгивает возле нее, напряженно прислушиваясь к стонам. Звонок продолжает звенеть. Авнер не отвечает.

Мири кидается бежать по коридору.

— Он заснул, — бросает она через плечо, — я разбужу. Он всегда спит под утро, когда дежурит.

Иланит ждет возле двери. Через пять минут появляется Мири с заспанным Авнером в комбинезоне и с ключом.

— Я не спал, — с достоинством поясняет Авнер вопросительно глядящей на него Иланит, — я просто задумался и не успел тебе ответить.

Мири вставляет мастер-ключ в дверь и поворачивает его. Дверь открывается, стоны делаются слышней. В коридоре погашен свет, но в комнате горит небольшая лампа. Мири заходит первой, за ней протискивается Авнер, над ним возвышается Иланит.

В комнате, на кровати, лежит Исайя. Под ним видны разметавшиеся волосы Шейлы. Она обнимает его двумя руками, движется вместе с ним и прерывисто стонет. Ее вытянутая вперед нога упирается в стену и пяткой давит на большую кнопку «экстренного вызова» над кроватью. С каждым стоном пятка сильнее врезается в кнопку, а Шейла движется все быстрей.

Исайя оборачивается, видит вошедших и багровеет. Он обхватывает Шейлу, прикрывая ее собой.

— Вон! — с силой кричит Исайя. У него на горле вздуваются жилы, и он хрипит. — Как вы смеете? Вон!!!

Иланит и Мири вылетают из комнаты, как от распрямившейся пружины. За ними, присвистнув, выходит Авнер.

— Мерзавцы! — несется им вслед, перемежаемое кашлем. — Я вас уволю всех!

— Уволишь, уволишь, — бормочет Иланит, захлопывая дверь. — Если доживешь.

Авнер восхищенно качает головой.

— Во дает мужик, — уважительно говорит он. — Я бы так не смог.

— Как? — Мири останавливается посреди коридора и оборачивается. — У них вроде была вполне обычная поза.

— Ему восемьдесят девять лет, зайка, — поясняет Авнер. — А мне — пятьдесят девять. И зная себя сегодня, я и не надеюсь, что через тридцать лет…

Войдя в комнату персонала, Иланит прислоняется к стенке и начинает хохотать. Мири смотрит на нее и хохочет тоже. Авнер машет им рукой и уходит досыпать к себе, качая головой на ходу.

— Молодец, мужик, — бормочет он. — Не то слово, молодец.

— Не то слово… — хохочет Иланит, опираясь на стену. — Не… то… слово… Слушай, как он орал. Как орал…

— «Вон!» — передразнивает Мири. — «Как вы смеете, я вас всех уволю». А сам голый. С ума сойти.

— А как ты хочешь, чтобы он это делал? — рассудительно говорит Иланит. — Все голые, когда занимаются любовью.

— Не все, — Мири мечтательно улыбается. — Можно же и в одежде. Можно, допустим, часть одежды снять, а потом…

Раздается пронзительный звон. На электрической панели загорается красная лампочка. Иланит снова начинает хохотать:

— О господи, опять номер двадцать семь. Мужик еще сильней, чем думал Авнер.

Мири встает.

— Сильней не сильней, а надо подойти. Экстренный вызов, мало ли что.

Иланит не шевелится.

— Ноги устали. Иди сама. Послушаешь под дверью, как сексуально стонет Шейла Майер, и возвращайся. Я поставлю чайник.

Поднимаясь по ступенькам, Мири вздыхает про себя: «Если он снова начнет орать, отключу эту чертову кнопку. До утра».

Возле двери номер двадцать семь она останавливается под мигающей красной лампочкой, делает глубокий вдох и осторожно стучит.

Дверь открывается, на пороге стоит Исайя. Он смотрит на Мири с неприязнью.

— Заходи.

На кровати, откинув голову на подушки, лежит Шейла, до подбородка укрытая одеялом.

— Вот, — мрачно кивает Исайя. — У Шейлы давление поднялось. Померяй ей.

— Она не из нашего отделения, — замечает Мири. — И у меня нет с собой прибора для измерения.

— Извини нас, Мири, — тихо говорит Шейла из-под одеяла.

— Как же ты приходишь на экстренный вызов без прибора? — возмущается Исайя. — Говорю же, уволить вас тут надо всех.

— Ну знаешь, — фыркает Мири. — Я к тебе уже приходила с прибором. Ты меня не захотел.

Исайя наливается кровью и не отвечает. Мири подходит к телефону, стоящему на тумбочке, и набирает комнату медсестер.

— Иланит, тебе придется подняться. У миссис Майер повысилось давление, нужно его измерить. А прибор я оставила внизу.

Она поворачивается и говорит как можно более безразличным тоном:

— Вообще-то это запрещено. Это мужской этаж, а у тебя неважные анализы. Ты это знаешь?

Теряя свой недовольный вид, Исайя смеется:

— Девочка, ты всерьез считаешь, что у любви в моем возрасте существует понятие «запрещено»?

Мири думает пару секунд.

— Нет, — уверенно говорит она и подходит к двери. — Сейчас сюда придет Иланит с прибором и измерит давление всем желающим. Я пошла, у нас там уже чайник наверняка вскипел. В очередной раз соскучитесь по моему обществу — приходите оба. Попьем чайку.

* * *

— Раз… два… три! — командует Иланит, и санитары в светло-синей форме перегружают Менаше с кровати на каталку. Им помогают Иланит и доктор Штайнер.

— Молодцы, — хвалит Иланит, — берите вещи теперь.

Доктор Штайнер прощается и уходит. Высокий санитар с табличкой «Омар» и надписью на груди «Медицинский центр „Рина“, Реховот» осторожно толкает каталку перед собой. Еще один санитар (на его груди написано «Сергей») оборачивается к

Иланит:

— С ним тут никому попрощаться не надо? Родственники, знакомые есть?

— Конечно надо, — кивает Иланит. — Погодите минутку, сейчас его жена придет.

Но никто не приходит. Потом прибегает Нили.

— Роза пропала! — выговаривает она, задыхаясь от бега.

— Как пропала? — не понимает Иланит. — Куда пропала?

— Не знаю, — Нили пожимает плечами. — Ее не видели с утра.

Иланит сердится:

— Посмотрите везде. В саду, за домом, в туалетах.

— Смотрели уже. Нигде нет.

— А вещи? — хмурится Иланит. — Вещи ее на месте?

— Вещи на месте, — кивает Нили. — А сама Роза пропала.

— Нам ехать надо, — вежливо говорит высокий санитар по имени Омар. — Нас еще в одном месте ждут.

— Сейчас, сейчас, — отмахивается Иланит. — У нас тут проблемы… с женой.

Омар смотрит на безучастно лежащего Менаше.

— У него была жена?

— У него есть жена, — строго говорит Иланит.

— По-моему, — судя по тону, Омару явно жаль, — он не заметит, что она не приходила.

— Но она заметит! — Иланит сердится. Нили сердится рядом с ней.

— Так она к нему туда приедет, нет? — миролюбиво предлагает Омар. — На такси это часа два, если напрямую. Там и попрощается.

Нили мотает головой.

— Тут дело не в попрощаться. Тут… свои тонкости. Подождите еще немножко, ладно?

— Ладно, — со вздохом соглашается Омар и прислоняется к стене. — Сергей, подожди.

Иланит уходит разыскивать Розу, Сергей идет за кофе. Омар стоит, разглядывая Нили. Нили перебирает пальцами прядь волос.

— Ты тут давно работаешь? — спрашивает Омар.

— Три месяца. Я в этом году окончила учиться.

— И как тебе? Нравится?

Нили задумывается.

— Нет.

— Почему? — удивляется Омар.

— А они умирают все. Только привяжешься к кому-то, потом

приходишь с утра, а он — бац — и умер. У меня тут пациентка была, Дора. Немножко похожая на мою бабушку, я с ней дружила. Входила поздороваться с утра, а она говорила: «Нили, после того как ты ко мне зашла, я точно знаю, что день будет добрым». И так — каждый день. А как-то я пришла на дежурство, а мне сказали «умерла». Она здоровая была, ничем почти не болела. Ну то есть она много чем болела, но тут они все много чем болеют. Ни рака у нее не было, ни инсульта, — Нили кивает на лежащего Менаше. — И все равно умерла. Я сначала подумала — нестрашно, ей все-таки почти сто лет было, — а теперь хожу по отделению, и пусто. А я даже не знаю, где ее похоронили. Бабушку мою в Беер-Шеве похоронили, она там жила.

— А ты к кому-нибудь другому начни заходить, — советует Омар.

— А он тоже потом умрет. Они тут все по очереди умирают. Не хочу.

— Десять негритят, — негромко говорит подошедший Сергей.

— Что? — Нили вскидывает голову. — Почему негритят?

— Книжка такая есть, — отвечает Сергей, отхлебывая кофе. — Детектив.

— Я не люблю детективы, — говорит Нили. — Они страшные.

— Ага, — соглашается Сергей, — этот тоже страшный. Там разные люди умирают один за другим. Считалочка такая есть, знаешь? Десять негритят пошли купаться в море, десять негритят резвились на просторе…

— И? — Нили приоткрывает рот.

— Один из них утоп, его сложили в гроб, — Сергей говорит быстро, почти скороговоркой. — И вот вам результат: девять негритят.

— А дальше что? — зачарованно спрашивает Нили.

— Дальше все то же самое. Девять негритят пошли купаться в море, девять негритят резвились на просторе…

— Один из них утоп, его сложили в гроб, — печально продолжает вернувшаяся Иланит. — И вот вам результат: Розы нигде нет.

— Что же делать? — пугается Нили. — Он же не может уехать, не попрощавшись с ней!

Омар косится на безучастно лежащего Менаше.

— Нам пора, — мягко говорит он. — Передайте вашей Розе…

Иланит гладит Менаше по ладони, лежащей поверх простыни.

— Ничего ей не надо передавать. Мы разберемся. Спасибо, Омар. Счастливо, Менаше.

— До свиданья, Менаше, — тихо говорит Нили и тоже гладит

Менаше руку.

— Восемь негритят пошли купаться в море, восемь негритят резвились на просторе, — напевает Сергей, везя каталку.

— Перестань, — просит Омар.

— Еще один утоп, его сложили в гроб, — не слушает Сергей. — И вот вам результат…

Мимо него быстро проходит Стив. За его рукав цепляется рыдающая Мириам. Врачи толпятся возле комнаты Ханы.

— Вот тебе результат, — кивает на них Омар и вызывает лифт.

Часть третья

В медицинском центре «Рина» в Реховоте не комнаты, а палаты. На стенах нет ковров, вместо шкафчиков и статуэток — приборы и трубки. Что-то тихо попискивает. Темно. Менаше лежит на кровати и хрипло дышит.

Рядом с кроватью, на низком стуле, сидит темная фигура и временами ерзает, чтобы устроиться поудобней.

— И вот, когда Иерухам Брох обнаружил, — слышится полушепот, — что по его лучшему полю кто-то бегал, то ужасно разозлился, само собой. А он смертельно враждовал с семьей Нахума Абрамова, помнишь? У того было трое детей, все мальчики, один другого хуже. И конечно, Брох первыми заподозрил этих жутких сыновей Нахума. Пошел к ним домой, кричит с порога: да я все ноги вырву… да я до кибуцного совета дойду… А его встречает мрачный Нахум, мол, я им сам все ноги вырву, но три мои надежды на спокойную старость точно были не у тебя на поле, гады, потому что их чуть не подстрелили, когда они воровали дыни в соседнем кибуце. И теперь они там же отбывают рабочую повинность, собирая те же дыни для самого кибуца, иначе их домой кибуцники отпускать категорически не хотят. Тут Брох его перебивает, потому что ему интересно слушать про Абрамовых-младших, но и свое поле покоя не дает, и говорит — мы с тобой лучше давай вот о чем договоримся. Когда твои гады-надежды придут домой, ты их отправь ко мне на поле. И пусть они его постерегут. И если вредителя поймают — я им, говорит, денег заплачу.

Роза бормочет, Менаше дышит. Светает, скоро смена.

Открывается дверь, и заходит Рахель, местная медсестра. Она подходит к спящему Менаше и натыкается на предусмотрительно затихшую Розу.

— О господи! — взвизгивает Рахель, отпрыгивая. — Господи, это что?

— Это не Господи, что ты, что ты, — успокаивающе шепчет Роза, — это я. Мне до Господа далеко.

— Ты кто? — ошарашено спрашивает Рахель. — Из какой ты палаты?

— Из этой, из этой я палаты. — Роза встает, поддерживая Рахель под локоть, и осторожно начинает передвигаться с ней в сторону выхода. — Ты понимаешь, какое дело. Мы заговорились тут немножко, но мы же никому не мешаем, да?

— С кем заговорились? — недоумевает Рахель. Она принимала Менаше днем.

— Да ты не нервничай, — Роза поглаживает плечо Рахели сухой ладонью, — так получилось, мне тут у вас придется жить. Второй кровати не надо, я на стуле буду спать, тем более что мы все равно разговариваем по ночам…

— Да с кем? — Рахель чуть не плачет. — С кем разговариваем? Почему на стуле спать? Ты вообще кто?

— Я — Менаше Вайнберг, у вас там в списках есть. Есть Менаше Вайнберг в списках?

— Есть, — напряженно кивает Рахель. — Сама оформляла.

— Ну и вот, — с нежностью журчит Роза ей на ухо, — вот это я и есть.

— Ты?

— Я.

— А… он? — Рахель указывает подбородком на кровать.

— И он тоже. Мы — Менаше Вайнберг.

Рахель осторожно трогает Розе лоб.

— А живешь-то ты где, Менаше Вайнберг?

Роза смотрит на нее строго и говорит с неожиданной твердостью:

— А живу я здесь. Теперь — здесь.

— Но у нас тут нет… таких, как ты, — сопротивляется Рахель. — У нас все лежачие.

— Я лягу, лягу, — прежним успокаивающим тоном обещает Роза. — Где скажут, там и лягу. Буду лежачей не хуже других, если надо.

Они выходят в коридор. По коридору бродит уборщик в мягких тапках и неторопливо возит по полу мокрой шваброй.

— Возле поста протри, — рассеянно просит его Рахель.

— Протру, — соглашается уборщик, направляясь к стойке.

— А с тобой мне что делать? — спрашивает Рахель у Розы. — Куда тебя девать?

— Никуда я не денусь.

Роза останавливается и смотрит на нее.

— Мы — Менаше Вайнберг, понимаешь? Мы тут оформлены и будем тут лежать. А если вы попытаетесь меня увезти, я вам на месте слягу так, что вы сами пожалеете, что не взяли меня, пока я еще ходила.

Рахель смеется:

— Ты страшная женщина. Как тебя саму-то зовут, Менаше Вайнберг?

— Роза. Роза Вайнберг.

— Да уж понятно, что не Зильберман. Ладно, Роза-Менаше. Иди обратно в палату. Придет старшая сестра — будем решать, что с тобой делать.

Когда Роза своим медленным шагом уже почти скрывается в палате, Рахель окликает ее опять:

— Роза! А как ты вообще сюда попала? Я сама днем дежурила, где же ты была?

Роза смущенно улыбается, а потом, не удержавшись, горделиво хихикает:

— Я лежала в прачечной.

— Что? — изумляется Рахель. — Что ты там делала?

— Лежала, — деловито объясняет Роза. — Я же говорила, что умею замечательно лежать. Там у вас на дверях написано, что прачечная работает по четным числам. А сегодня нечетное, поэтому меня никто не видел.

— Но как ты вошла?

— Мне открыл уборщик. Я ему сказала, что потеряла в прачечной очки. Он открыл и отошел, сказав, что позже придет запереть, но, когда он пришел обратно, я уже спряталась в белье. Там мягко. Я даже поспала. И знаешь, выспалась так, как мне давно не удавалось.

— А вышла-то ты как? Если он тебя запер?

— Вечером постучала, и другой уборщик мне открыл. Ему я сказала, что зашла искать очки и забыла выйти, потому что у меня склероз. Он поверил.

Роза возвращается в комнату и садится.

— И вот, ты можешь себе представить. Когда младший Абрамов стерег это чертово поле, он застал там девчонку! Дочку

соседей, Риту. Которая приходила туда со своим любовником, сыном учителя из соседней деревни. И главное, ты меня спросишь — зачем ей понадобилось топтать именно это поле? Этого, знаешь, никто не понял. То ли оттого, что ее мать с детства не одобряла курящего агронома, то ли просто потому, что ей было близко дотуда бежать из дома. Но смешно другое. Смешно, что младший Нахумов сын как раз тогда гулял с этой самой Ритой. Представляешь, как она изумилась, когда он выскочил из-за кустов. А через месяц, ты не поверишь, женился на ней. Убедив ее, что умеет мысли читать и всегда, если что, ее поймает. Поэтому теперь она точно ему будет самая верная жена. И что ты думаешь? Так и вышло.

* * *

Зима. Ветер срывает шарфы и листья, в парке пусто. Нили надела теплый свитер с высоким горлом под белый халат. Свитер янтарно-золотого цвета и очень ей идет.

— Всем привет! — весело здоровается Нили, заходя с утра в комнату медсестер.

— Привет, — безучастно отвечает Иланит. Нили хмурится:

— Что случилось?

Иланит смотрит в окно на безлюдный парк. На мокрой скамейке кто-то забыл шерстяные перчатки. Иланит кажется, что они замерзли.

— Ночью умерла Шейла Майер.

Нили тихонько охает:

— Как?

— Очень быстро, — отвечает Иланит, по-прежнему глядя в парк. — Сердечный приступ. Даже не дождалась врача. Доктор Шауль пришел, констатировал смерть. И всё.

Нили пальцами с блестящим оранжевым маникюром оттягивает воротник свитера от горла. И охает снова.

— Исайя… Он знает?

— Нет еще, — по-прежнему безучастно говорит Иланит. — Сейчас пойду скажу ему.

— Я с тобой.

— Да ладно, сиди, — отмахивается Иланит и встает. — Я сама.

Она выходит из комнаты медсестер. Нили, постояв, идет за ней.

Исайя сидит на кровати с газетой. Увидев Нили и Иланит, он

галантно встает и сразу начинает кашлять.

— Какие барышни, — кашляет и радуется Исайя. — Нечасто меня навещают две девицы сразу.

— Исайя… — говорит Иланит и тоже откашливается. — Ты только не нервничай, хорошо?

«Идиотская фраза, — думает Нили. — Что значит — не нервничай? А из-за чего ему нервничать вообще?» Но что бы на месте Иланит сказала она сама, Нили не знает.

— Что случилось? — вздрагивает Исайя и большими руками хватает Иланит за плечи. — Девочки, ради бога, что случилось? Что-то с Талем? Из Америки звонили?

Иланит качает головой и еще раз откашливается.

— Шейла умерла.

— Как? Как… умерла? — Исайя оседает на кровать. — Что значит «умерла»?

Он повышает голос и сразу сильно краснеет.

— Что… что ты несешь? Шейла всю жизнь была здорова! — кричит Исайя, напрягая шею. — Что значит «умерла»?

Иланит молчит, прислонившись к стене.

Слышно, как по коридору кто-то везет тележку, позванивающую баночками лекарств. Исайя стоит, переводя дыхание после крика. В дверь заглядывает Меир. Окинув взглядом комнату, он заходит и опускается на кровать.

— Ты слышал, ребе? — глухо произносит Исайя.

— Слышал, Шае, — отвечает Меир.

— Что мне делать, ребе? — спрашивает Исайя, глядя в пол.

— Молиться, Шае. Пойдем почитаем кадиш.

— Я хочу ее видеть, — медленно произносит Исайя и поднимает голову. — Где она сейчас?

— Пока у себя, — отвечает Иланит. — Я подумала, что ты захочешь попрощаться.

— Не захочу, — говорит Исайя так же медленно. — Но мне придется.

Он встает, выпрямляясь во весь рост, и медленными шагами направляется к двери.

— Шае, пойти с тобой? — спрашивает Меир, тоже вставая. Исайя всем корпусом поворачивается к нему.

— Раньше она давала мне смысл жизни. Теперь дала смысл смерти.

— Что значит «смысл смерти»? — шепотом спрашивает Нили у Иланит. Исайя слышит.

— Это значит, — отвечает он, — что раньше мне было для

чего жить. А теперь есть для чего умереть.

Он останавливается в дверном проеме, двумя руками касаясь стен, и говорит негромко, глядя поверх голов:

— Спасибо, Шейла.

Чай с травкой

На работе Мири обычно заливает кипятком какой-нибудь чайный пакетик из тех, что грудой свалены на подносе в комнате персонала. И не вынимает пакетик из чашки, чтобы чай получился крепче и меньше хотелось спать. А иногда кладет сразу два пакетика. И добавляет три ложки сахара, «чтобы был хотя бы какой-то вкус».

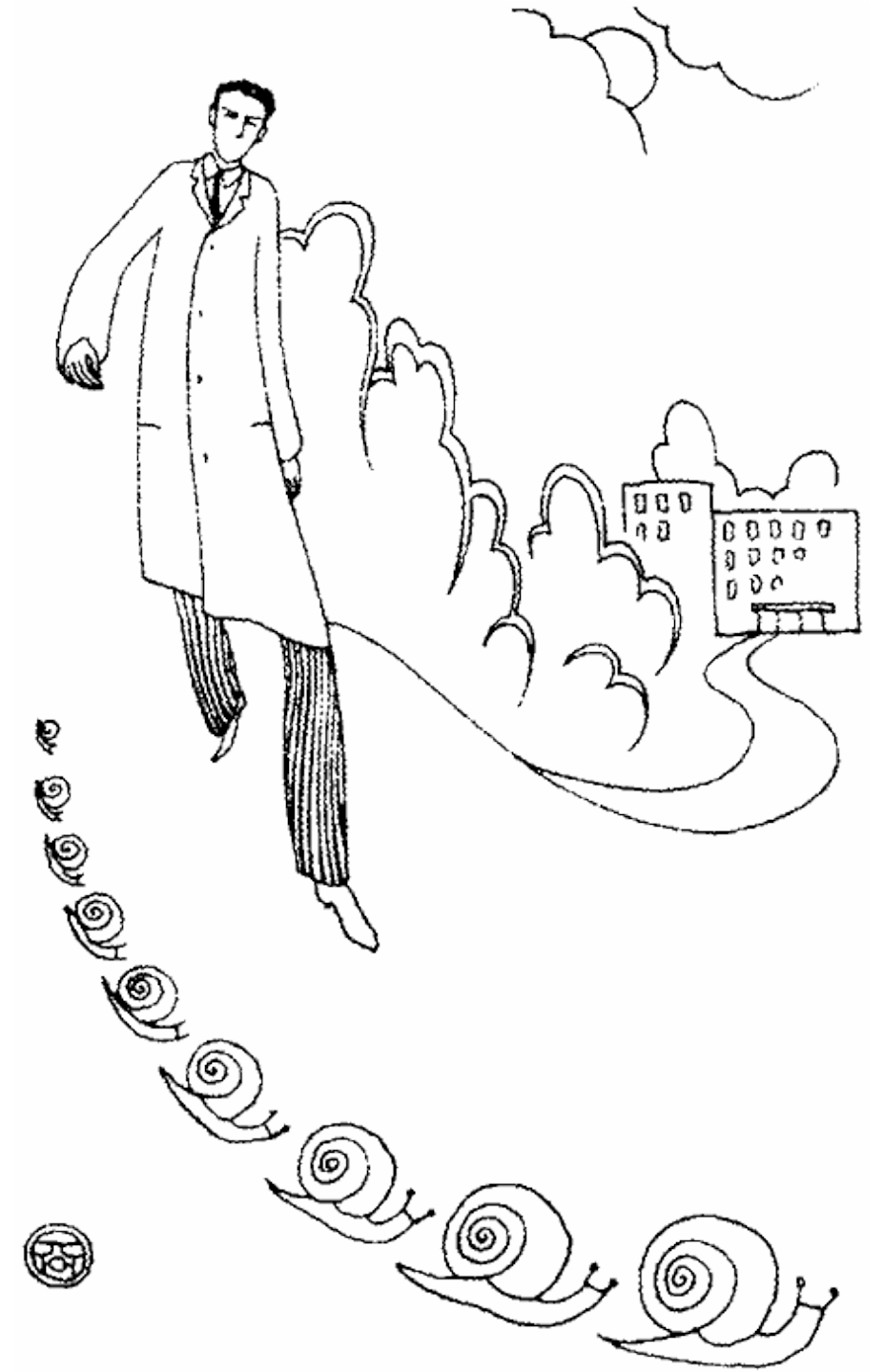
Но дома у Мири любят заваривать чай по рецепту Шимона, друга семьи, уроженца Баку и жителя Иерусалима. Ехидный Мирин муж называет этот напиток «чай с травой».

Нужен черный цейлонский чай (если вы живете в Иерусалиме, его лучше всего купить на рынке, на закрытой линии возле улицы Агриппас, напротив табачной лавки). На литровый заварочный чайник берутся две маленькие кофейные чашечки этого чая, и туда же добавляются травки: шалфей, чабрец, иссоп (на иврите он называется «заатар» и больше известен именно под этим именем), а также белая зота, которой по-русски, кажется, вообще не существует, зато она продается в магазине «Специи», напротив входа на закрытую линию рынка. И остальные травки там тоже можно купить — впрочем, конечно, не только там.

Всё вместе залить кипятком, накрыть и дать хорошо настояться. А потом разливать в огромные (это важно) чашки, доливать горячей водой и небыстро пить, вдыхая ароматный пар. Мири говорит, что это успокаивает, а ее муж утверждает, что, наоборот, бодрит.

Видимо, это просто такой специальный чай, про который ты сам решаешь, что с тобой будет после того, как ты его попьешь.

Алексей К. Смирнов



Три чая, два кофе

Живые улитки, живые улитки,
Живые, живые улитки.

Алексей Хвостенко

— Ну так вот, — рассказывает Аспирян. — Приходит ко мне Полина Адамовна Подолина и говорит: возьми мужичка, он здоровый. Ну, был инсульт, что поделать, но так — здоровый и хороший. А я тогда еще не знал, кто такая Полина Адамовна…

Мы идем по асфальтовой дорожке через лес. Раннее утро, заспанный туман, перестук колес далекой электрички, который быстро стихает, но его подхватывает поднебесный дятел. Справа — бандитские дачи, слева — сосны и хвойный ковер, сухой вопреки осенним дождям. Смотрим под ноги: как бы не раздавить улитку, их тут ужас сколько. Они, ничего не соображая, ползут на асфальт, где и замирают под гипнотическим воздействием открытого пространства.

— И привозят дедушку, — продолжает Аспирян. — У него — гипертония, склероз, семьдесят три года — плюс-минус два или три, а можно и десять лет — это, как известно, роли не играет. Пара инфарктов… в общем, то, что само собой разумеется, можно не называть. Диабет. Ладно, и это стерпим. Но у него, — Аспирян начинает загибать пальцы, — гемофилия…

Я зловеще, с пониманием киваю.

— То есть никаких уколов, кровищей изойдет. Во-вторых, аденома простаты, ссать не может, — Аспирян загибает второй палец, — и поэтому у него в брюхе дыра с трубкой. А вдобавок — огромная паховая грыжа. Яйцо — до колена! Меня спросили: почему он перестал ходить? Я так и ответил: может быть, яйцо по ноге стукнуло, вот она и подвернулась?

Аспирян заведует отделением оперированных мозговиков.

— А самое любопытное, — он, подождав, когда я отсмеюсь, понижает голос, — это то, что самого инсульта-то у него, похоже, и не было. Вот все было, а инсульта — нет…

Мы спускаемся по крутому песчаному склону, выходим на узкий мост через речку с густой водой цвета хаки. Каждое утро, проходя через мост, я вспоминаю про целебный источник, расположенный неподалеку. А также про длинную одинокую трубу, торчащую из берега. Эта труба тянется из-под самой больницы, из нее постоянно выливается в речку нечто. Источник

популярен. Говорят, он расположен выше по течению. Но я, сколько ни хожу, не заметил вообще никакого течения, а категории «выше — ниже» плохо применимы к нашей равнинной, болотистой местности.

Вокруг — березы, сосны, бурый отсыревший папоротник. Чтобы увидеть больницу, надо подняться по лесенке от моста. Скоро эта лафа кончится, лесенка зимою превращается в каток. Кряхтя осиливаю ступени. Сумка сегодня тяжелая, потому что я дежурю сутки, и в ней — продукты питания, бритва, художественная литература и еще разная мелочь.

Мы выбираемся наверх и с ритуальной обреченностью смотрим на застекленную букву «Д», растянутую вширь, с двумя пристройками в качестве ножек, — больницу. Нет, на букву она не похожа — слишком длинная. Скорее, на безголового пятиэтажного тролля из серого кирпича и стекла, который присел отдохнуть. Это я сейчас из кожи вон лезу, стараясь подобрать впечатляющее художественное сравнение. В действительности ежеутреннее созерцание этого здания не возбуждает никаких чувств, кроме приевшейся, не слишком острой тоски. И потому отчасти театральны наши вздохи — по причине непротивления судьбе.

— Я давно подозреваю здешние болота, — делится со мной Аспирян. — Неспроста все это. От них какие-то испарения исходят, что ли… Люди поживут-поживут и начинают меняться.

Помню, он утверждал, что научился отличать сестрорецкого бомжа от, скажем, зеленогорского. Я чувствую, что и во мне постепенно просыпается такое чутье. Городок, в самом деле, особенный, в нем присутствует что-то отвязанное, отмороженное, но в то же время — мирное, свободно плавающее, засыпающее на ходу.

В качестве иллюстрации — недавний случай из жизни. Лежал в реанимации человек, больной и буйный, а потому — голый и накрепко привязанный к койке за все четыре конечности. И катетер стоял у него с целью активного выведения мочи, ибо дело шло о серьезном отравлении чем-то крепким. Бригада не догадывалась, что ей достался опытный клиент, весьма искушенный в преодолении всякого рода препятствий и затруднений. Совершенно неожиданно для всех больной вскочил, разорвав ненавистные путы, и бросился прямо в окно. Этаж был первый. Избавляться от катетера беглец не стал. Разбив стекло, изрезанный, окровавленный тарзан пустился наутек, в прогретые солнцем леса. Доктор Кафельников стоял, задумчиво притоптывая ногой, обутой в тапочек, и повторял вполголоса гамлетовский вопрос: «Бежать или не бежать?» Наконец все

решили бежать. И бежали действительно все, человек двенадцать, — по больничному двору, через шоссе, в курортную зону. А по пути осведомлялись у прохожих: в какую, дескать, сторону побежал голый человек с торчащей из члена трубкой? Никто не удивился. Никто. Не было ни наморщенных лбов, ни вздернутых бровей, ни прочих признаков замешательства и недопонимания. Местные жители как один с готовностью отвечали: «Вон туда!» — и возвращались к прерванным делам.

…Девять пятнадцать.

— Когда у нас было заседание по поносам… — Аспирян хочет поведать о чем-то еще, но мы уже пришли, и он обещает досказать после.

— Три чая, два кофе, — прошу я у лоточницы в холле. Та вручает мне пять пакетиков, я прячу их в сумку. Кофе сейчас, чтобы проснуться, кофе на следующее утро, чай — на день, три пакетика можно дважды залить кипятком. Итого — шесть чаепитий плюс халява. Лифтер мне кивает, следом за мной запускает в грузовую кабину трех-четырех мозговиков. Те заходят медленно, подволакивая ногу и прижимая к груди скрюченную руку. С ними работать — одно удовольствие: тихие, смирные кабачки, однажды и навсегда узнавшие себе цену. А вот травматики большей частью невыносимы, и я сочувствую олимпийски спокойному Аспиряну, который их пользует. С другой стороны, Аспирян сочувствует мне.

Как всегда, я опаздываю на пятиминутку. Это откровенный, неприкрытый саботаж, за который мне ничего не будет. Тем более сегодня: заведующей почему-то до сих пор нет, и старшая сестра, по-лошадиному встряхивая головой, тихонько интересуется: «Где?..» Так, и только так, ибо конкретизация грозит перейти границы панибратства, существующего у меня со среднемедицинской саранчой. Уточнение неизбежно должно выражаться в дополнениях типа «конь с яйцами», или «их величество», или «бабуля». Всем все понятно, но вслух — нехорошо. Во всяком случае, со старшей сестрой, поскольку она как-никак в компании с той же бабулей и сестрой-хозяйкой составляет административную тройку отделения. В известной, значит, степени причислена к лику.

Я, естественно, пожимаю плечами. Откуда мне знать? Представляется картина: бабуля в школьной форме, рядом — я, несущий ее портфель от самого дома. И после работы — до дома же провожающий. До чего же богатое у меня воображение! И извращенное. Я содрогаюсь: представленное, даже будучи неосуществимым, откровенно чудовищно. Иду в ординаторскую, на ходу нащупывая в сумкином кармане кофейный пакетик.

Надеваю чистый халат с заплатками на локтях, навешиваю к сердцу табличку со сведениями о себе: боюсь забыть.

В дверь заглядывает Элиза — она из людей, таких здесь немного. Шепчет: пришла. В коридоре — какая-то возня, возмущенное бульканье, слабый визг. Что-то начинается. Включаю чайник, застегиваюсь, выхожу. В пяти шагах от меня стоит бабуля и гневно рассказывает, как обошлись с ней железнодорожные контролеры. Старшая сестра терпеливо кивает и слушает поджав губы — как неизлечимо больного ребенка.

— Пенсионное! — бухает бабуля. — И говорит еще: пройдемте! Я и говорю ему: я заведующая неврологическим отделением, врач высшей категории!

Старшая согласно наклоняет голову и сдержанно побуждает к продолжению:

— Ну?

— Ну и всё! А он мне: посмотрите на себя в зеркало — какая вы заведующая!

Осторожно пячусь назад, притворяю дверь. Засада, сейчас я погибну. Животный (потому что в животе) хохот угрожает цепной реакцией, смешинки вот-вот сольются в критическую массу. Только бы сдержаться!

Выждав сколько нужно, с шумом выдыхаю и отправляюсь в кабинет с серьезнейшим видом. Там уже бабуля: склонилась над журналом сдачи дежурств, сидит. Ей много лет, а сколько — никто не знает. Сама она признается, что в годы войны, будучи девяти лет от роду, прибавила себе семь, чтобы идти работать на завод. Похвально, но недостоверно. Получается, в девять она выглядела на шестнадцать? Очень, между прочим, может быть. Если она врет, то вряд ли делает это умышленно — скорее всего кое-что подзабыла.

Нет, всё, всё возможно. Коллеги, знавшие ее еще сорок лет назад, утверждают, что она абсолютно не изменилась. Она всегда была одной и той же. У нее — хлебобулочное лицо с красным алкоголическим носом. Бабуля в рот не берет спиртного, это не пьянство, а ринофима, особенное состояние носа, когда он становится именно такой, как у бабули. Короткие волосы выкрашены рыжей мастикой. Голова мелко трясется. Письмо дается с нескрываемым трудом. Пришла на работу в длинном шерстяном платье и шуршащих спортивных штанах.

Бабуля карябает в журнале. Кто сдал, кто принял, сколько человек, у кого температура, кто нарушил режим. Эти записи бесполезны, она их никогда не перечитывает и сразу забывает, что написала. Она путает фамилии, пишет не то, ибо не так и слышит, и церемония сдачи смены превращается в таинственный

ритуал, сравнимый с древнеэллинскими культами, которые продолжали в свое время отправлять, не задумываясь о давно утраченном, веками поглощенном содержании.

Собираются сестры, монотонно докладывают. Событий немного. Ну вот, например, одно: Енцев из двадцать четвертой палаты вернулся поздно, к полуночи, с запахом перегара.

Слух у бабули хреновый, и вдобавок сложно додумать винительный падеж. Следует приказ:

— Выписать Ебцев!

На все про все минут десять — пятнадцать. Наконец можно удалиться. Я надеюсь, что бабуля не скоро появится в ординаторской и у меня будет возможность скоротать время в одиночестве. Работы никакой, нет ни выписки, ни поступлений. Она придет, усядется и примется за длинный рассказ о медицинском героизме пещерных времен. Например, о том, как она овладела гипнозом и на какой-то плавучей базе заколдовала матроса, у которого начиналась белая горячка, — обручальным кольцом на ниточке: «Смотри! Смотри на меня!» Я надеюсь, что нет, что все обойдется. Заведующая останется в кабинете и займется любимым делом: будет читать инструкцию по гражданской обороне.

В общем, надо пить кофе, пока я один. Это не запрещено, однако бабуля, случись ей застать меня за этим занятием, может проявить заботу и угостить бутербродами с колбасой. Ведь она совсем одинока, ей некого побаловать. С колбасных кружочков грубо, с мясом, содрана кожура; я сразу представляю бабулины ногти, а то и зубы, которыми она впивается в пищу. Рот наполняется слюной — признак не голода, но подступающей рвоты. Залпом опустошаю чашку и выбегаю на перекур.

Когда возвращаюсь, обнаруживаю худшее: бабуля тут как тут. Я придвигаю к себе стопку с историями болезни и с остервенением начинаю делать записи следующего содержания: «Состояние удовлетворительное, новых жалоб нет, неврологически — без ухудшения». Это — дневники; по количеству клиентов мне придется повторить волшебную фразу сорок раз. Так в старину наказывали нерадивых школяров: напиши сто раз то-то и то-то… иначе останешься без обеда. Один к одному.

Бормочет радио, бабуля прислушивается и что-то улавливает.

— Врать не буду, не знаю, — заявляет она. — Что слышала, то и говорю. Его зовут не Ельцин, а Борух Эльцин.

— М-м? — я недоверчиво мычу. — Ох, совсем забыл…

И снова вылетаю прочь — якобы по спешному делу. Карету не прошу — не те, государи мои, времена. В коридоре меня атакуют.

Сразу три тамагочи в колясках, подобно лихой кавалерии, берут меня в клещи.

Какие-то пустячные вопросы, решаю на ходу, успокаиваю, обещаю, клянусь. Вниз, вниз! — к Аспиряну.

Аспирян сидит за столом, что-то пишет. С удовольствием откладывает ручку, наливает кофе, возвращается к рассказу.

— Так вот, заседание по поносам. Там сидела парочка: Татьяна Ильинична, а с нею рядом — Порожняк, из СЭС. Еще, кстати, неизвестно, кто хуже.

Ильинична — начмед, исчадие ада, из откровенных вампиров. Как же возможно нечто более страшное? Спрашивать боюсь.

— Сижу и смотрю, — жалуется мне Аспирян, — как Порожнячка жует жвачку. Смотрит прямо перед собой и жует — не как-нибудь, а с чувством, не закрывая рта. Чавкает, чмокает. А Ильинична — та смотрит так же прямо и только челку поминутно сдувает со лба. Смотрю и думаю: черт подери — пэтэушницы! Старые бабы, за пятьдесят обеим… Чудеса!

— Цветы жизни, — вздыхаю я лицемерно.

…Сижу, не спешу уходить. У Аспиряна много дел, но он человек деликатнейший, меня не гонит. Понимает все — и про бабулю, и про колбасу, и про наше отделение в целом. Наши клиенты не то чтоб такие тяжелые, большинство из них сломало себе хребты много лет назад, и все уже устаканилось: и к трубкам в мочеиспускательном канале привыкли, и к вяло заживающим пролежням, и к коляскам, и к обвисшим членам. Одна беда: всегда одни и те же. Из года в год приезжают они за каким-то дьяволом лечиться, будучи уже вполне безнадежными, — они это знают, они давным-давно успокоились и понимают, что не пойдут никогда, но все же едут. Я знаю их по имени-отчеству, у нас зачастую фамильярные, доверительные отношения, которыми мы пытаемся заполнить тягостный вакуум бессмыслицы. Вера в полное выздоровление жива в одной бабуле. Это, кстати сказать, нравится не всем. Некоторых даже раздражает.

Вот и подтверждение последнему: в коридоре меня останавливает мрачный небритый мужик, из ходячих. Наверно, везунчик. Вскрытая на предмет чепухи спина. Я его не знаю, палата не моя.

— Скажите, пожалуйста, — гудит он, хмуря брови, — какие вы ведете палаты?

— Вот, вот, вот, — я тычу пальцем. — А также вот, вот, вот и вот.

— А нас — бабуля?

— А вас — бабуля.

— Блядь, — говорит мужик, поворачивается и уходит прочь.

Я весело пожимаю плечами, заворачиваю в клизменную.

Клизменная — это отдельная песня, ноу-хау нашего отделения. Приедут, случается, какие-нибудь гости, и даже иностранные, — ходят, воротят носы, смотрят с нескрываемым презрением. Мол, бедновато, — вот у нас и холлы, и даже «зимние сады» с бассейнами на сотню человек, а тут — беднотища! И вдруг — клизменная. Челюсти отвисают, глаза воспламеняются, сверкают фотовспышки — да! вот такого у нас нет! это надо взять на вооружение! И ходят кругами, осматривая «трон» со всех сторон, — а трона-то всего-то и есть, что койка с дырой, под которую подведен унитаз.

Клизменная — в некотором смысле отдушина. Это — курилка. Когда в ней пусто, лучше места не сыскать во всей больнице. А к запахам настолько привыкаешь, что в быту начинаешь ощущать их нехватку. Иногда я всерьез начинаю мечтать о письменном столе — поставить бы его здесь, возле очка, и часть проблем решилась бы мгновенно. Сидел бы я один, в тишине и покое, и ни одна сволочь не достучится…

За окном — четыре корпуса общежития, а дальше — выцветшие, бурые болота и лес, до которого вовек не дойти. Там же — быстрорастущее кладбище. Святости маленькой, недавно построенной часовни явно недостаточно, чтобы оздоровить местную ауру. Недавно я поймал себя на том, что и с пейзажем я постепенно срастаюсь. Проснулся как-то раз дома, на диване, после двухчасового сна, взглянул на улицу — что-то не то! А где же осенние топи, где гнилой простор? Куда подевалась трясина?

Так оно и бывает — исподволь, украдкой, из количества в качество, по спирали.

…Плетусь обратно — дописывать про удовлетворительное состояние.

И день проходит. Днем я называю четыре часа до обеда. Дальше — уже иное время, со своими сюрпризами, плюсами и минусами. Как ни крути, есть капля правды в рассуждениях насчет временной неоднородности.

К примеру, обед — святое дело, это время «Ч». Дежурный врач — ваш покорный слуга — под видом забора пробы имеет право полноценно напитаться. Что до меня, то я их, гадов кухонных, не проверяю никогда. Кому надо, все равно упрет. Встречались у нас сознательные личности, которые считали своим долгом присутствовать аж при закладке масла в кашу. И что же? Однажды, что-то позабыв, одна такая правильная вернулась, и вот вам картина: необъятная тетка, багровая от волнения, самозабвенно ловила в черпак драгоценное,

полурасплавившееся кило…

…Меня приветствуют: «Приятный аппетит!»

Затемнение. Дежурный доктор — фигура высшего порядка. Всех как ветром сдувает из-за стола — доели не доели. Обмахивают грязным полотенцем оцинкованную поверхность, несут куриный бульон. За верхоглядство и демократичность — две котлеты вместо одной. Вежливо хмурюсь: закормите! Разве я съем?

Съедаю.

После обеда — чувство легкого недоумения. Вроде и живот набит, а впечатление, будто в чем-то обманули, провели. Раздраженно гоню от себя прочь сомнения и мрачные мысли. Впереди — халява номер два: логопеды.

Тоже отдушина, хотя они, возможно, оскорбились бы этим «тоже». Если помните, номером первым шла клизменная. Но нет, здесь все иначе, здесь не врачи и даже не персонал, а педагоги, личности совсем другого склада, пускай оно и не заметно при поверхностном рассмотрении, — даром что в белых халатах.

Чай уже поспел, дамы спорят о достоинствах и недостатках мужских трусов.

— Что вы хотите — просторные! — увлеченно доказывает первая. — Рука свободно пролезает!

— И голова! — со смехом добавляет ее коллега.

С ними отдыхаешь сердцем.

Но сегодня — не тут-то было. Трезвонит телефон: меня таки нашли, приглашают навестить приемник.

— Ты возвращайся! — говорят мне логопеды. — Мы тебе булочку оставим.

— Ему сегодня булочка не нужна, — подает голос Аспирян (он тут как тут). — У него было время «Ч».

— А-а! — тянут женщины. — Ишь он какой!

Криво улыбаюсь, делаю ручкой, выхожу. Плетусь в приемник, поигрывая молоточком. Ну-ка, что у нас там? Для сюрпризов еще рановато, для сюрпризов существует ночь. Сейчас, вероятно, меня ожидает что-нибудь простенькое.

Так и есть — битое рыло, болит голова. «Чебурашка» синего цвета. На снимок, сука! Я краток и строг, мечтаю о милицейском мундире и резиновой палке. Оговорюсь, что в мирной жизни грезы подобного сорта мне не свойственны.

Праздно расхаживаю взад-вперед, пока ему просвечивают череп. Потом жду снова: снимок проявляется. Наконец окунаю пальцы в раствор, извлекаю мокрый лист. Смотрю на свет — черт его разберет! Вроде что-то там сбоку наклевывается… Или это у

него отроду так? Делаю запись: «На мокрых рентгенограммах черепа убедительных данных за костно-травматические повреждения в настоящее время нет». Ключевые слова: «на мокрых», «убедительных», «в настоящее время», — окапываюсь.

Захожу в смотровую, где битое рыло торжественно меня оповещает: оно уже не хочет ложиться в больницу, оно пойдет домой. Молча гляжу на него в упор. На хрена ж я, спрашивается, с тобой вошкался?

— Будут вопросы — отвечу, что ушел сам, без разрешения, — произношу я после полной значения паузы.

Рыло схватывает на лету, прижимает руки к груди. Расквашенные губы размыкаются, но я упреждаю кваканье, успеваю первым:

— А ну пошел отсюда! Чтоб духу твоего здесь не было!

Потерпевший испаряется. Бросаю взгляд на часы: время вышло, булки съедены, чай выпит. Стало быть — наверх, к бабуле, в поисках новых приключений. Поднимаюсь, в лифте — прежние задумчивые личности, скрюченные судьбой. Бабули, однако, уже след простыл. Чего, спрашивается, приезжала?

Устраиваюсь в ординаторской, вынимаю умную книгу. Читать невозможно: прислушиваюсь к перепалке в коридоре. Оттуда доносится:

— Мне стыдно за вас! Нас уже носом тычут! Неужели самим непонятно, что надо работать в перчатках?

— Да я-то всегда в перчатках! Я же знаю, что это — член, за него взяться — как за электрический шнур!

— А Катя? А Катя? Лезет пальцами… в этот пролежень гноящийся… надо ж соображать, как не боится? Любая зараза по сравнению с нашими пролежнями — это цветочки ангелоподобные!

— А я? Я тут при чем?

Чтение приходится отложить. Я сижу в задумчивости, барабаня пальцами по настольному стеклу и представляя себе бабулю во всех житейских подробностях. Вот сейчас она идет к автобусу, заворачивает в магазин, покупает колбасу. Идет дальше, на ходу откусывает. Садится на лавочку, спина прямая, взор пустой. Низкое, как потолок в хрущевке, небо. Слякоть, пивные пробки, газета «Калейдоскоп». Неопределенное время суток, неопределенное время года. Часть света — черт ее разберет какая.

Завариваю чай, встаю, прохаживаюсь взад-вперед. Пошел четвертый час, скоро все расползутся по норам и я останусь на хозяйстве. Двух дежурных сестер вполне можно стерпеть, тем более что нынче дежурят далеко не худшие. А пока… пока я запускаю казенный «486-й», выбираю уровень «стратегии»,

называюсь «Царем Гнидой» или «Владыкой Уродом» и начинаю мочить, как выражается наш нынешний высокий руководитель, всех подряд. Я демонстрирую чрезвычайно агрессивный стиль игры, моя конечная цель — не космический корабль, на котором улетают к альфе Центавра, а ядерное оружие. Как только мне случается его заполучить, я, забывая о рейтинге, мигом разрываю дипломатические отношения и засыпаю бомбами и врагов, и друзей.

За окном постепенно темнеет. Уже неразличимы таинственные дальние топи, корпуса общежития испещрены электрическими квадратами окон. Цирк зажигает огни. Что-то уж больно все тихо, спокойно. Я сквозь зубы напеваю: «Не к добру вечерняя эта тишина!..» Одновременно отмечаю, что мои подозрения насчет сомнительных достоинств обеда были справедливы: в желудке одна за другой образуются пустоты, требующие скорейшего заполнения. Иду в сестринскую, достаю из холодильника пакет с бутербродами. Мне очень не нравится хранить его там, где каждая может — и, безусловно, так и поступает — заглянуть и проверить содержимое. Надо же знать, чем питается доктор! Это же безумно интересно! Пересчитают колбасные кусочки, обсудят качество, посудачат о пищеварении… Я делаю каменное лицо и быстро удаляюсь со свертком.

Запираюсь на ключ, поспешно роюсь в бумаге и целлофане. Но напрасно я пел, напрасно. Тревога!

…Из телефонной трубки излетает заполошное, шепелявое: «Срочно на пятое! Немедленно, бегом!»

Ну да, конечно, разбежался. Если состояние больного такое, что он способен склеить ласты в течение ближайших минут, невропатологу спешить некуда.

Спускаюсь, однако, в темпе, снисходительно поигрывая молоточком. Что, мол, тут у вас?

В коридоре — пусто, из четвертой палаты доносятся невнятные крики и вздохи.

Вхожу.

Окно распахнуто, на койке, что под ним, два бугая мнут и распластывают яростно сопротивляющееся тело. Изо рта у последнего летят брызги слюны и обрывки нецензурных слов. Бугай, который ближе ко мне, в зеленом хирургическом халате и колпаке, поворачивает голову и вопрошает:

— А вам известно, доктор, что вы только что едва не сели в тюрьму?

Голос строгий, бывалый, и я поначалу теряюсь. Спешу на помощь, прижимаю к матрацу разбушевавшиеся ноги.

— Еще бы две секунды — и абзац, — добавляет пыхтя второй

— судя по всему, фельдшер. Я их ни разу не встречал — кто такие?

— В чем дело-то? — я спрашиваю мрачно, раздраженно, недовольный тем, что кто-то взял меня на понт. Какая, к чертям, тюрьма?

Не прекращая борьбы ни на миг, первый принимается рассказывать — скудно, отрывисто, но живописно. Произошло следующее: бугаи оказались ребятами из РХБ, реанимационно-хирургической бригады. Они кого-то привезли в приемник и вышли покурить на улицу. Кто-то из них случайно бросил взгляд на небеса, желая, вероятно, насладиться видом первых звезд, но вместо звезд увидел субъекта, который висел уже снаружи здания.

Я, слушая, задним умом соображаю, что с тюрьмой они переборщили. Крутые, понимаешь ли, ветераны острых ситуаций. Собственно говоря, за что? Пациент не мой, и больница у нас — не психиатрическая. К каждому солдата не приставишь. А в деле этого козла наверняка наличествует запись лечащего врача о ясном сознании и адекватном поведении. В противном случае его просто никто сюда не положил бы.

Самоубийца взбрыкивает, я наваливаюсь на него всей массой.

…Итак, увидев жуткую картину, коллеги ринулись наверх, прикидывая на ходу, которой палаты окно. Нашли не сразу, но нашли, ворвались, вцепились в запястья.

До чего ж силен! Троим мужикам не справиться. Лет двадцать, дегенеративная, багровая от натуги рожа, бритый череп с послеоперационной ямкой. Я не слишком искушен в технике обездвиживания и потому стараюсь на совесть. Кричу сестрам, чтобы несли еще тряпок и простыней. Рву их зубами, превращая в лоскуты, вяжу узлы — по восемь-десять штук на каждую конечность, не меньше.

— Ах, б-бляди! С-суки ебаные! — хрипит виновник переполоха, пытаясь высвободиться. С меня ручьем льет пот, пропитывая даже халат. Вид у меня через пять минут такой, словно я упал в лечебный бассейн.

Реаниматологи, вытирая лица, отступают.

Я не могу удержаться.

— Хрен тут тюрьма, — заявляю высокомерно. Те молчат.

— Побудьте с ним пять минут, — прошу я их. — Сейчас только бригаду вызову и вернусь.

Отдуваясь, быстро выскакиваю в коридор, к телефону. Сейчас начнется самое ужасное: мне предстоит убедить городских психиатров, что рехнулся не я, а мой клиент. Их можно понять: не очень-то хочется пилить из Питера в Сестрорецк. Хорошо еще, что

не ночь, ночью бы они уж точно отбрыкались.

— Суицид! — кричу я в трубку. — Травматик! Буйный, неадекватный! Сняли с окна!

На том конце провода сопят. Случай ясный, зацепиться не за что, придется ехать, но дать свое согласие сию секунду не позволяет гордость. Чего-то кочевряжатся, задают идиотские вопросы: «А как он к вам попал?» Черт возьми, я-то откуда знаю? Наконец смирились с неизбежным, выезжают. Все бы ладно, только будут они через пару-тройку часов. А мне, покуда не приехали…

— Мы боимся! — хором заявляют сестры.

Еще бы не бояться. Он уже сидит! Как он сумел? Мускулы раздулись, жилы проступили, глаза сверкают.

— Ну что? — это он ко мне обращается. — Иди-иди сюда, с-сука… Знаешь, что я с тобой сделаю? Я тебя и всю твою семью в рот выебу, пиздобол хуев. Давай подходи! Решил, справился? Вот сейчас увидишь…

Он медленно, глядя мне в глаза, начинает вытягивать руки из узлов. Бугаи уже смылись, я один, сестры не в счет. Командую — ей-богу, как в парашном каком сериале:

— Реланиум ему! Четыре, по вене. И два — в задницу, а дальше поглядим.

Подхожу, наваливаюсь, подтягиваю тряпки потуже. Он харкает мне в лицо, попадает на воротник халата.

— Н-ну, пидорас!.. Ну держись… Я тебя достану… ебать буду долго, в кровь… ползать, блядь, будешь, просить, упрашивать, чтоб я тебе в рот дал, сука…

— Непременно, — приговариваю я в унисон, не прекращая трудиться над путами. — Иначе и быть не может.

— Правильно, — кивает тот, глаза не мигают, смотрят пристально. — Я тебя достану. Разворочу ебало до желудка, пидор ты, уебище сраное, за яйца повешу, поджарю урода…

— Посмотрим, — отзываюсь угрожающе. Я ведь тоже не железный. — Сейчас тебя, дебила, пригасят.

Сестры приносят реланиум, вкалывают, парень рычит, напрягается, но я скрутил его на славу. Он порывается сесть и обнаруживает поразительные способности. Я точно знаю, что ему не вырваться, и все же с испугом слежу, как натягиваются перекрученные жгуты. Впечатление такое, что он, всем законам вопреки, сумеет-таки их разорвать.

— Только не уходите, — упрашивают сестрички. Угрюмо киваю. Понимаю, что уходить нельзя.

— Позвоните ко мне наверх, предупредите, что я тут.

Они исчезают. Я присаживаюсь на табурет и тут же встаю,

возбуждение и ярость не дают расслабиться. Ох, дьявольщина, его не берет реланиум. Будто водой окатили — прежний взгляд, прежние мысли.

— Сиди-сиди, жди, — улыбается он. — Я подожду. Я…

И он продолжает. На протяжении двух с половиной часов я слушаю, что и как он сделает со мной и моим окружением. Я не вчера появился на свет, но узнаю много нового. В какой-то миг не удерживаюсь, подхожу и бью его наотмашь по физиономии. Но ему, естественно, ничуть не больно, удар лишь умножает его силы.

— Ах гондон! — задыхается спеленутое существо. — Сейчас… сейчас я тебя натяну…

Я проверяю узлы, подтягиваю то в одном месте, то в другом. От собственной беспомощности он приходит в окончательное бешенство, речь делается бессвязным набором матерщины. Бросаю взгляд на часы: где же эти сволочи!

И тут они появляются на пороге, все трое. Я оказываюсь свидетелем удивительной метаморфозы: псих моментально успокаивается. Ему достаточно одного только вида вошедших, хотя во мне их внешность не пробуждает никаких особенных чувств. Впереди — пожилой коренастый доктор, за его спиной — два мирных, добродушных санитара. Соображаю, что в этом-то неистребимом добродушии и прячется самое главное.

— Что же ты разбушевался? — участливо спрашивает один из них, лет сорока, весь в крупных веснушках.

Самоубийца отворачивается.

— А я его знаю, — сообщает мне доктор негромко. — Он у нас уже лежал. Ему было шесть лет, когда он выскочил на дорогу — побежал за мячиком. Попал под грузовик. Через месяц от него отказались родители.

— Молодцы, хорошо связали, — хвалит меня санитар и берется за узлы. — Ну что, поехали? — обращается он к парню. Тот молчит.

Его развязывают, он послушно встает, заводит руки за спину. Тонкой, несерьезной тесемочкой ему связывают кисти. Все — и он в первую очередь — прекрасно понимают, что этого достаточно. Приди ему в голову эту веревочку порвать… я ловлю себя на довольно скотском желании увидеть, что будет в этом случае.

Травматика ведут по коридору, спускают вниз. К машине. Я провожаю и ощущаю себя мелкой трусливой собачонкой, которая торжествует и жалеет лишь о том, что невозможно укусить на прощание. Правда, мячик, за которым побежал некто шестилетний, незнакомый, прочно заседает в голове и время от времени начинает подпрыгивать, покорный толчкам призрачной

ладони.

…Рекламная пауза. Дрожащими, между прочим, руками вынимаю папиросу, выхожу на улицу. На всякий случай смотрю наверх: не висит ли кто еще. Усмехаюсь, встряхиваю головой. Вот же паскудство! Ну, будем надеяться, что на сегодня все.

Я в два приема высасываю беломорину и с прищуром взираю на медленно подруливающую машину «скорой помощи». Подозрительно интересуюсь:

— Кого привезли?

— Да битое рыло, — отвечают мне.

…Иду к себе наверх. Это, как нетрудно сообразить, происходит уже минут через сорок.

Черт меня дергает замедлить в холле шаг и обратить внимание на нечто в коляске, одетое в куртку и вязаную шапочку до глаз. Стоит себе коляска прямо в центре, продуваемая всеми ветрами, — и пусть стоит. Но я останавливаюсь и внимательно всматриваюсь в наездника. Скрытое сумерками лицо глупо улыбается. Это Ягдашкин. Едреный хобот! Он же пьян.

Нет, не пьян. Сказать, что он пьян, — значит, ничего не сказать. Идиотская пасть, неустойчивые глаза. С правого бока весь в грязи: где-то, видно, выпал по дороге. Меж парализованных колен — чекушка с настойкой овса, сорок градусов, почти пустая. Только муть на донышке болтается.

— Блядь, — говорю я в сердцах, не заботясь об ушах гардеробщиков и лифтеров. Я свирепею всерьез, по-настоящему. — Быстро в лифт!

Лифт уж готов, выцветший услужливый Роберт помогает мне вкатить нелюдя в кабину.

— За что мне это? — спрашиваю я неизвестно кого, пока лифт поднимается. — Что это за долбаный профиль работы?

Я лично, своими руками закатываю Ягдашкина в родную палату. Там сидят его побратимы, такие же колясочники. У одних на губах поганые ухмылочки, другие с показной непричастностью отворачиваются. Насквозь их вижу, сук. Жрут все до единого, животные.

— Ползи на кровать! — командую Ягдашкину. — Живо!

— А… че ты… — Он выдавливает нечто среднее между хрипом умирающего и отрыжкой.

Сестры заглядывают в палату, осторожно шепчут, что меня снова зовут вниз; вероятно, битое рыло.

— Закиньте его в койку, — бросаю я на ходу и выхожу.

Я снова в приемнике. Батюшки светы! Передо мной раскладывают пять свеженьких, только что оформленных историй — выбирай! Бросаюсь в смотровую: хрюканье, невнятное

бухтенье, перегар, кровища. Кажется, что вся окрестная нечисть, привлеченная поздним часом, слетелась сюда и где-то — сокрытый до поры до времени, но совершенно неизбежный — маячит гвоздь программы, гоголевский Вий. Его доставят глубоко за полночь, его, под шум мертвящего ноябрьского дождя, втолкнут на каталке…

К дьяволам их черепа, я даже не прикоснусь к снимкам. Всем — сотрясение несуществующего мозга.

К полуночи освобождаюсь, плетусь наверх. Лифт уже не работает, на лестнице темно. Между этажами — парочки и группочки, кто-то играет на гитаре. При моем появлении все подтягиваются, подбираются, но занятий своих не оставляют. По всем канонам я должен был бы шугануть всю эту гопоту, и некоторые так и поступают на моем месте, но мне сей беспорядок по барабану. Приближаюсь к пятому, родному, этажу, до меня доносится шум. Я вполне спокоен и готов ко всякому. Материализуюсь в коридоре, вижу страшную картину: извивающееся тело Ягдашкина, уподобившееся тюленю, перемещается с помощью рук в сторону сортира. Неподвижные ноги волочатся по полу. Ягдашкин оглядывается, в зубах — сигарета. Он вздумал покурить, его не высадили в коляску, и он решил по-своему справиться с проблемой. Я пускаюсь в погоню.

Сестры стоят, качают головами. Половина Ягдашкина уже в сортире; я влетаю следом и хватаю его за ремень. Ах, видел бы это безмозглый академик, который возглавлял аттестационную комиссию! Он аттестовывал отделения начиная с первого этажа и к пятому уже едва держался на ногах. Ученый муж, распространяя спиртные пары, не только подтвердил нам высшую категорию, но обещал международную и много чего еще посулил. Ах, евростандарт! Видели бы вы, достопочтенные европейцы, дежурного доктора, который в туалете (а это место вообще не подлежит описанию по причине общей нехватки художественных средств) отлавливает и тащит прочь строптивого инвалида. Вам бы сразу стало ясно, в чем заключается и как проявляется международный статус…

Общими усилиями помещаем Ягдашкина в коляску и везем вниз, в приемник. Там — клетка, изолятор. Тяжелая дверь с зарешеченным оконцем, койка, цементный пол.

Закатываем, запираем, предупреждаем дежурную службу. Те усваивают сказанное без восторга: мало им своих отморозков. С наслаждением вспоминаю, что слово мое — закон, а потому молчу, разворачиваюсь, направляюсь к себе.

Не любят меня в приемнике. Наверно, есть за что.

В ординаторской запираюсь на ключ, снимаю халат,

завариваю чай. Уже почти час ночи, не следовало бы мне чаевничать, самое время разложить на узенькой банкетке запятнанный дезинфицирующими растворами матрац и попытаться уснуть. Обычно я беру с собой какой-нибудь транквилизатор, но сегодня — забыл. Сестры уже спят, мне не хочется их будить и выпрашивать двадцать капель корвалола. Ладно, попробуем без химии. Придвигаю банкетку к письменному столу так, чтобы телефон был точно возле левого уха. Что бы я ни выпил, трубку снимаю по первому же звонку. Это значит — не сон у меня, а неизвестное науке состояние; внутренний таймер неслышно работает, внутренний сторож исправно бодрствует.

Ложусь не раздеваясь, закрываю глаза. Слава богу, заснуть не успеваю: телефон.

— Да? — у меня хриплый, безнадежный голос.

— Спуститесь вниз! — орет приемник. — Ваш кадр совсем оборзел! Он нам тут такое устроил!

Наспех привожу себя в порядок, спешу к изолятору. Запах дыма ощущаю уже на третьем этаже. Когда добираюсь до первого, начинает щипать глаза. В коридоре и вестибюле — туман, из пелены летят брань и раздраженное ответное ворчание.

— Поджег матрац! — сообщает мне дежурный терапевт. — Скотина! Забирайте его обратно!

…Ягдашкин восседает в коляске и смотрит насмешливо, с издевкой. В губах — набрякшая, пропитанная слюной сигарета.

— Харю, сволочь, тебе разобью. — Я подступаю к нему со сжатыми кулаками.

— Давай! — не возражает Ягдашкин, — Только, падло, на равных! Садись вот на стул — тогда посмотрим! Давай усаживайся!

Наверно, я устал. Не могу подобрать достойного ответа, хоть тресни. Тупо смотрю, как тлеет на койке обугленный матрац. Потом решительно оголяю лежак до железа, знаком подзываю санитара, вытряхиваю Ягдашкина из коляски, швыряю на ржавую сетку. Роюсь в карманах, отбираю все, что нахожу. Вынимаю шнурки из ботинок, конфискую часы, дешевый перстень, носовой платок.

— Утром пообщаемся, — обещаю я Ягдашкину и выхожу из изолятора.

— Садись на стул! — летит мне вслед. — Садись на стул, урод! Садись на стул!

…Поздняя ночь. Я распахиваю окно: хочется свежего воздуха. Адская тьма, освещен лишь больничный двор, да не спится еще нескольким горемыкам из общежития. Захолустная планета, вращающаяся вокруг черной дыры. И вдалеке, единственной

звездой чужой вселенной, мерцает неизвестная точка — загадочный, бессмысленный маяк неясного назначения. Мир испарился, боги умерли. Смотрю на компьютер. Поиграть? Царь Гнида уже вплотную приблизился к созданию атомной бомбы. Устраиваюсь на банкетке, медленно засыпаю.

Три часа ночи. Звонок.

Рыло.

Полчетвертого. Устраиваюсь на банкетке. Наверно, сплю.

Семь часов. Звон ведер, тявканье санитарок. Утро. Редкие скучные стуки и хлопки в коридоре, происхождения которых не хочется знать.

Кофе! У меня остался пакетик кофе. Это вселяет в меня слабое подобие оптимизма.

К половине девятого я уже в полном сознании. Надеваю куртку, спускаюсь в приемник, по дороге заглядываю в окошечко изолятора: Ягдашкин мирно спит. Поздравляю всех с добрым утром. Беру журнал, пишу лаконичный отчет. Первая фраза: «Дежурство прошло несколько напряженно…»

Беру под мышку свежие истории, выхожу из корпуса, иду в административное здание на отчет. Кланяюсь начмеду, осторожно пристраиваюсь на краешек кресла. Вспоминаю Аспиряна, исподлобья наблюдаю за Татьяной Ильиничной — не сдует ли челку. Нет, сидит с поджатыми губами, алчет крови.

— Так. Доктор, а где здесь страховой анамнез?

Вскидываюсь, смотрю. Отказная история, заведенная за каким-то лядом на отбуцканного «Чебурашку» — того, что убрался вон по собственному почину и к общему удовольствию.

— Татьяна Ильинична… он ведь сам ушел, без предупреждения…

— И что с того? Вы делаете запись (вот она!) и ни слова не пишете о наличии у больного листка нетрудоспособности. А завтра он может обратиться с жалобой…

Сижу повесив голову. Раздумываю, что лучше ей вышибить: то ли мозги, то ли стул из-под жопы. Оба варианта заманчивы, оба желанны. Да, разумеется, только так — сначала второе, после — первое.

Впрочем, проступок мой мелкий, из часто встречающихся, и много времени на меня не тратят. Отпускают, заморив червячка.

Иду через больничный двор, преувеличенно вежливо киваю встречным. Какая радость! Здравствуйте. Чрезвычайно приятно, доброго вам утра. И удачного дня. Успехов! Успехов! Счастья, порази вас гангрена.

Девять утра, бабуля на месте. Пятиминутка. С мстительным

замиранием сердца закладываю Ягдашкина. Поедет домой, стервец.

Девять двадцать. Бабуля в ординаторской.

— Вы знаете, — говорит она мне доверительно, — я ведь раньше работала в кожно-венерологическом диспансере.

Я знаю. Изображаю изумление: надо же!

— Да. И вот однажды прихожу на работу и возле дверей сталкиваюсь с парнем. Он меня и спрашивает: что, тоже сюда ходишь? Сколько крестов? А я ему и говорю: четыре! — Бабуля не удерживается, начинает мелко хихикать. У меня на месте лица — гипсовая маска. — А потом я сижу уже в лаборантской, в халате и чепчике. И он заходит. Увидел меня — так и оторопел. А я ему так строго: теперь посмотрим, сколько у вас крестов!

С жалобным смешком поднимаюсь, выхожу как бы по делу и иду в неизвестном направлении. Подъезжает Ягдашкин, натужно просит прощения. Я его не прощаю.

— Вы отобрали у меня настойку, — нагло напоминает он тогда. — Между прочим, это мое имущество. Вы обязаны вернуть.

Не говоря ни слова, сворачиваю в сестринскую, беру с подоконника чекушку с нектаром на донышке, отдаю.

— Забирай, жри. Может, сдохнешь, — напутствую я его и отправляюсь дальше.

Все дальше, и дальше, и дальше… пока не замкнется круг.

Мне бы уехать, но это нереально: на железной дороге — долгий, иррациональный перерыв. Но ничего — еще три! всего каких-то три часа! И главное: мне больше нет дела до телефона. Уже пошло чужое время, и я недосягаем.

Нет, не стоит себя обманывать: три часа мне не продержаться. Решительно разворачиваюсь, тороплюсь к бабуле. Сейчас что-нибудь сочиню, наплету. Неважно что: дом рухнул, живот заболел, вызвали в Государственную думу. Между прочим, последний вариант прошел бы на ура. Не возникло бы и тени сомнений.

Вхожу, преобразуюсь в Герасима, стоящего пред очами всесильной барыни. Так оно, кстати сказать, и есть. У нас ведь крепостное право, разве что бабуля — по причине преклонных лет и общего развития — не вполне это сознает, а потому и не пользуется на полную катушку.

Бабуля, выслушав мою просьбу, демонстративно смотрит на часы. Строго хмурится, но тут же благосклонно улыбается. Она питает ко мне слабость, ей доставляет удовольствие миловать и карать.

— Иди, — говорит она, светлея лицом.

Я исчезаю. Так, вероятно, выглядит аннигиляция: был объект,

и вот его уж нет.

Словно в сказке, оборачиваюсь волшебным вихрем, лечу не разбирая дороги. И сторонятся, завидев меня, все другие народы и государства.

Не веря, что свободен, спешу на станцию. В голове — отравленный болотными парами вакуум. Дорожки пустынны, улиточное время вышло, да и подморозило за ночь. Тяжко им, поди, бедолагам.

Вокзал. Перевожу дыхание, осматриваюсь. До поезда — два с половиной часа. Пересидеть негде, пойти не к кому. Денег… денег — десять рублей! Ну-с… Вечная загадка, но, размышляя, уж заранее знаю ответ. Сотня граммов стоит восемь рублей. Это несерьезно, потому что захочется еще. Счастливая альтернатива: настойка овса. Тоже восемь, но — больше чем в два раза больше. «Мы ждем с томленьем упованья минуты вольности святой…» Именно так. Не станет, не заржавеет дело за вольностью. За шалостью.

Я толкаю дверь аптеки, вхожу. Без меня вокзал пустеет, бледнеет и прекращает существовать. И город тоже исчезает — пусть ненадолго, пусть на пять минут, но даже малость, случается, греет сердце и прибавляет сил.

Чай с ромом для тех, кто устал и недужен
(Рецепт от макса Фрая)

С ромом следует пить только чай, который в европейской традиции называют «черным». Идеальный вариант — цейлонский, крупнолистный, но, в общем, подойдет любой черный чай без ароматизатора.

Желательно заварить чай правильно. То есть нагреть воду до появления первых пузырьков, ополоснуть заварочный чайник, засыпать туда чай (классический расчет: одна чайная ложка на чашку плюс еще одна «для чайника», но я предпочитаю брать чай не ложкой, а рукой, на глаз). Плеснуть немного горячей воды, закрыть чайник крышкой, две-три минуты спустя, когда чайные листья раскроются, долить воды.

Но, честно говоря, с ромом можно пить и неправильно заваренный чай. А если совсем начистоту, даже чай в пакетиках станет практически божественным напитком после того, как смешается с ромом. Единственное жесткое требование — чай должен быть крепкий, я знаю, некоторые люди называют чай словом «заварка» и щедро разбавляют водой. Так вот, об этой

традиции вы, пожалуйста, забудьте.

Ром должен быть темный. Светлый ром, конечно, тоже можно пустить в дело, но будьте готовы, что у вас получится, скажем так, далекий от идеала напиток.

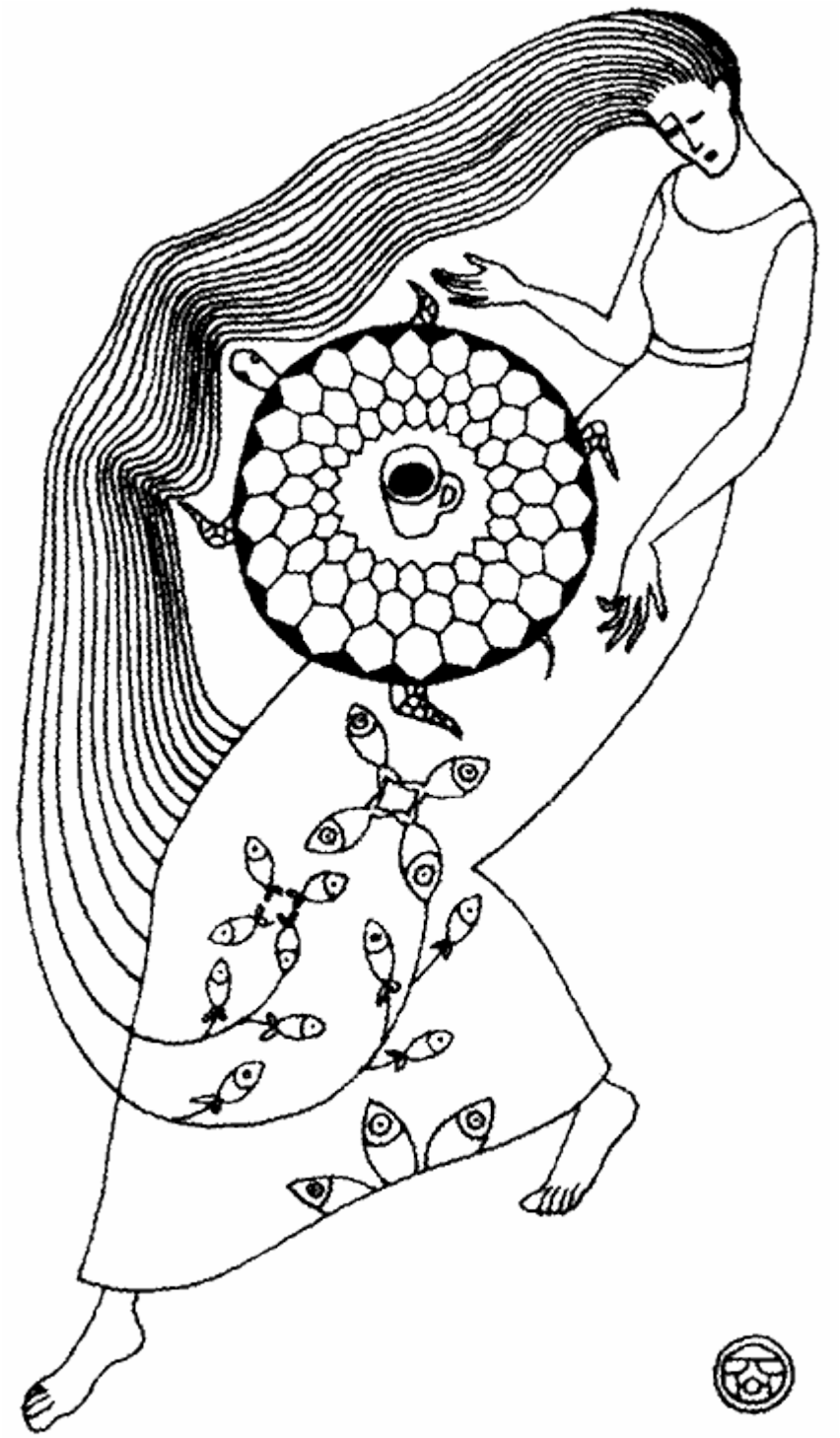
Сперва в кружку наливают ром, а уже потом чай. Не знаю почему. Можно считать это бессмысленным суеверием. Но соблюдать придется как самое настоящее правило.

Рома не должно быть слишком много. Больше двадцати пяти граммов на двухсотграммовую чашку не наливайте. Потому что у нас нет задачи напиться (а если есть, разбавлять ром чаем совершенно ни к чему).

В чай можно добавить лимон и даже сахар. Это — исключительно дело вкуса.

В результате в руках у вас окажется воистину чудодейственный напиток, одинаково хорошо подходящий для освежения после бессонной ночи, борьбы с похмельем, приведения себя в чувство после тяжелого дня и профилактики простуды. Впрочем, с уже наступившей простудой это зелье тоже превосходно справляется, просто придется пить его целый день, по кружке в два-три часа. Прекрасно проведете время.

Елена Касьян



Чай для Берты

Если чайная церемония предполагает создать свое небольшое царство Будды на земле, она должна начинаться с нежности души.

Т. Д. Судзуки

Ей не нужно никуда идти. У нее все здесь. Все, что нужно.

Берта спускает ноги с кровати и ощущает прохладу листьев, их мякоть и глянец. Она закрывает глаза и тихонько раскачивается из стороны в сторону. Она пытается вспомнить мелодию, она почти вспомнила… но нет, нет.

Спальня поросла диковинными растениями. Они стелются по полу, ползут по стенам, упираются в потолок, свисают с карниза, обвивают стулья. Они зацветают.

Когда Берта на них смотрит, они меняют цвет. И размер. И запах.

Берта любит сидеть вот так и смотреть то налево, то направо, то вверх…

К обеду растения начинают плодоносить, и Берте тягостно это зрелище. Берта встает и босиком выходит из спальни. Она вернется сюда только вечером, чтобы наблюдать молодые, непуганые побеги и сочинять для них цвет и форму.

В коридоре темно и сыро. Берта хорошо знает дорогу, но каждый раз нащупывает ногой первый камень, словно кто-то мог его сдвинуть. Он немного скользкий, но прохладный и гладкий, как она любит.

Здесь, кажется, есть дети. Да, пожалуй.

Иногда они встречают ее и спрашивают о чем-то. Берта не знает, сколько их. Те же они, что вчера, или другие? Каков их пол и возраст? Что им от нее нужно?

Берта не умеет разговаривать с ними. Они пугают ее, эти дети…

В ванной мягкий белый свет, и туман стелется по кафелю. Берта входит в него, как в воду. Время течет плавно и неторопливо. Берта наклоняется и окунает в облако факел густых рыжих волос. В них тут же начинают селиться глазастые рыбы. Они путаются в кудрях, бьют плавниками, щекочут. Берта смеется.

Справа висит большое зеркало. Не надо зеркал, не надо! Она не любит! Зачем оно здесь?

Берта вбегает в кухню, останавливается и прислоняется к

стенке, хватая ртом воздух. Туман стекает по волосам, по спине. Берта ощущает тепло и шершавость стены, торчащие камешки покалывают лопатки. Вверх-вниз снуют юркие ящерицы, под ногами песок, от ветра почти сразу же пересыхают губы.

В кухне мужчина моет чашки. Она не знает его, не помнит. Был ли он вчера? Берта садится на небольшой выступ в скале и закрывает глаза. Она почти вспомнила мелодию, почти…

Поднимает голову, сквозь ресницы смотрит на мужчину. Он все еще здесь.

— Кто вы? — спрашивает Берта. — Я вас знаю? Мужчина не отвечает. Он качает головой, сутулится, вытирает чашки, ставит на полку, оборачивается:

— Бетти, хочешь чаю? Вкусного сладкого чаю?

Да-да, она его помнит, да. Вот сейчас, когда он посмотрел на нее и улыбнулся.

Берта сдавливает ладонями виски, окидывает взглядом пространство. Солнце почти в зените, и песок похож на сыпучее золото, а вдалеке — на серебро. Цветные змейки ползут вдоль занавесок, играя тонкими язычками.

— Бетти? — Мужчина осторожно касается ее плеча.

Вот на бархан взбирается большая синяя черепаха. Черепаха поднимает голову и упирается в облако…

Но что это, господи?! Что происходит?..

Берта часто-часто моргает ресницами, и у черепахи пропадает рисунок на панцире, появляется смешная крышечка с ручкой… Берта видит чайник. Большой синий чайник на плите. Он закипает, пускает носиком пар и протяжно свистит: тю-ю-ю… тю-ю-ю…

Вот она! Вот она мелодия!

Берта звонко смеется, откидывает прядь волос со лба, складывает губы трубочкой и тихонько поет: «Тю-ю-ю, тю-ю-ю, тю-ю-ююю…»

Мужчина ставит перед ней чашку, и Берта видит чашку.

Рядом он ставит блюдце с вареньем, и Берта видит блюдце.

Он садится напротив и смотрит в глаза, и Берта видит его глаза.

Он подносит к ее губам чашку и поит, как ребенка.

Чай немного терпкий, немного горький и пахнет спелым августом. Берта берет ложечку и окунает ее в густое рубиновое варенье.

— Это шиповник? — спрашивает она.

— Да, Бетти. Ты помнишь, как мы собирали его вместе с

детьми? Мари оцарапала руку, помнишь?

— Да, помню, с детьми… Мари помню, да… Я так устала, Фрэнк, я так устала…

— Выпей еще немножко, еще глоточек. — Мужчина целует ее волосы и гладит по руке.

— Где дети, Фрэнк, где мои дети?

— Ты хочешь, чтобы я позвал их? Я сейчас, Бетти, сейчас. — Он выходит из кухни.

Он выходит, и тут же поднимается горячий ветер, песок летит в лицо. Ложечка падает у Берты из рук и уползает под стул серым хвостатым скорпионом.

«Слишком сухо, надо полить цветы, — думает Берта, — надо опрыскать новые листья…»

Она выходит в коридор, прикрывая глаза от ветра, и осторожно нащупывает ногой первый камень. На стенах проступает влага, шум стихает, и глаза привыкают к темноте.

Здесь какие-то люди… дети… они что-то спрашивают. Берта прижимается к стене и идет боком, очень медленно, стараясь не оступиться.

Кто этот мужчина? Она его не знает. Что им нужно?

Берта входит в спальню, облегченно вздыхает и садится на кровать. Тонкий зеленый стебель ползет вверх, вдоль ноги.

Берта закрывает глаза, тихонько раскачивается и гладит маленькие мягкие листья. Она пытается вспомнить мелодию, она почти вспомнила… но нет, нет.

— Папа, ты звонил доктору Маркусу?

— Нет, давай еще немного подождем, Мари. Еще есть время.

— Папа, ну это же невозможно, ей-богу. Как ты можешь на это смотреть! — Мари пьет из Бертиной чашки остывший чай. — А главное, нет смысла. Доктор говорил — месяц. Самое большее — полтора.

— Мари, девочка, еще неделю, ладно? Мне кажется, есть какая-то надежда. Ты же видишь, она сама выходит к нам. В конце концов, мы еще можем пить чай. А это что-то да значит…

Чай для Берты

Многие виды травяного чая являются хорошим адаптогеном, снижающим чувство напряженности при стрессовых ситуациях, расслабляющим и успокаивающим средством. При нарушении сна такой чай следует пить во второй половине дня или на ночь.

Лепестки полевого мака — 30 г
Сережки вербы — 30 г
майоран — 60 г

Заваривать как обычный чай, из расчета — одна чайная ложка на чашку.

Пить с медом или вареньем.

Варенье из шиповника

Ягоды шиповника, помимо высокого содержания витамина С, обладают противовоспалительным, ранозаживля-ющим и противосклеротическим действием. Полезны при головной боли и головокружениях.

Во время войны во Вьетнаме бойцы северовьетнамской армии смешивали сушеные плоды шиповника с табаком и курили для поднятия тонуса и боевого духа.

Промыть шиповник в горячей воде, снять с ягод «чашечки» и разрезать каждую ягоду пополам. Выбрать из ягод все семена. Сложить ягоды в миску, залить водой и варить, пока они не станут мягкими.

Протереть их через сито, засыпать сахаром и варить, пока варенье не будет готово.

На 500 граммов очищенного шиповника следует брать 500 граммов сахара и 1 стакан воды.

Ключик от Виолетты

— Сперва одна дверь, потом другая, потом еще одна… Давай же руку! Чего ты?

Ляля тянет Вильку за руку. Рубашка выбилась из штанишек, Вилька хватается за угол шкафчика.

— Не хочу, не хочу! — кричит он. — Я Светлане Сергеевне расскажу! Пусти!

Свободной рукой Ляля достает из кармана ключ — обычный желтый ключик, только брелок на нем странный, словно расплющенная монета.

— Да не дергайся, дурак!..

На шум из столовой выглядывает нянечка: «Эй, что там у вас?

Ну-ка марш на площадку!»

Вилька вдруг кусает Лялю за большой палец, она ахает и выпускает его руку. Он бежит вниз по ступенькам, с силой толкает дверь и, тяжело дыша, останавливается на крыльце.

— Вилька, Вилька, иди к нам! У нас штурмана не хватает! — Витек и Пончик сидят в деревянном крашеном самолете.

Но Вилька бежит в дальний угол двора, где сразу за беседкой начинается кустарник, и сидит там, пока кто-нибудь из детей не крикнет: «Вилька-а, за тобой мама пришла!»

— И если всегда делать только хорошее, то можно попасть сразу в рай! — Ляля вскидывает бровки и ждет реакции.

— Ох, милая, это и так понятно! — улыбается Виолетта и идет ставить чайник.

Виолетта живет с Лялей в одном подъезде, и та часто захаживает к улыбчивой бабушке в гости.

У Виолетты рыжий кот Антон, вкусный чай и целая куча интересных историй.

Ляля не знает, сколько Виолетте лет. Семьдесят, восемьдесят или еще больше?

У Виолетты седые волосы уложены в большие букли, крахмальный воротничок хрустит кружевами. У нее узкие плечики и талия как у девочки. Она всего на полголовы выше Ляли.

— И ничего не понятно! Если все так понятно, то почему вы не в раю, а? Вы вон сколько хорошего делаете!

— Я и сама не знаю, зачем я еще здесь… Должно быть, чтобы чаем тебя поить. — Виолетта подмигивает и достает из серванта праздничные чашки с синими цветами по ободку и такой же фарфоровый чайничек. Вазочку с сахаром Ляля сама приносит из кухни. У них дома никогда не бывает сахара в кусочках и щипчиков таких специальных нет. Ляля уже столько раз говорила маме: «Купи квадратный сахар, как у Виолетты!» Мама только отмахивается.

— Что ты нашла интересного у этой старой девы? — говорит. — Перестань туда ходить! Что, тебе не с кем играть во дворе, что ли?

Виолетта насыпает в чайничек душистый байховый чай, добавляет щепоть сушеной мяты из банки, а через минутку — еще щепоть яблочных косточек.

— Мед или яблочное варенье?

— Варенье! — говорит Ляля и бежит на кухню за двумя серебряными ложечками.

Карина сидит на качелях и, запрокинув голову, смотрит на плывущие облака. Ляля раскачивает качели и громким шепотом говорит:

— Я сама не знаю, как так получается. Эти двери все время в разном месте.

— Что, прямо вот тааак из-под земли появляяются? — растягивая слова, спрашивает Карина.

— Да нет же! Просто это может быть любая дверь! Дверь в ванную. В гастроном дверь. Недавно у нас в детском саду была, которая в спальню. Понимаешь?

— Не понимаааю, — говорит Карина и закрывает глаза, — не понимаааю…

— Виолетта говорит, что эта дверь за ней много лет гонялась. А у Виолетты ключ был, понимаешь? — шепчет Ляля. — Ей от бабушки достался.

— И что же она ее не открыыла?..

— Потому что там три двери!!! Одна, а за ней еще одна, и еще! И все тяжелые-претяжелые. Виолетта говорит, что много раз пробовала, но только до второй смогла добраться. Она же слабенькая, Виолетта. Ну ты же ее видела!

— Ну виидела, — тянет слова Карина, — вот и помоги ей самааа.

— Ну я же тебе объясняю! Она больше дверь эту не видит, не угадывает. Как выросла, так и не угадывает больше. И ключ мне отдала. Вот! — Ляля достает из кармана желтый ключик, останавливает качели и подходит к Карине близко-близко.

— Видишь, тут на брелоке что-то написано. Только Виолетта не знает что. А я вообще таких букв не видела.

— Давай моему пааапе покажем, — говорит Карина. — Он ууумный, он много языкооов знает.

— Нельзя, ты что! — вскидывает бровки Ляля. — Взрослым нельзя! Они не поверят. Еще и ключ отберут.

— Ну я не знаааю… А зачем это все? — Карина опять запрокидывает голову и начинает медленно раскачиваться.

— Понимаешь… только никому не говори… я думаю, за этими дверями рай! — Ляля многозначительно поднимает пальчик.

— Ну Пончик, ну миленький! Ты мне только немножко поможешь — и всё!

Пончик сосредоточенно отламывает колесо у пластмассовой машинки.

— Я занят.

— Ну Пончик! Это же не прямо вот сейчас. Прямо сейчас я не

знаю, где дверь. Но если она окажется в детском саду, я тебя позову и ты поможешь. Ты же сильный какой, а, Пончик? — Ляля кружит вокруг Пончика и косится на группку мальчиков в углу комнаты.

— Понча! Давай к нам! В солдафонов играть! — зовет его Витек.

В эту минуту Ляля ненавидит Витька.

— Пончик, Пончик, — быстро шепчет она, — я тебе принесу целый кулек халвы, честно!

— Целый кулек? — Пончик поднимает голову от машинки.

Ляля пускает в ход последний аргумент:

— Я хотела, чтобы мне Вилька помог открыть. Он согласился, а потом струсил! Но ты же не такой? Ты же не трус?

Пончик поворачивается и смотрит на Вильку. Тот стоит у стола Светланы Сергеевны и что-то ей рассказывает. Вдруг Вилька оглядывается, смотрит на Пончика, на Лялю, краснеет и опускает глаза.

— Ирина Олеговна, я давно хотела с вами поговорить. — Воспитательница поправляет прическу. — Ваша Ляля очень хорошая девочка, умница, аккуратная очень. Но в последнее время ведет себя как-то странно.

— Светлана Сергеевна, давайте начистоту. Что она натворила?

— Да ну что вы, ничего особенного. Пока. Просто мне кажется, с ней что-то происходит. Все эти фантазии про какую-то дверь, про какой-то ключ…

— Понимаете, — Ирина опускается на лавочку возле калитки, жестом приглашая собеседницу присесть, — у нас в семье некоторые перемены… В общем, я собираюсь замуж.

— Поздравляю вас! — Светлана Сергеевна поправляет прическу. — Теперь я понимаю, у девочки, видимо, стресс! На нее дети начали жаловаться. Она подбивает их на всякие глупости… А кто такая Виолетта?

— Ох, наша полоумная соседка. Живет затворницей. Ляля повадилась ходить к ней в гости. Говорила я, что добром это не кончится!

— Ну, вы не волнуйтесь только. Поговорите с Лялей. Возможно, стоит показать ее нашему психологу?

— Я не знаю. Вы думаете, все так серьезно? — Ирина встает, оправляет юбку и протягивает воспитательнице руку. — В любом случае, спасибо! И если что, звоните мне сразу, без церемоний.

— Конечно! Это мой долг! — Светлана Сергеевна улыбается.

— Толкай, Пончик, толкай! Еще немножко! Я почти пролезла… Давай руку! Еще чуть-чуть нажми! Ну же! Руку, руку!!!

С криком «ура! ура!» Ляля вываливается из двери на крыльцо и падает на четвереньки. Она вспотевшая, довольная, крутит головой во все стороны.

В косе развязалась лента, рука оцарапана, и проступает кровь, но Ляля не замечает, не чувствует, у нее шумит в ушах и немного кружится голова.

— Ура! Ура! — орет она, все еще сжимая в руке ключ. — Пончик, получилось!

Все дети побросали свои занятия и с интересом уставились на Лялю.

— Ляля, Лялечка, что с тобой? — К ней подходит Светлана Сергеевна. — Чего ты так кричишь?

Сзади из двери выходит Пончик. Он с удивлением закрывает за собой дверь, потом снова ее открывает и снова закрывает.

— Фигня какая-то, — говорит он, — ничего не понимаю… Она же одним пальцем открывается… — И обращаясь к Ляле: — Ты мне все равно кулек халвы должна! Ты обещала, без дураков!

Ляля замолкает, поднимается, отряхивает колени и медленно идет к калитке, глядя под ноги. Там она садится на лавочку и начинает внимательно осматриваться.

Всё вокруг другое. Всё!

Воздух плывет мимо, как бока теплых прозрачных рыб.

Листья на деревьях невообразимо зеленого цвета. Светлана Сергеевна — красивая… поглядывает на Лялю озабоченно, а из глаз так и вьются серебряные ленточки.

Вилька с Витьком и другими ребятами, забыв про Лялю, гоняют мяч по двору. Почти не касаясь земли, почти не касаясь…

Девочки плетут венки из одуванчиков, и слышно, как густо и свежо пахнет сорванная трава.

Высоко-высоко летит самолет, оставляя белую полосу поперек неба. Ляля долго на него смотрит и вдруг начинает плакать.

Она не понимает, от горя плачет или от счастья, хорошо ей или плохо. Она размазывает по щекам слезы и чувствует, как сердце становится большим-большим, как оно не помещается под ребрами, как тяжело дышать… как приятно…

— Ты можешь мне объяснить, что произошло? — спрашивает мама.

Они переходят дорогу у гастронома, и Ляля то узнает дорогу, то не узнает. Ей кажется, что все происходит как во сне.

— Ляля, я с тобой разговариваю!

— Я не знаю, мам, ну не знаю я…

Почти у самого дома Ляля вырывает свою руку из маминой и бежит к подъезду. Взлетает по лестнице на второй этаж, звонит в дверь, потом стучит обоими кулачками.

За дверью слышны шаги, и Ляля кричит: «Виолетта, Виолетта! Я смогла! Все три смогла!»

Открывается дверь, на пороге стоит мужчина в спортивных штанах, в руке у него газета.

Он снимает очки и смотрит на Лялю:

— Вам кого, барышня?

— Виолетту… Где Виолетта? — Ляля говорит шепотом, у нее вдруг перехватило горло.

— Тут нет никакой Виолетты. У нас вообще нет детей.

— Это сорок вторая квартира? — шепчет Ляля.

— Сорок вторая.

— Ляля! — Мама поднимается по лестнице и берет ее за руку. — Да что с тобой такое? Идем домой! Извините, Юрий Михайлович. Что-то Ляля у нас сегодня капризничает…

Они идут вверх по лестнице.

«Все не так получилось. Все неправильно! — думает Ляля и сжимает в кармане желтый ключик. — Я попробую еще! Пока я не стала взрослой, я успею! Я попробую сто раз! Пока не получится рай!»

— Сейчас пообедаем и поедем покупать тебе платье, — говорит мама. — На моей свадьбе ты должна быть самой красивой девочкой!

Чай от Виолетты

Для приготовления чая лучше всего использовать родниковую или ключевую воду.

Для заварки нужно брать воду в середине процесса ее кипения (момент «белого ключа»), когда температура воды составляет примерно 95 градусов.

Заварочный чайник несколько раз ополаскивают кипятком и только затем в него закладывают порцию байхового чая (цейлонского или индийского) и тотчас же заливают кипятком доверху.

Как только чайный лист меняет окраску и становится медно-красным, добавляют листья перечной мяты и щепоть сухих яблочных косточек.

Еще в Древнем Риме настои из мяты употребляли для подъема духа и улучшения настроения. Считалось,

что он благотворно действует на головной мозг, в старину на Руси «мятный чай» принимали для аппетита и добавляли в нюхательный табак.

Вытяжка же из яблочных косточек обладает чудодейственным свойством разглаживать морщины. Также считается, что 5–6 яблочных семечек полностью покрывают суточную потребность в йоде.

Три часа пополудни

Это могла бы быть история о Мэри Лу из желтого домика номер двенадцать. Мэри вполне могла бы выйти из своей калитки рано утром, со своей маленькой желтой сумочкой в виде корзинки, и пойти вниз по улице, не торопясь, чтобы оказаться у булочной аккурат к ее открытию.

Мэри очень пунктуальна, хотя и очень рассеянна. Она никогда не опаздывает, но всегда что-нибудь забывает.

Или это могла быть история о мистере Алане из синего домика с гаражом. Его автомобиль в ремонте вот уже четыре дня, и мистер Алан вполне мог бы выехать чуть раньше на своем велосипеде, чтобы не опоздать на работу к пятничному собранию.

Он бы долго закатывал штанину синих брюк, поставив ногу на край клумбы. И его супруга, мадам Молли, стояла бы на крыльце, ожидая момента, чтобы сказать: «Удачи, дорогой!» — и помахать рукой.

Это также могла быть история о Чарли из красного флигеля, что за большим красным домом рядом с парком. Мальчик Чарли каждое утро выгуливает хозяйских собак вдоль аллеи. Он всегда улыбается и что-то напевает себе под нос. Никто не знает, сколько он спит. Он ложится позже всех и раньше всех встает.

Но именно в то утро ощенилась рыжая овчарка Урса и Чарли не вышел на прогулку в обычное время.

Между тем, эта история о тетушке Луизе из зеленого домика в конце улицы. Скажем так, о странной тетушке Луизе (иначе ее никто здесь и не называет).

Сейчас можно подумать, что все произошло из-за чашки чая. Точнее, из-за ее отсутствия.

Днем раньше, ровно в три часа пополудни, Луиза, как обычно, накрыла столик на веранде на четыре персоны.

Желтая чашка была самая красивая: по ободку ползла

золотая змейка, словно стекающая на желтое блюдце, а на донышке красовался фигурный вензель.

Синяя чашка была тяжелой, совсем неизящной, с толстыми стенками. Снизу по краю виднелось несколько щербинок сколотой краски.

— Алан, дорогой, давайте купим вам новую чашку! Нельзя же быть таким консерватором! — говорила Луиза, неся из кухни сахарницу.

— Вы правы, к иным вещам я очень привязан. Эту чашку подарила мне Молли, когда мы еще не были женаты.

— Памятные вещи надо держать в серванте, — задумчиво произнесла Мэри Лу, — а пить надо только из красивой чашки! Луиза, мне бы сегодня хотелось того ромашкового чая, что в прошлую пятницу! Удивительно, как он у вас получается таким — прямо рай во рту!

— Конечно, дорогая! — Тетушка несла из кухни большой зеленый чайник.

— А мне все равно, из чего пить. Главное, чтобы чай вкусный! — Чарли вертел в руках красную чашку с узким донышком и улыбался.

— А вы, юноша, еще слишком мало знаете, чтобы… Осторожно! — Мистер Алан вскочил со стула, но было поздно. Чарли неудачно повернулся, задел локтем тетушку Луизу, зеленая чашка выскользнула у той из рук, ударилась о край стола и со звоном разбилась о каменные плиты.

— Это к счастью, к счастью! — сказала Мэри Лу. — Будет повод сходить в город за новой чашкой…

Те, кто наблюдали за этой сценой из коридора, видели лишь квадратный стол у окна, с привинченными к полу ножками, решетку на окне, узкую спину Луизы Хартли и ее худые ноги в шлепанцах.

Луиза находится здесь уже восемь лет. Каждый день в это время она садится к столу и разговаривает сама с собой.

— Что вы наделали, Чарли? — воскликнула она и начала плакать. — Это была моя любимая чашка! Моя самая любимая!

— И не успокаивайте меня, Мэри! Точно такую же я не куплю! — Луиза встала, опрокинув стул.

— И вы еще спрашиваете? — Она снова повернулась к окну, уже рыдая. — Что бы сказала Молли, если бы вы разбили свою?

К Луизе быстро подошла девушка в белом халате, одним движением закатала рукав и ввела иглу в предплечье:

— Все хорошо, миссис Хартли, не надо волноваться. Вам нужно отдохнуть, пойдемте.

Тетушка Луиза проснулась среди ночи и сразу вспомнила про чашку.

«Какой неуклюжий этот Чарли! Ему и впрямь нельзя ничего доверить, кроме собак, — подумала она. — С другой стороны, будет возможность выбрать чашку и для Алана. Чем не повод зайти потом в гости к Молли? Нельзя же дуться столько времени».

И, не глядя на часы, Луиза стала собираться. Она собиралась так, словно уходила если не насовсем, то, по крайней мере, надолго.

Она достала потертую дорожную сумку некогда темно-зеленого цвета, положила в нее две пары туфель, зеленый плащ, шерстяное платье и два платка, кофточку и несколько пар чулок, книгу с прикроватного столика, зеленое блюдце от разбитой чашки… Она складывала и складывала, пока в сумку больше ничего уже не помещалось.

Тетушка Луиза сидела на лавочке в зале ожидания и рассматривала только что купленную нежно-салатовую чашку. Зачем она сюда пришла?.. До послеобеденного чаепития была еще куча времени. Ничего страшного, если она немножко посидит тут в прохладе.

Время от времени приятный женский голос объявлял о прибытии или отправлении поездов. Тогда Луиза на минутку закрывала глаза, пытаясь по названию пункта представить себе картинку. Потом открывала глаза, тяжело вздыхала и снова рассматривала чашку.

— Я бы на вашем месте поехала, — сказала Мэри Лу.

— На моем месте вам вряд ли пришло бы такое в голову, — улыбнулась Луиза. — Кто вас будет чаем поить?

— А мы с Молли всегда мечтали путешествовать, — мечтательно произнес Алан, — да все никак. Сам не понимаю почему.

— А я, кстати, думала об этом, — сказала Луиза. — Все, кто живет на нашей улице, никогда никуда не ездят. Даже странно.

— Я бы поехал! — сказал Чарли. — Только мне с собаками гулять. Теперь работы больше: Урса щенков принесла. Шесть штук!

Все помолчали…

Алан посмотрел на Мэри Лу. Та согласно кивнула и подмигнула Чарли. Чарли улыбнулся и сказал: «Три — четыре!»

В шесть рук они подхватили тетушку Луизу и понесли ее по проходу к платформам.

— Вы с ума сошли! Поставьте меня немедленно! Я никуда не поеду!

Но ее только подняли выше и понесли быстрее.

Луиза Хартли торопливо шла по коридору, прижимая к себе подушку. За ней бежала сестричка и кричала:

— Миссис Хартли, стойте! Миссис Хартли!

Когда Луиза миновала стеклянную дверь и стала спускаться по ступенькам, дорогу ей преградили два санитара, а из ординаторской на крики вышел врач.

И тут случилось то, что кое-кто предпочел бы списать на обман зрения, но слишком много людей стало свидетелями происшедшего. Так что назавтра об этом уже писали все утренние газеты.

Луиза Хартли поднялась в воздух и медленно проплыла мимо расступившихся санитаров, через холл, мимо окошка регистратуры и дежурного на дверях. Она парила невысоко, но этого было достаточно, чтобы прохожие в удивлении разинули рты, а дети кричали и показывали пальцем. Ее никто не догонял, ее никто не останавливал.

Луиза обогнула газетный киоск и впорхнула в открытую дверь подошедшего трамвая. Когда вагон тронулся, Луиза Хартли все еще парила под потолком, прижимая к себе больничную подушку.

Журналистское расследование зашло в тупик почти сразу же. Луизу Хартли больше никто в городе не видел и маршрут трамвая никто не отследил. Но, по известным причинам, никто в розыск не подавал.

Очевидцы сходятся лишь в одном: трамвай был зеленого цвета.

Когда поезд тронулся, тетушка Луиза уже оправилась от потрясения и даже находила ситуацию весьма забавной. Она поставила сумку на полку рядом с собой и наклонилась через столик, чтобы помахать рукой провожающим.

Алан улыбался и что-то говорил, активно жестикулируя, Мэри Лу утирала глаза желтым платочком, а Чарли долго бежал за вагоном, подпрыгивая и прикладывая ладошку к стеклу.

Луиза могла поклясться, что видела на перроне Молли. Та стояла у колонны и махала вслед уходящему поезду.

Тетушка Луиза оглядела попутчиков, отметила стоящие на столике цветные чашки, поставила рядом свою зеленую и осталась довольна.

— Ну, скоро три часа, — сказала она. — Давайте знакомиться

и будем пить чай!

Ромашковый чай

Ромашковый чай обладает расслабляющим и успокоительным действием, прекрасно освежает, может помочь в случае расстройства желудка или отравления.

Заваривать ромашку следует из расчета одна чайная ложка сухих цветов ромашки на стакан воды.

Вскипятить отфильтрованную воду и немного остудить ее: вода для заварки должна быть горячей, но не крутым кипятком. Затем залить цветы ромашки, накрыть чайник толстым полотенцем и дать напитку настояться 10–15 минут.

Ромашковый чай можно пить с медом. Отлично дополнит аромат чая добавка из корицы или кусочков сушеного яблока.

Кое-что о Рут

— Пошла вон! — говорит мне мама.

Она исчерпала все аргументы и уже перестала плакать.

— Когда осознаешь свою вину, Рут, тогда придешь и извинишься! — говорит она.

У мамы плохое настроение. Так иногда бывает. Ей надо выговориться, и она всегда найдет повод. И лучше было сразу извиниться, даже если непонятно за что. Я не люблю, когда мама так волнуется.

Сейчас я немного покачаюсь на качелях, потом поброжу вокруг детской площадки. Может быть, схожу к соседке Марии, если она уже дома. У нее кошка.

Потом будет как обычно. Мама придет, скажет, что нечего по чужим кухням побираться, что скоро вернется отец, что она устала, а я неблагодарная…

Когда мама ругается со мной, она любит, чтобы я молчала и слушала. Тогда получается не скандал, а воспитание. А еще лучше, если я буду соглашаться и кивать головой. Тогда получается полезное воспитание.

А если я огрызаюсь или оправдываюсь, мама не любит. Я, мол, еще не доросла до своего мнения, я не ценю ее заботу, я мало ей помогаю, я не знаю, что такое «растить двух детей», я думаю только о себе, я такая же, как мой отец… и все в таком духе.

Когда мама ругается с отцом, она любит, чтобы он отвечал на ее реплики. Тогда получается «конструктивное» выяснение отношений. А если отец молчит, то получается просто как будто истерика. А мама не считает себя истеричкой. Она считает себя здравомыслящей женщиной, которая умеет найти истину в споре.

Мама очень злится, когда отец ругается небрежно, когда не старается. Это как будто предательство. Она ведь тратит столько эмоций, столько сил и таланта на подбор аргументов, на поиск примеров. А отец отлынивает, саботирует выяснение отношений. Его, мол, не интересует, что она чувствует, ему всегда было плевать на ее точку зрения, он никогда не может выслушать ее до конца, он не занимается детьми… и все в таком духе.

Они очень редко теперь ругаются. Мама почти сразу начинает плакать. А отцу даже облегчение какое-то.

Когда мама ругается с бабушкой, она всегда говорит одно и то же.

— Видишь, до чего довели твои вечные попустительства! — говорит она. — Внучку разбаловала, зятя разбаловала, а мне теперь все это разгребать! И к чему привело твое хваленое всепрощение? Меня никто тут не слушает, никто не хочет меня понимать! Слава богу, характер мне достался не твой, а отцовский. А то так и ездили бы на моем горбу! И чего ты добилась своей дипломатией? Для всех добренькой не будешь…

И если бы бабушка была жива, она, наверное, как обычно, ушла бы на кухню и тихонько плакала бы у плиты, заваривая маме чай с облепихой. Но бабушки нет уже больше года. А у мамы больше нет аргументов. И нет больше облепихового варенья.

Мама не умеет заваривать правильный чай. Особенно когда волнуется.

Я не люблю, когда мама волнуется.

Я иногда думаю, что это не мои настоящие родители. Я все пытаюсь обнаружить непохожесть в наших лицах, какие-то знаки, какие-то подтверждения своим догадкам.

Но соседка Мария говорит, что это ерунда, что многие дети носятся с такими фантазиями, когда в семье отношения начинают портиться.

Еще Мария говорит, что отношения в семье портятся, когда наступает время испытаний.

Иногда мне снится время испытаний.

Оно похоже на море. Вода подходит к самым окнам, и меня

охватывает паника: я не умею плавать.

И не могу кричать.

И не могу проснуться.

* * *

Когда вернется отец, я буду стоять в углу. В большой комнате, между окном и сервантом.

Я ни в чем не провинилась, просто иногда я стою в углу. Так надо.

В последнее время у отца на работе неприятности. Он придет злой и раздраженный. И если я стою в углу, он начнет меня воспитывать. А это как-то повышает его самооценку. Да и вообще, разряжает обстановку.

— Гертруда, ты знаешь, кто у тебя отец? — говорит он. — Ты знаешь, с какими людьми я общаюсь?.. Ты должна быть достойна, Рут. В твои годы я был гораздо серьезнее…

Мать с отцом мало разговаривают. Так только, по бытовым вопросам. Это длится уже года четыре. С тех самых пор, как отец чуть не ушел от нас. Тогда приехали обе бабушки и оба деда. Был большой семейный совет и большой домашний скандал. Тогда слег дедушка и вскоре умер. А его жена, моя бабушка, сказала, что больше знать своего сына не хочет, и перестала к нам приезжать.

Так у меня остались только одна бабушка и один дед. А у отца вообще никого.

Я его жалею, но иногда думаю, что, может, лучше бы он ушел тогда.

Отец всегда хотел сына. Наверное, у меня была возможность родиться мальчиком, но я ею не воспользовалась. Зато воспользовался Микки. Вон он лежит в своей люльке, мычит и пускает слюни. Микки славный, он улыбается, когда я беру его на руки.

Мне восемь лет, а Микки в два раза меньше. Он не ходит и совсем не разговаривает. Но когда я читаю ему книгу, он перестает мычать и смотрит на мое лицо, как будто все понимает.

Я очень похожа на отца, а Микки очень похож на меня. Но отец отказывается считать его своим сыном.

Однажды мне снилось, что я — это Микки. Я лежала в его люльке, словно в лодке. И лодка была пришвартована у наших

окон вместо балкона. Ее чуть покачивало, и это наполняло меня спокойствием и какой-то нежной радостью. Я лежала на дне лодки и думала о том, что хорошо бы еще хоть раз приподняться и посмотреть, как играют дети во дворе.

С тех пор я иногда подношу Микки к окну. Он тяжелый, и раньше мама меня ругала. Но я расту очень быстро, и каждый раз мама волнуется все меньше и меньше.

Теперь я могу гулять с коляской одна. Но недалеко, чтобы нас было видно из окна.

Когда лифт не работает, Микки остается дома. Маме нельзя поднимать тяжелое, а я еще не могу снести коляску с седьмого этажа. Но это бывает редко.

— Ну зачем ты опять стоишь в углу, Рут? — Мама входит с большой чашкой чая и осторожно опускает в нее указательный палец.

— Я тут думаю, — отвечаю я.

— Почему желание подумать приходит к тебе как раз к возвращению отца? — Она облизывает палец. — Черт! Остыл уже!

Мама ревнует меня к отцу. Ей кажется, что я люблю его больше. И если я сейчас скажу что-нибудь неосторожно, она опять начнет плакать. Поэтому я молчу.

Мама ждет еще минутку и идет на кухню. Я слышу, как она выливает чай в раковину, нарочито громко гремит кастрюлями и хлопает дверцами шкафчиков.

Микки в люльке начинает беспокоиться и мычит громче. Я беру его на руки, и он мне улыбается.

Я открываю окно и кладу Микки в пришвартованную там лодку. Потом с силой отталкиваю лодку от стены, и она плывет, покачиваясь, все быстрее и быстрее.

Когда вернется отец, я буду стоять в углу. В большой комнате, между окном и сервантом.

Я ни в чем не провинилась, просто иногда я стою в углу. Так надо.

* * *

Когда я вернулась к лавочке, его уже не было. Вот всегда так. Соломон каждый раз умудрялся меня обмануть.

— Принеси мне, — говорит, — водички попить. Я приношу, а его нет уже.

Или говорит:

— А что сегодня газеты пишут, а? А сходи-ка за газеткой.

Ну, пока я туда-сюда, Соломона опять уже на лавочке нет. Я его, конечно, быстро нахожу. Я уже все места знаю, куда он пойти может. А он меня увидит и давай смеяться! Как ребенок, право слово.

У нас с Соломоном хорошие отношения, он меня понимает. Только он иногда глупости всякие делает, и мне приходится давать ему тумаков. Я не со зла это делаю. Просто Соломон, когда увлекается чем-то, начинает волноваться. А я не люблю, когда он волнуется.

Вот идет тетя Сима. У тети Симы огромная семья, прямо-таки огромная! Они все живут за границей и каждый день шлют письма. Иногда по нескольку писем в день. И тетя Сима нам всегда их пересказывает. Я знаю, сколько у нее внуков, как зовут невесток, где работают сыновья… Тетя Сима собирается поехать к ним к Рождеству.

К Рождеству-то у нее должно получиться. Она уже два раза собиралась в этом году, но все дела какие-то неотложные. Я иногда обнимаю ее и по руке глажу, чтоб она не волновалась. Ей сразу легче, сразу мне письмо последнее рассказывает.

А вот Шулимов с Николаем Петровичем в шахматы играют. Петрович у нас чемпион по шахматам. Его вообще никто обыграть не может. Поэтому с ним никто и не играет. Только Ваня Шулимов.

Шулимов в шахматы не умеет. Зато он очень любит печеные яблоки. Петрович его прикармливает, как собачонку. Его вообще легко прикормить. Ваня послушный. Он худой как глист, а съесть может слона!

(Соломон, когда слышит про слона, начинает громко смеяться.)

Николаю Петровичу никто и не нужен, чтобы в шахматы играть. Он сам прекрасно справляется. Ему зритель нужен. Почитатель. Фанат. Иначе он волнуется очень.

А мне это не нравится.

Нам уже порядком наскучило смотреть на эти шахматы. Вот я и придумала подружить их с Шулимовым. Ване яблоки никогда не наскучат.

— Шах и мат! — победоносно выкрикивает Петрович.

Ваня аплодирует.

А это Лизонька. Наша принцесска. Лизоньке десять лет. У нее розовые носочки, огромные банты в косичках и губки подведены

красным карандашом. За карандаш ее ругают, но она все равно втайне подрисовывает. Лизонька говорит тонким голоском и смешно надувает губки, когда над ней смеются. Мы уже давно не смеемся.

Только вот Соломон. Дурачок такой.

Я смотрю на него строго и качаю головой. Мол, не надо смеяться над Лизонькой. Она очень расстраивается, даже разволноваться может.

— Хорошо! — говорит Соломон и заливается смехом.

Мы Лизоньке всегда отдаем фантики от конфет, ленточки цветные, открытки, если кому присылают. Она так радуется всегда…

Вот у фонтанчика моет руки Профессор. Это его Соломон так назвал. Профессор ужасно умный, преподавал в институте, докторскую писал. Но не дописал вроде, ушел из института.

Его лучше не трогать. Он от этого волнуется и долго моет руки.

Он все время моет руки. Когда кончается мыло, он ворует хлорку у нашей уборщицы.

У него кожа на руках вся шелушится, покраснела. Иногда прямо до язвочек воспаляется. А накладывать мазь бесполезно. Он тут же идет мыть руки с мылом.

Вот такой чудак.

Говорят, он и по ночам встает руки мыть. Не знаю, не видела, я сплю со снотворным.

Зато нам с Соломоном он помогает разгадывать кроссворды. Ну очень умный!

А вот вышел на крыльцо наш Главный — Самуил Карпович. И еще дама с высокой прической. Наверное, его новая помощница, потому что тоже в халате.

Пойду поближе, послушаю.

Самуил Карпович приобнимает даму за талию и рассказывает:

— Ну вот, Светочка Михална. Вот такой фронт работ, как видите.

…Вон там за лавочкой спрятался Соломон. Если не можете его найти, спросите у Гертруды. Он у нас безобидный. Смеется много. Но это проходит. А если нет, вы знаете, что делать.

…Вот это Сима Прокофьевна. У нее оба сына погибли в автокатастрофе. А больше нет никого. Ну, вот она и здесь теперь. Всё письма сочиняет…

…Николай Петрович, шахматист. Полный отрыв от реальности. Кроме шахмат ничего не воспринимает. Жена его навещает. Подумываем выписать его на домашний режим с наблюдением.

…Иван Шулимов. Перешел к нам из интерната для неполноценных детей. Послушный очень, не проблемный. Лечить не лечим, так, присматриваем.

…Вон там Лиза рисует что-то, видите, которая в бантах? Лизе сорок девять. Она воспринимает себя неполовозрелым ребенком. Довольно типичный случай.

…«Профессор» у фонтанчика — на самом деле Корнилов Игорь Геннадьевич. Слышали? Да-да, тот самый. Редкая разновидность осознанной рипофобии. Он сам все понимает. Кстати, можете с ним консультироваться по многим вопросам. Очень толковый… Жалко прямо.

…А вот это, собственно, Рут… Подождите минутку, Светочка Михална, сейчас мы продолжим…

— Друзья мои, попрошу всех возвращаться в корпус! Время полдника! Прогулка закончена! — Самуил Карпович смотрит на меня доброжелательно. — Гертруда, тебя это тоже касается.

— Ха-ха! Гертруда! — Соломон заливается смехом и тянет меня за рукав.

Мы идем по длинному коридору к столовой…

Я и так знаю, что Главный сейчас расскажет Светочке. Что я якобы выбросила младшего брата из окна. Что я уже много лет не разговариваю. Что у меня немотивированные приступы агрессии. А я просто не люблю, когда кто-то сильно волнуется.

Мы с, Соломоном садимся у окна. Это наши места. Я подвигаю к себе чашку бледного чая, окунаю в него палец — чай почти остыл — и вспоминаю маму.

Мама вот тоже сильно волновалась. А я хотела как лучше. Написали — сердце… Зато всем теперь хорошо. Все спокойны.

Потому что не надо волноваться. Не надо.

Чай из облепиховых листьев

Облепиха, Hyppophae rhamnoides, издревле называлась «царская ягода». По мнению ученых, проводящих сравнительные наблюдения, облепиховый чай обладает мощным антистрессовым действием.

Листья и молодые веточки облепихи подсушивают в проветриваемом помещении и перемешивают (по желанию) с листьями смородины, вишни, зверобоя или мяты в равных количествах.

Заваривают как обычный чай, дав настояться не менее 15 минут. Употребляют теплым, с добавлением меда или облепихового варенья.

Варенье из облепихи

На 1 кг облепихи взять 1,5 кг сахара, 0,8 л воды. Перебранные и промытые ягоды залить горячим сахарным сиропом и поставить в холодное место на три-четыре часа. Затем отделить сироп от ягод, довести до кипения, снять с огня. Дав сиропу несколько остыть, вновь положить в него ягоды и на слабом огне варить до готовности.

Еще слаще

Она сидела у самого окна, помешивая ложечкой бледный чай, глядя поверх чашки, куда-то между сахарницей и букетом поникших ромашек в уродливой керамической вазочке.

Мимо окна проходили редкие прохожие, проезжали машины.

Она взяла еще один кубик сахара и опустила в чай.

На другой стороне улицы вислоухая собака, привалившись боком к стене, сосредоточенно выкусывала блоху из хвоста.

— Мам!

Она вздрогнула, ложечка звякнула о чашку.

Девочка лет пяти, стриженная под мальчика, с большими пластмассовыми бусами на шее, сидела рядом, комкая угол скатерти.

— Ма-ам! — Она тронула женщину за локоть. — Ну пошли уже, а?

— Да-да, сейчас, — легко согласилась та и взяла еще кубик сахара.

Девочка тяжело вздохнула, откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. Бусины сухо стукнулись друг о дружку.

Мимо окна медленно прошла полная дама в цветастом платье, толкая перед собой коляску с сидящим малышом. Он был упитан, розовощек и смешно морщил лоб, пытаясь двумя руками стащить с себя вязаную пинетку.

— Мам, — оживилась девочка, — а ты теперь братика мне родишь или сестричку?

— Что? — Женщина медленно повернула голову, словно выныривая из густого тумана.

На другой стороне улицы какой-то мужчина трепал собаку по голове, она благодарно виляла хвостом и тыкалась ему в ноги.

— Почему ты не пьешь чай? — вместо ответа спросила женщина и погладила девочку по голове.

— Не хочу. Я хочу домой. — Девочка пыталась уклониться от маминой руки.

Женщина посмотрела на часы, потом на унылые ромашки в вазе, потом в окно…

Она разгладила рукой складку на скатерти, взяла еще кусочек сахара и занесла его над чашкой.

Собака на другой стороне улице увязалась за мужчиной, а он кричал на нее и махал руками. И даже делал вид, что поднимает с земли камень, чтобы бросить.

Девочка смотрела на кусочек сахара и думала: «Если я буду считать до ста и мама успеет положить только один кусочек сахара в чашку, то у меня родится братик. А если успеет два — то сестричка».

На секунду все вокруг замерло: машины на дороге, люди на тротуаре, собака, поджавшая хвост, мужчина, кричащий на собаку…

«Раз, два, три, четыре…»

Девочка старалась считать очень медленно. Ей хотелось сестричку.

Женщина вдруг выпрямилась, выдохнула и сказала:

— Ладно, пойдем уже.

И положила кусочек сахара обратно в сахарницу.

Грустный чай

Готовится рано утром сонным барменом для первых посетителей.

Зеленый чай засыпать в пол-литровый керамический чайник, «на глазок».

Залить 0,4 литра кипятка — из расчета на две чашки.

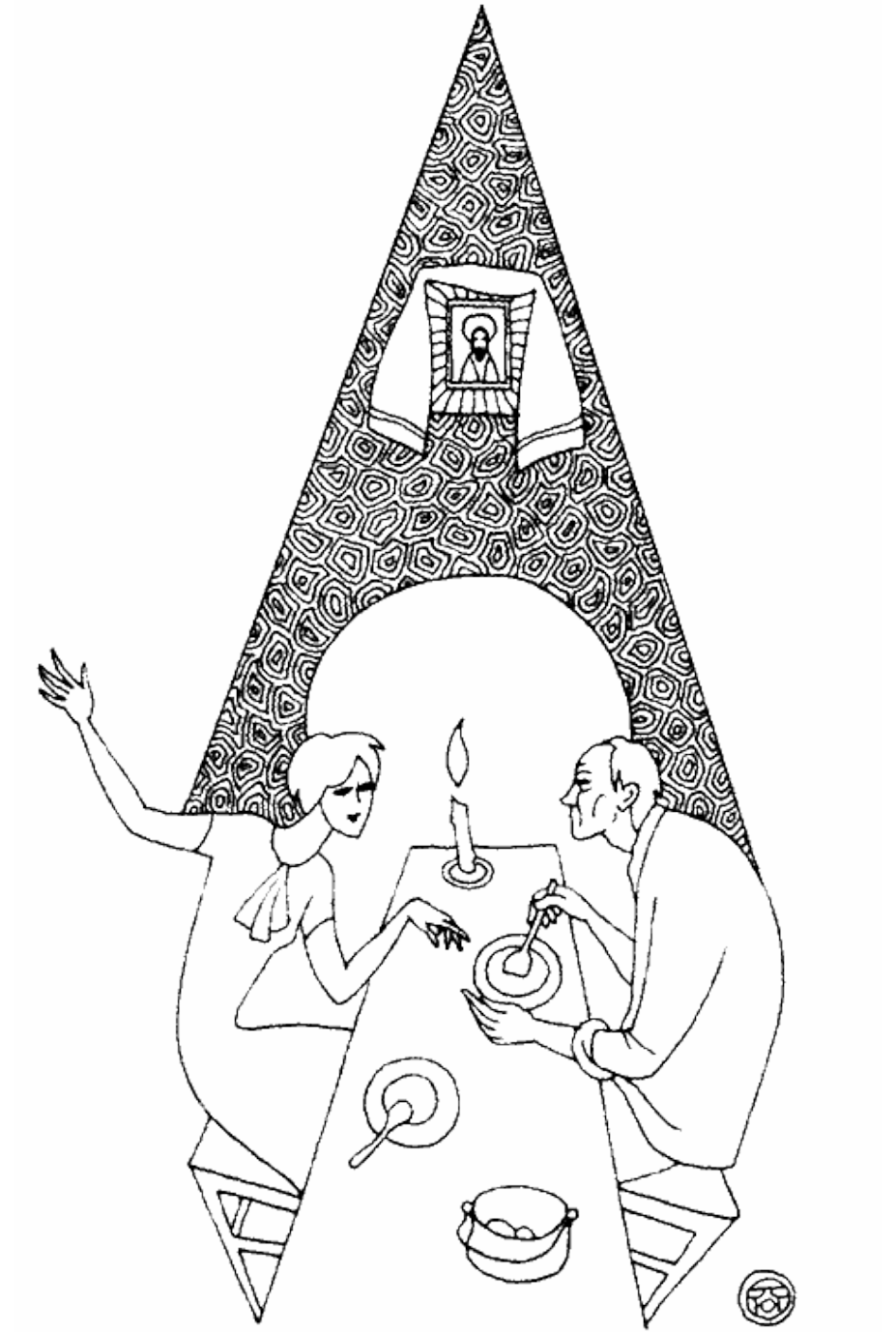
Сахар подать отдельно, желательно рафинад.

Добавлять сахар по кубику, сколько поместится в чашку, регулярно помешивая.

Думать о грустном, пока чай окончательно не остынет.

Пить не обязательно.

Сергей Малицкий



Рвущаяся нить

1

Картошку в этом году Зуев не сажал. Полтора мешка лежало в подполе, стояла уже середина мая, и он рассудил, что до августа, до яблок хватит, а дольше не протянет. И то, если не заболеет или еще какая авария не случится. И так уж растянул жизнь, как резинку, на семьдесят два года, тронь — зазвенит, вот-вот лопнет. И когда решил так, сразу стало легче. Тяготившие заботы, такие как поправить сарай, прополоть огород, приготовить дров на зиму, — исчезли, а новые, менее обременительные, заняли время и наконец-то придали остатку жизни ясную цель и понятный смысл.

Деревня умерла уже лет десять назад, когда отнесли на кладбище последнюю бабку. Дворы и огороды заросли одичавшей сиренью, шиповником, крапивой и лебедой. В переулках и прогонах поднялись громадные стебли борщевика и раскрылись крылья лопухов. Некоторые дома были проданы на снос, другие покосились, прогнили и вместе с почерневшими заборами повалились навзничь. Прямая деревенская улица, прежде радовавшая глаз бархатом зеленой травы, исчезла в зверобое и мышином горошке и теперь отзывалась стрекотаньем перепелов. Еле заметная проселочная дорога, пробегающая вдоль дикого оврага и подходившая к самому началу бывшей деревни, где непроходимой стеной вставал бурьян, уходила в поля. Деревня превращалась в ничто. Только дом Зуева чернел коньком невысокой крыши среди макушек пожилых ив и раскидистых кленов. Но кто бы заметил узкий, едва вытоптанный в репейнике проход к невидимому дому и такую же тропинку к роднику, шелестевшему в овраге?

Ни радио, ни телевизора у Зуева не было. Деревянные электрические столбы начали падать еще лет пятнадцать назад, со временем кто-то собрал куски вьющихся страшных проводов и, видимо, нашел им лучшее применение. Жаловаться было некому, да и незачем. Единственной связью Зуева с поселком и со всем миром служил двоюродный сорокапятилетний племянник, который работал егерем и забредал в его сторону раз в месяц, чтобы привезти нехитрую еду и те жалкие деньги, что оставались от пенсии после покупок. Газет племянник не привозил. Читать Зуев еще мог, надвигая на затылок серую ленточку, на которой держались старые очки, но не хотел. Он не хотел знать, что происходит там. Он доживал последние три месяца жизни.

2

Зуев доживал последние три месяца жизни и все делал медленно, не торопясь, аккуратно, словно боялся расплескать остатки жизненной влаги, что все еще переливались в груди. Он выпивал их по капле. По одной на каждые оставшиеся девяносто или сто дней. Сердце казалось булькающим комочком, зависшим в центре тонкой паутины, и каждое резкое движение грозило оборвать одну из невесомых нитей, отчего весь его остаток мог тут же упасть и разбиться вдребезги на потемневших от времени половых досках. Отныне жизнь была посвящена только подготовке к смерти и воспоминаниям. Первое он почти уже закончил. У окна на лавке стоял с осени гроб, накрытый белой скатертью, который он использовал как стол. В платяном шкафу висел обсыпанный нафталином и закутанный в марлю вычищенный темно-синий костюм и лежала стопка белья. В чулане таились две бутыли самогона. За иконою — выменянная племянником зеленая иностранная деньга с цифрою пятьдесят, два желтых обручальных кольца, серебряная ложка и пачка старых непогашенных облигаций какого-то безвозвратного займа. В ящике замасленного буфета — серый конверт с надписью: «Вскрыть, если я уже умер». В конверте пряталась составленная дрожащей рукой подробная инструкция, как и что делать, кому и что забирать, где и что лежит, включая убедительную просьбу перед закапыванием потрясти за плечо и громко крикнуть в ухо: «Зуев, подъем!» Да что там забирать? И кому? Жена уже тридцать лет лежала на заброшенном деревенском кладбище, сгорев в один месяц от неизвестной болезни. Сын, единственный сын через десять лет после смерти матери уехал в город, прислал письмо, что устраивается и скоро сообщит адрес, но не сообщил. Сгинул как дым. Зуев сходил в милицию, отнес фотографию, присланную из армии. Сына объявили в розыск, но тут же в коридоре опер сказал, что если за месяц сам не объявится, то вряд ли уже найдут. Зуев еще три года ездил в милицию каждый месяц, каждый раз выслушивал один и тот же ответ: «Ищем», — потом ездить перестал. Привык. Вел понемногу тихое и неторопливое существование, поддерживал чистоту в доме и во дворе, подолгу отдыхал, думал о чем-то. Одно беспокоило теперь в этих приготовлениях: угадать со смертью как раз перед приездом племянника, чтобы не пухнуть месяц в пустой избе, не доставлять дополнительных неприятностей людям.

Вторым и, может быть, главным смыслом проживания последних, отмеренных самому себе дней были воспоминания. Зуев словно теребил память ослабевшими пальцами, смакуя

отзвуки прошлого, двигаясь по вершинам повторяющегося и никогда не повторяющегося пятиугольника. В один день рассматривал фотографии на стенах, листал альбомы и перекладывал коробки с карточками. Во второй читал письма, смотрел школьные рисунки и тетрадки сына. В третий перебирал старые вещи, детскую одежду, любимую чашку своего парня, незатейливые игрушки, дешевые украшения жены. В четвертый день понемногу продирался через бурьян по бывшей деревне, ходил по двору или дому, трогал стволы деревьев, упавшие калитки, угадывал в зарослях крапивы погибающие яблони, называл по именам хозяев разрушенных домов. В пятый сидел на обломке полусгнившего бревна у вздрагивающего зеркальца затененного родника и думал. Сегодня опять смотрел фотографии. Безымянный кот презрительно поглядывал с подоконника, где-то рядом куковала кукушка, предсказывая совершеннейшую чушь, а он рассматривал лица давно ушедших людей и плакал. Иногда со слезами, иногда без слез. Летом смеркается поздно. Под вечер Зуев садился на скрипучий стул, укладывал на стоящий у окна гроб полотенце, наполнял из разогретого на уличной печке чайника стакан, вставленный в металлический подстаканник, бросал в кипяток четверть ложки дешевой заварки и застывал неподвижно с куском сахара в руке. Где-то за одичавшим садом садилось красное солнце, щебетали непуганые птицы, изредка по проходившей в трех километрах от его убежища трассе районного значения проезжала какая-то машина, и все замирало. В комнату заползали сумерки, через разодранный тюль проникали комары и беспомощно звенели в воздухе не в силах пронзить тонкими хоботочками провяленную стариковскую кожу. Зуев невольно вздрагивал, делал несколько глотков холодного чая, опирался о крышку гроба, вставал и, скрипя пружинами, опускался на узкую железную кровать, не зная, удастся ли ему уснуть сегодня или нет.

3

Мертвая деревня замирала. В развалинах ухали сычи и вскрикивали потревоженные дневные птицы. Где-то поскуливала то ли лиса, то ли брошенная собака. Шуршал и скрипел старый дом, в котором, как сердце, мерно тикали такие же старые часы. На них была только одна стрелка, да и та не двигалась с места, являя собой не указующий перст ушедшего времени, а символ непоколебимости и трагической устойчивости. Со стороны трассы послышался шум проезжающей машины, на секунду замер, затем усилился и стал приближаться. Зуев лежал на спине и смотрел в

потолок, на котором в голубоватом лунном сиянии зимними оживающими узорами шевелились отраженные переплетения ночных ветвей и листьев. Звук машины приблизился, стал еще ближе, на потолке блеснул отраженный свет, и вот мотор затих. Хлопнула дверца, захрустели тяжелые шаги, открылась еще одна дверь. Что-то упало на землю. Тишину тронул слабый стон, раздались злобные голоса, ругань, глухие удары, вновь звук падения и выстрел! Все замерло. Только зашумели вдруг крылья взлетающих ночных соглядатаев. Кто-то громко сплюнул. Вновь хлопнули дверцы, и машина уехала. Зуев по-прежнему неподвижно лежал, смотрел в потолок, и ему казалось, что голубой квадрат уменьшается, расплывается, качаясь из стороны в сторону, или сам он неудержимо проваливается куда-то. Булькающий комочек запутался в тонких нитях, судорожно забился, пытаясь разорвать их и наконец упасть на дощатый пол, чтобы замереть облегченно и навсегда. Зуев тяжело и медленно дышал и уже в полузабытьи, ловя спасительную прохладу и успокаивая себя, поглаживал дрожащими ладонями холодную металлическую раму кровати, пока сквозь выступивший на лице и груди липкий и противный пот на него не навалился черным беспамятством сон.

4

Он проснулся вдруг. Где-то за тонкой стеной опущенных век уже звенело солнечное утро, а он словно замер на границе этого мира и того. Тело понемногу давало о себе знать слабостью, дрожью и уже привычной ноющей болью. Булькающий комочек оставался на месте, несмотря ни на что. Зуев открыл глаза, разглядел клок паутины, свисающий с потолка, огорчился на мгновение, снова закрыл глаза, тяжело сел и, сжав ладонями виски, несколько минут унимал головокружение. Кровь утомительно щелкала по вискам, вызывая волны стонущей боли, простреливая из головы в поясницу. Наконец он медленно встал и вышел во двор. Вчерашний кот, лежавший теперь на низкой поленнице, недоброжелательно смотрел, как старик набирает поленья, укладывает в печку и запихивает в дрова сухую лучину и бересту, чтобы не пришлось переводить спички зря. Вот огонек пополз по деревянным кудряшкам и ожил. Зуев громыхнул чайником и пошел к роднику, стараясь ступать по центру узкой тропы, чтобы не поймать на ноги, плечи, живот искры обжигающей холодной росы. На извилине проселка у края оврага медленно выпрямлялась трава, постепенно скрывая следы машины и еще что-то. Зуев подошел ближе и увидел. На краю

оврага лежала девушка.

5

На краю оврага скрученной и брошенной тряпкой лежала девушка. Голова запрокинулась в овраг, поэтому Зуев сначала подумал, что головы нет вовсе, и замер, но и потом, когда понял, что показавшийся окровавленным осколком шеи над обрывом задрался подбородок, сжавшие нутро спазмы не ослабли. Девушка лежала на спине, слегка вывернувшись в талии из-за стянутых узким шпагатом посиневших рук. Блузка и юбка, потерявшие из-за грязи и крови первоначальный цвет, были сбиты и скомканы. Босые ноги косолапо уткнулись друг в друга. Она лежала как мертвая. Машинально двигаясь в сторону родника, Зуев сделал еще два шага и увидел лицо. Голова откинулась вниз, рот приоткрылся, а ниже, начиная от небольшого заостренного носа, все заливала кровь. Только пряди обесцвеченных волос торчали по сторонам. Зуев остановился на неловкое мгновение и, чувствуя напряжение в груди и гудение в висках, медленно, но все же быстрее, чем следовало, спустился к роднику, наполнил чайник, опустил в воду негнущиеся пальцы, смочил лицо, провел по колючей шее и обессилено закрыл глаза. Все было как всегда. Отраженные осиновыми листьями, мелькали блики солнечного света. Шуршала по свинцовому илу вода. Только колени и стопы дрожали больше обычного. Надо привыкнуть. Зуев часто сидел тут с закрытыми глазами, не отдавая себе отчета, что мысли, ранее имеющие вид предложений или обрывков внутреннего монолога, с некоторых пор превратились в образы и безымянные картины. Вот и теперь в голове отчетливо отпечаталось зеркало его жизни, состоящее из дома, мертвой деревни, двух картофелин «в мундире» по утрам, старых писем и фотокарточек, одичавшего кота и теней на потолке. Зеркало, в которое, как камень, недоброй рукой брошено это тело, и кто его знает, успокоится ли оно, разбежавшись в стороны волнами, или разобьется на мелкие осколки.

6

В воздухе послышался надрывный звон летящих из крапивной глубины оврага комаров. Зуев несколько раз глубоко вдохнул, тяжело поднялся и начал подъем к дороге. Пятнадцать шагов, которые он знал наизусть. Ну вот. Он с трудом выпрямился, прищурился, вглядываясь в скорчившийся силуэт, снял с головы

засаленный картуз, собрал ладонью пот со лба и лица на бороду. Снова присмотрелся. Большой палец одной из двух вывернутых за спину рук еле заметно дрожал. Зуев медленно опустился на колени, еще раз пригляделся к дрожащему пальцу, словно надеялся, что ошибся, увидел неожиданно живую розовую кожу на шее под спутанными волосами, снял крышку с чайника, сунул туда ладонь, протянул руку и уронил холодную каплю на губы. Она застонала.

7

Зуев никогда не считал себя трусом, впрочем как и смелым человеком тоже. Он был обычным. Все несчастья, обошедшие его дом, провожались им со вздохом облегчения, несчастья, стучащиеся в двери, встречались со вздохом покорности. Если бы счастье наконец отыскало дорогу к его заброшенному дому, вряд ли бы оно увидело что-нибудь еще, кроме вежливого и радостного удивления. И эта фатальная покорность судьбе, соединенная с трудолюбием, живучестью и выносливостью, делала Зуева одной из тех миллионов незаметных песчинок, из которых отливаются железобетонные фундаменты для глиняных исполинов. Но время — тяжелый жернов, который стирает песчинки в пыль, оставляя печальное недоумение ищущим плоды собственного труда. И вот, наполненный этим неосознанным недоумением, еще не пыль, но уже почти не песчинка, Зуев стоял на коленях над окровавленным, но живым телом и пытался найти в себе силы, чтобы выполнить то, к чему обязывала природа. Помочь себе подобному.

Силы не находились. Судорожно выдохнув, Зуев достал из кармана кривой садовый нож и с трудом перерезал шпагат. Девушка еле слышно вздохнула, плечи ее ослабли, руки дрогнули, тело обмякло и распласталось навзничь. Зуев осторожно взял ее за плечо, упираясь о землю дрожащим коленом, повернул тело на левый бок и перенес правую руку из-за спины вперед. Сколько на его памяти перемерло мужиков, которые, залившись самогоном до «отключки», захлебывались в собственной рвоте! Нет уж, на бок! Если Бог жизнь оставил, тем более нельзя ее затаптывать! Эх! Силенок бы! Да откуда же их взять, если стучится булькающий комочек не в груди, а на тонких и слабых нитях?

8

Старость — это усталость. Сил все еще не было. Подставляя солнцу зажмуренное лицо, Зуев подождал немного, но, когда тело окончательно дало знать, что сил уже не будет, когда стянуло железным обручем голову, онемели колени и заныла спина, сделал то же, что и пятьдесят, и сорок, и тридцать, и двадцать лет назад, когда и сил, и здоровья хватало с избытком. Встал и начал работать. Никакого другого способа жить Зуев не знал. Он доплелся до дома, поставил на печку чайник, добавил в огонь пару поленьев и водрузил рядом с чайником ведро с дождевой водой. Затем с трудом вытащил из-под просевшего навеса заскорузлые деревянные сани на низких полозьях, на которых возил по первому снегу к избе дрова и которые уже не собирался трогать, и поволок их к оврагу. Добрался за четверть часа. Не слишком быстро, если учесть, что всей дороги полсотни шагов. И не слишком медленно. Тропинка была вдвое уже саней, подрастающая лебеда поддавалась неохотно, а толстые стебли репейника не поддавались вовсе, и их приходилось перепиливать все тем же садовым ножом. Вот и овраг. Зуев подтащил сани, поставил вдоль тела, присел. Минут пять смотрел на открытое загорелое плечо и безвольно взмахивал правой рукой, чтобы отогнать мух. Левую руку удерживал на груди, уговаривая булькающий комочек: «Ну ничего, ничего. Потерпи. Еще немного. Ну? Потерпи». И вот, продолжая уговаривать измученное нутро, Зуев встал, перевернул неожиданно легкое тело на спину, затем на живот так, что девушка плечом и левой ногой попала на сани, и опять на спину. Убедившись, что лежит она устойчиво, засунул под изуродованную голову картуз и пустился в обратный путь, повторяя про себя, как печальный марш, появившуюся на языке фразу: «Легкая, значит, живая. Легкая, значит, живая».

9

Легкая, значит, живая. Зуев сидел у привычного «стола» и посасывал кусочки холодной картошки, перемешанные с укропом, огуречным листом и каплею кукурузного масла. Голова от усталости норовила упасть на грудь, а челюсти с остатком зубов еле двигались, гоняя по измученному рту нехитрую пищу. День, понемногу пропитываясь сумраком, уже заканчивался, когда Зуев вспомнил про письма. Сегодня он должен был читать письма. Он совсем забыл про это, пока втаскивал девушку в избу, разрезал тупыми ножницами спекшуюся панцирем одежду, смывал теплой водой грязь с покрытого синяками и кровоподтеками тела. Кровь стекала с лица вместе с полосами туши и застывала на полу красно-черными узорами. На щеке была рассечена кожа, вокруг

глаз наливались синяки, опухали разбитые губы и нос. На лбу на три-четыре пальца выше бровей багровел след скользнувшей пули, опалившей волосы и обжегшей кожу. «Повезло тебе, птица, — подумал тогда Зуев, намазывая раны единственным оставшимся у него лекарственным средством — зеленкой, подсовывая сброшенный с кровати матрас и накрывая серой простыней. — Повезло тебе, птица. Почитай, овраг тебя наш и спас. Овраг и ночь. Стрелок-то точно целился!» Сейчас она дышала почти уже ровно, не вскрикивала, как тогда, когда Зуев тревожил раны. Он еще раз вгляделся в ее лицо, пытаясь понять, не смотрит ли она на него, потом сунул руку в полиэтиленовый пакет и вытащил первое попавшееся письмо. Письмо было от сына из армии. Серый конверт без марки, нехитрый солдатский адрес. И, еще сжимая конверт в ладонях, Зуев начал тот привычный ритуал, который повторял уже несколько лет почти каждый день. Он закрыл глаза, прижал конверт к щеке, вдохнул его запах, открыл и достал сложенный тетрадный листок. Затем вдохнул запах листка, пытаясь услышать исчезнувший отголосок прошлой жизни, открыл глаза и расправил листок на белой скатерти, застилающей гроб. Бумага еще белела на покрывающемся сумраком «столе», он разобрал неумелый почерк сына, пятнышки от слез жены, плакавшей над этим письмом, какой-то непонятный штрих, напоминающий след ружейной смазки, и, чувствуя, что день стремительно катится к своему окончанию, нарушая ритуал, начал торопливо читать. Сын писал простые, обязательные слова. Рассказывал, что у него все в порядке, что служить ему осталось чуть больше года, что он получил какой-то значок, что кормят неплохо, но очень вспоминается ему Пеструхино молоко, спрашивал о здоровье, о деревенских, о том, не начали ли строить клуб на центральной усадьбе, как там Машка, что провожала его в армию, жив ли еще их пес Каштан, и еще, и еще о чем-то, разрывающем сердце и душу в мелкие клочки!

10

Она пришла в себя ночью. Зуев проснулся не от воя, а от тихого поскуливания. Она сидела на матрасе, сжавшись нелепым треугольником, обхватив голову руками, и скулила, покачиваясь из стороны в сторону, вышептывая какие-то слоги и междометия, то и дело замирая на самой тоскливой ноте, пока не упала на бок, забившись в рыданиях. Зуев лежал на старых половиках, заменивших матрас, смотрел в потолок и молчал. Ему ли было не привыкнуть к женскому полуплачу-полувою? Ему ли был не

знаком этот звук, которым вся средоточенная деревенская женская душа всегда изливала боль? Спи, солнышко. Конечно, лучше детский ночной плач, чем женский. Но женский вой лучше, чем пустота и одиночество!

11

Утром Зуев сходил на родник, истоптал залитую кровью траву, поднял желтую гильзу, отыскал в корнях сгнившей ольхи заблудившийся свинцовый цилиндрик, спрятал все это в карман и понес наполненный ключевой водой чайник к дому. Кот по-прежнему сидел на поленнице и еще более презрительно наблюдал за его движениями, и так же медленно закипала в ведре вода, и пальцы с трудом удерживали в руках картошку, которую он решил почистить в это утро, и паутина попадала в глаза, когда он отыскивал в зарослях бывшего огорода одичавшие укроп, огуречный лист и зимний лук. Он почувствовал ее спиной. Не оборачиваясь, Зуев прошел к дровам, взял еще пару поленьев и, когда шел обратно к печке, увидел ее стоящей у приоткрытой двери, завернувшуюся в старую простыню, выглядывающую из-под кровоподтеков и пятен зеленки, как воробей из скворечника.

— Ты леший?

Голос у нее оказался неожиданно тонким, но хриплым. Хриплым, наверное, не от природы. Прошлись ботиночками по женской груди.

— Похож?

Он не узнал собственного голоса. Господи. Сколько лет уже промолчал? С племянником-то все кивками. А сам с собой говорить так и не научился. Ну что ж, скрипи теперь, несмазанный.

— Похож.

Она помолчала, наблюдая за его действиями, скривилась в плаксивую гримасу, присела.

— А у меня ребро сломано.

Он молча бросил в чугунок соль. Взглянул на нее из-под лохматых бровей. Что он мог ответить, когда смерть саданула ее рукояткой косы по лбу?

— У меня ребро сломано! — настойчиво повторила она.

— Не сломано.

— Болит!

— До свадьбы заживет.

— Да? — привалилась она спиной к косяку. — Ловлю на слове. У тебя зеркало есть?

Зеркало? Было ли у него зеркало? Разве только эта большая

рама, в которую по краям вставлены фотографии и в крохотных загибающихся зеркальных обрывках которой он иногда улавливает кусочки своего лица?

— У тебя зеркало есть?!

— Есть, — ответил Зуев.

12

Она стояла, тяжело опершись о старый комод, покрытый желтыми кружевами и вазочками с пучками бессмертника, и пыталась разглядеть свое лицо, несколько раз с очевидным сарказмом повторив при этом: «Ну-ну». Затем обернулась и, придерживая простыню на груди, откинула волосы со лба.

— Рикошет? — спросила про багровый шрам.

— Почти, — кивнул Зуев, выставляя на «стол» треснутую тарелку, на которой лежали пять картофелин, посыпанных зеленью.

— Почти? — то ли переспросила, то ли задумалась, прихрамывая, подошла к «столу» и с гримасой боли села на второй стул. — Голова раскалывается на части.

Зуев молча взял одну из картофелин, макнул ее в налитое на блюдце тонкой лужицей масло и стал есть.

— Не густо, — откусила она кусок картошки, обожглась, взяла хлеб. — Почему хлеб сухой?

— Засох, — ответил Зуев.

— А молочка нет? Молочка бы хорошо.

— Хорошо бы, — согласился Зуев и, уже тяжело вставая, добавил: — Но нету.

— Не густо, — повторила она и приподняла край скатерти. — Это не для меня случайно приготовлено?

— Для меня, — ответил Зуев.

— Запасливый, — похвалила она, зажала рот и, привстав и согнувшись, заковыляла во двор.

13

Ее вывернуло наизнанку тут же, возле поленницы. Все так же кутаясь в простыню, она сходила за дом, вернулась и, держась одной рукой за стену, прошла внутрь, скользнув по Зуеву безумными невидящими глазами. Привычный мир рухнул, и наступила звенящая пустота. Зуев взялся было за метлу, чтобы и в этот день двор его дома был идеально чист и готов к забрасыванию еловыми ветками, но метла не держалась в руках.

Он приставил ее к навесу и тоже вошел в дом. Жужжала на стекле бестолковая муха, негромко кряхтел будильник. Она лежала на матрасе, прижавшись к нему всем телом, изогнувшись раненым, умирающим зверем. Услышав скрип половиц под ногами Зуева, сказала не поворачиваясь:

— Не повезло. Чуть-чуть ниже, и сейчас было бы так легко.

Зуев замер, затем медленно прошел мимо, подошел к платяному шкафу, открыл. Не нравилась ему легкость в груди. Может, и нет уже комочка? Сорвался и летит вниз, чтобы расплескаться мокрым пятном? Так не долетел еще пока. Он аккуратно потер левую половину груди и отодвинул в сторону заветный костюм. В глубине шкафа шевельнулись несколько платьев. Немного. Всего лишь пять плечиков. Приличное богатство по тем временам. Вот это она так и не успела толком поносить. Зуев аккуратно достал бледное зеленоватое платье, вздрогнул, когда холодный шелк скользнул по лицу, и повесил плечики на стену, зацепив за резную полочку для отрывного календаря, на котором замер пожелтевший от времени листок с еловой веточкой какого-то давно забытого Нового года. Как она радовалась тогда этому платью!

14

Она пролежала неподвижно до самого вечера. Зуев сидел у окна, разложив на белой скатерти маленьких фарфоровых собачек, с которыми любил играть сын. У многих из них были отбиты лапки или хвостики, некоторые несли на себе следы склеивания. Сначала он не разрешал ему играть с собачками, но потом, когда увидел, каким огнем загораются его глаза, махнул рукой. Сын раскладывал собачек на подоконнике и часами смотрел на них как зачарованный. Она шевельнулась, потянула на плечо простыню.

— Холодно.

Зуев встал, взял с кровати разодранную овчину, накрыл.

— Как тебя зовут?

— Зуев.

— Чего ты тут делаешь?

Зуев помолчал, сдвинул собачек в кучку.

— Пока живу.

— Пока? А потом?

— Потом перестану.

— Я тоже скоро перестану. Помогут. Но не сейчас.

Она закашлялась, отдышалась.

— Засекай время. Проверим, правда ли, что на бабе заживает

все как на собаке. Жаль, собаки нет.

— Зачем? — спросил Зуев.

— Для сравнения. Хотя я и сама… сука. Зуев.

— Да.

— У тебя есть имя?

— Петр Михайлович.

— Петр, значит. Петруха, хрен и два уха. Ты куда одежду мою дел, Петр?

— Выбросил.

— Зачем?

— Затем.

Зуев поднялся, чтобы лечь. В груди опять задрожала паутина.

— Дурак ты, Зуев. Это же улика.

«Дурак», — подумал про себя Зуев.

15

Утром, когда Зуев выходил во двор, она лежала в той же самой позе, в которой оставалась с вечера. Он остановился возле матраса, она, не открывая глаз, выдавила:

— Не сдохла еще. Уйди.

Зуев сходил на родник, снова поставил на огонь ведро с водой, бросил в чугунок нечищеную картошку, присел на березовый чурбан. Сил не осталось. Чувствуя, что начинают снова ломить виски и тяжелеть губы, встал и вошел в дом. Она сидела у окна, положив руки на скатерть, и смотрела в никуда. Зуев открыл комод, достал белую тряпицу, завернул в нее полбуханки черного хлеба и, побрызгав водой из чашки с отломанной ручкой, положил на солнечный подоконник.

— Лето, — сказала она в никуда.

Зуев пошел к двери, она спросила в спину:

— Зачем подобрал меня?

Он замер на секунду, затем, не оборачиваясь, почему-то кивнул и вышел.

16

Она открыла, выламывая куски засохшей замазки, маленькое окно, высунула подол шелкового платья, крикнула во двор:

— Зуев! Я могу это надеть?

Зуев кивнул и потом, когда она скрылась, почему-то тихо сказал сам себе: — Да.

Она показалась на пороге, кутаясь в простыню, взяла ведро с

теплой водой и ушла в дом. Через минуту, одетая, вышла на крыльцо.

— Ну как?

— Да, — почему-то опять сказал Зуев.

— Ничего, — согласилась она. — Подходит к зеленым пятнам. Синяки быстрее сойдут, чем зеленка смоется. Перестарался ты, Зуев.

Зуев смотрел на нее и думал о том, простит ли его Катя, что он отдал это платье?

— Как насчет поесть? А то уж бока ввалились!

17

Ели молча. Пока он мусолил одну, она съела три картофелины из пяти, потянула руку к четвертой. «Так за неделю месячный запас съедим», — подумал Зуев. Хлеб впитал влагу и стал мягче, но он отчетливо видел, что есть ей больно. Она жевала медленно и осторожно, с трудом двигая разбитыми губами. Когда язык попадал на осколки зубов, замирала, и в глазах повисали слезы. Потом сунула в рот кусок сахара, но пить уже не могла, поэтому задрала голову и просто вылила теплый чай в рот. Проглотила с трудом. Зуев поднялся, подошел к кровати, лег. Слабость навалилась, не давая вздохнуть.

— Самая лучшая диета. Слышишь, Петр? Нехорошо. Девушка на полу, а мужчина, джентльмен, можно сказать, на кровати? Я уж не говорю о милосердии к раненым!

Зуев смотрел в потолок, почти не слыша ее, и вновь плакал. Глаза и щеки его были сухи, губы неподвижны, но слезы, неосязаемые слезы лились внутрь неостановимым потоком. И, всплывая на волнах этих слез, поднимаясь из раскаленной и безводной пропасти остатка жизни, Зуев получал облегчение! И нити, на которых дрожал его булькающий комочек, казались уже прочными и толстыми! Но плакал он не из-за этой недоподстреленной молодой и неугомонной и не из-за того, что остаток его дней вместо неторопливого разматывания трещал, как спиннинговая катушка, когда утаскивает стремительно леску в зеленую глубину громадная рыбина. И не от слабости или усталости. Просто мужские невыплаканные слезы скопились в нем к старости черным озером, размыли наконец берег и хлынули неудержимым потоком. И в этом потоке, как пассажиры разбитого судна, влекомые неумолимым водопадом на страшные камни, мелькали лица близких, знакомых и еще неведомо кого.

— Эй, Петруха! Овчинку-то хоть дай накрыться!

Она увязалась следом, когда Зуев, вооружившись самодельной тростью, выструганной из ветви старой яблони, отправился пройтись по деревне. После получаса тяжелого забытья он вышел во двор и увидел ее за поленницей. Она пыталась вылить на себя согревшуюся воду. Мелькнул синий кровоподтек под правой лопаткой, красные полосы и ссадины. Не сумев поднять ведро, она поставила его на поленницу, присела и опрокинула на себя. Затем встала, натянула сразу же намокшее и облепившее небольшую грудь платье и показалась вся, с сожалением рассматривая испачканные в земле ноги.

— Никаких условий! Грязь одна!

— Это земля, а не грязь! — с укором сказал Зуев и пошел прочь.

— Петр Михайлович! — крикнула она вслед. — А ты от излишней вежливости не умрешь! Вообще-то положено говорить «с легким паром»! Ты куда? Эй!

Зуев молча открыл калитку и, приминая ногами молодую крапиву, заковылял вдоль еле живого штакетника по бывшей улице. Где-то сзади она вдруг заойкала, попав на крапиву босыми ногами, но не остановилась, а только замолчала на несколько мгновений, чтобы затем добавить в голос плаксивые нотки.

— Ты вообще хоть знаешь, что такое женщина? С женщиной так нельзя! Молчать нельзя! Уходить нельзя! Стрелять в женщину нельзя! По буеракам водить босую нельзя! Да стой же!

Он остановился, обернулся. Она сидела на траве, подтянув под себя обожженные крапивой ноги, терла их ладонями и плакала.

— Чего смотришь? Дурак! Больно же!

— Крапива! — объяснил Зуев.

— Куда ты уходишь?! Почему вы все уходите?!

Зуев вздохнул, оглянулся. Потянулся к высокому кусту с темными листьями и черными ягодами, наклонил одну ветвь прямо к ее лицу.

— Держи.

— Что это?

— Ягода.

— Как называется?

— Где как. У нас пирусом зовут… Звали.

— Ничего так. Куда идешь-то?

Зуев сорвал одну ягоду, вторую, положил в рот. Ничего не почувствовал. И это уже ему не дано.

— Никуда. Тут сад был знатный.

Он сделал несколько шагов в сторону, потянулся к старой яблоне, поймал в ладонь ветку.

— Семен сажал. Антоновка. Завязалась. Яблоки будут. Антоновка — первые яблоки! Желтеют, как сахар становятся! Хоть суши, хоть варенье вари. А если свежее, да порезать, да в чай под кипяток, просто заграница!

— Ты хоть за границей-то был?

Зуев не ответил. Катя очень любила яблоки с этой яблони. И когда умирала, все просила яблочко. Только разве найдешь его в мае месяце? Еще и до скороспелки не меньше месяца, а она лежит серой тенью и шепчет: «Петя, яблочка хочется».

— Алло! Зуев! Ты здесь или где? Я спрашиваю, ты за границей был или нет?

— Был, — ответил Зуев.

— Это где же?

— В Польше.

— Челнок, что ль?

— Что? — переспросил Зуев и вспомнил вдруг, как он почти мальчишкой, семнадцатилетним солдатиком, ходил за самогоном в польскую деревню и заставлял старого поляка тут же на крыльце собственного дома пробовать вынесенный самогон. Отравиться боялся. А ведь мог еще тогда. Тогда еще мог умереть. Тогда бы не было ничего. Пашки бы не было. Его и сейчас нет. Или, может, есть? Может, забыл отца своего, но жив? Хорошо бы, если забыл!

— Тебе сколько лет, Петр?

— Семьдесят два.

— Когда родился-то?

Зуев помолчал, пытаясь вернуться из поднимающегося в голове тумана. Ведь не праздновал никогда. Так.

— В середине октября. Пятнадцатого числа.

— Весы, значит? Тогда понятно. Все выметено, разложено по полочкам, по дням, посчитано и продумано. Только скучно. А я вот рак. Тоже… мерзость. Зуев. У меня завтра день рождения. Давай напьемся? Ну что смотришь? Двадцать пять! Старуха уже! Слышишь? Не отключайся!

Зуев мотнул головой, взглянул на нее, потирающую босые ноги, и пошел молча дальше. Что-то не укладывалось в голове его. Тот легкий бреющий полет над его прошлой жизнью не получался в этот день. Все время вставало перед глазами это нелепое создание в Катином платье, даже тогда, когда он пытался представить лицо Кати, ее светлые волосы, испорченные непосильным трудом руки, усталые глаза…

— Зуев! Ты не понял! Ты не понял!

Она тронула его за плечо. Он остановился и медленно оглянулся. Она была одного роста с ним, почти уже вросшим в землю. Мокрое платье. Прилипшие волосы ко лбу. Опухшие губы. Синяки под глазами. Красивая. Такая же красивая, как Клавка Дегтярева по понедельникам, после того как муж, напившись до безумия и наслушавшись шепота деревенских доброжелателей, бил ее смертным боем. Она тоже виду не подавала. Гордая была. Хоть и не подпускала к себе никого. Только детей у нее так и не случилось, кроме Машки. Отбил ей Иван все нутро. А Машка? «Мама и папа. Передавайте привет Маше, хотя я вместе с вашим отправляю и ей письмо».

— Ты чего плачешь, Зуев?

Она осторожно коснулась его щеки пальцем и поймала мутную слезинку.

— Это от старости, — сказал Зуев.

19

Вечером она поймала во дворе не успевшего испугаться кота, взяла его на руки и занесла в дом. Кот сначала недовольно фырчал, даже пытался орать, но скоро подчинился рукам и заурчал, как маленький моторчик, подставляя то шею, то спину.

— Вот так и все мужики, — вздохнула она. — А только выпустишь, вроде как опять дикий. Пока в другие руки не попадет. Зуев. Мы долго на одной картошке не протянем. А мне здесь у тебя пару недель проторчать придется. Не могу же я с таким фейсом на трассу выйти! Ты где еду берешь?

— Племянник привозит раз в месяц.

— И когда теперь его ждать?

— А бог его знает. Может, через месяц.

— Ну ты меня обрадовал. Никаких радостей в жизни! Выпить-то у тебя хоть есть? А то солнце садится, а у нас ни в одном глазу.

— За что тебя? — спросил Зуев.

Она замолчала, опустила на пол кота. Посмотрела в окно на сумрачный двор. Встала, стянула через голову платье, подошла к нему пугающе обнаженная.

— А вот за это самое. Нравится? Помято немного, а так ничего. Правда? Ты мужик еще Зуев или нет? Ты можешь понять? За это самое, Зуев! А может, еще за что. Но главное — за это. Все за это, Зуев. Разве можно в это стрелять? Насиловать можно. Кусать можно! Грызть! Рвать на части! Кожу сдирать! Но разве можно стрелять! Зуев! Зуев! Зуев!

20

Он вывалился из сна, как падает на дорогу тяжелый камень, прорвавший мальчишеский карман. «Не теперь», — подумал Зуев. Тело показалось ему таким безвольным и бесчувственным, что, испугавшись возможного паралича, он заторопился, зашевелил пальцами, перевалился на бок и сполз коленями на пол. «Ну вот, — снова подумал. — Промотал за три дня не меньше месяца жизни. Дотяну ли теперь до яблок?» Пооборвались ниточки в груди. Не паутинка теперь, так, две или три пряди. И комочек уже не висит, а болтается, бьется о внутренности. Так что никаких резких движений. И стены как дымкой подернуты. И птичий гомон как через вату доносится. «Сдаем понемногу», — сказал себе Зуев и привалился к окну. Во дворе в лужицах ночного дождя отражалось солнце. Она, подпоясавшись грязным полотенцем, кашеварила у печки. Шкворчало масло на сковородке, подпрыгивали ломтики картошки, сипел чайник. И на секунду Зуеву показалось, что это Катя. Что это Катя, как всегда, спозаранку готовит его на работу, и ему захотелось обернуться и крикнуть: «Пашка! Вставай, а то все проспишь!» Но обернулась она. Не Катя. Она.

— Петруха! Слава богу! А я уж думала, что ты помер! Ты не шути так больше! Тут у тебя за забором шампиньоны растут! Представляешь? Пир горой намечается! Так что держи хвост морковкой, сегодня вечером ты приглашен на мой день варенья!

21

Она стояла у зеркала и рассматривала фотографии.

— А это кто?

— Катя и Павлик.

— А это?

— Это я. На целине.

— Я бы не устояла! Класс! А чуб-то какой! Гарный хлопец! А это кто?

— Это мой отец.

— Надо же. Сапоги. Пальто. Я думала, что тогда в лаптях все ходили.

— Я, бывало, надевал. Пацаном.

— Лица, жалко, не видно. Сколько у вас в роду живут?

— Как кому повезет.

— Петр, долгожительство — это вещь наследственная! По наследству передается. Может, тебе на роду написано не семьдесят два, а сто два года прожить?

— Да не довелось как-то никому до своей смерти дожить. Все помогали.

— А я и сама не хочу долго! Лучше уж быстро, но ярко! Чтобы полной чашей! Не хочу тлеть, дымить и вонять! Кому я буду нужна в семьдесят два года?! Кому ты нужен в свои семьдесят два?

— Не знаю. Вот разве тебе… пригодился.

— Мне? Подарили хромому клюшку в обмен на кислородную подушку! Мы с тобой не пара. Со здоровьем у нас с тобой, Михалыч, неважняк!

— У тебя есть хоть где жить?

— А это где угодно. Были бы деньги!

— Хочешь — живи здесь.

— У тебя таких денег, Петруха, нет. А бесплатно? Я же не Армия спасения. И куда же я тебя дену?

— А куда меня девать… Все туда же. Мне уж недолго осталось.

— Нет уж, Петя. Копти себе небо дальше! Ты же вроде как не куришь? Завидная партия! Я ведь твоя должница, если не прихлопнут, так телевизор тебе из города пришлю. На батарейках. А то ты тут совсем одичаешь!

— А чего там хорошего, в телевизоре-то?

— Хорошего? — обернулась она. — Хорошего мало. Зато как посмотришь или послушаешь, своя жизнь лучше кажется. Или наоборот. Ты вот к смерти готовишься, а зря. К жизни надо готовиться. Смерть и так придет, готовься или не готовься. Придет — и все. Хорошо, если во сне. А если заживо будет пожирать, рвать по кусочкам?!

На глазах у нее заблестели слезы. Она замолчала, посмотрела в окно.

— Что-то я совсем у тебя разнюнилась. А ведь когда-то Железкой звали. Ну что, Зуев, прошу за стол. Только переоденься, не жмись. Праздник все-таки. Поторжественней, поторжественней!

22

Зуев стоял в сенях и смотрел на синий костюм, пошитый почти полвека назад к какому-то там Дню механизатора и надетый им всего пару раз. Думал, что на Пашкину свадьбу пригодится, а пригодился на похороны. На собственные похороны. Вот только не предполагал, что сам себя одевать будет.

Падал тусклый свет через пыльное стекло под потолком. Тянуло неприятным сквозняком. Пахло пылью и плесенью. Вот и дом его умирает. Зуев застегнул пиджак. Вытянул руки. Осмотрел себя, насколько позволяла негнущаяся шея. Эх, как время-то его

скрутило! Размера два потерял! Ведь мал был костюм-то, а теперь мешком висит! Ну ничего. Велик — не мал. Может, разнесет еще перед смертью. Он сунул босые, обвитые синими трещинами вен ноги в галоши и открыл дверь в дом.

— Ну! Что ты будешь делать! Эх! Побрить бы тебя да причесать!

Она вскочила с места, взяла его за руку и подвела к выдвинутому на центр комнаты «столу».

— Садись, мил друг! Гостем будешь! Вот картошечка золотая! Вот грибочки жареные! Французские из русской глухомани! Вот подливочка грибная! Салатик из всякой травы! А вот и оно! Ну что, Петруха, утаить хотел?

Она водрузила на стол бутыль.

— Ты зла на меня не держи! Я же тебе добра хочу! Скрашиваю, можно сказать, склон твоих лет! А как тут скрасишь без самогоночки, когда все хорошим только на пьяную голову кажется? Так что, вздрогнем?

Она наклонила бутыль и осторожно булькнула в большую глиняную кружку, из которой уже налила в два мутных стаканчика.

— За что пьем?

Зуев аккуратно поднял шкалик двумя пальцами и, чувствуя нереальность происходящего, пропитываясь ощущением, что он находится на собственных похоронах, закашлялся:

— Стало быть, за упокой.

— Ты что? — подняла она брови. — Какой упокой? День рождения у меня!

— Тогда за неудавшийся упокой.

— Неудавшийся… — махнула она рукой, выпила, ткнула вилкой в тарелку с грибами. — Масло у тебя кончилось, Петр. Надо двигать в сторону ближайшего сельпо! Ты что не пьешь?

— А чего пить-то? Не пил никогда, а всю жизнь как пьяный прожил.

— Для того и пьют, чтобы трезвым не быть! Дурак ты, Зуев. Я пока пьяная была, ни смерти, ничего не боялась. А как голова прояснилась, только что не обделалась! Пей, Зуев! Праздник у меня! Ты бы хоть подарил чего, что ли. Не пьешь? А я еще выпью!

Она выпила еще рюмку, бросила в рот картошку, скривилась от боли и, схватив всю кружку, сделала несколько жадных глотков. Зуев медленно поставил стаканчик, взял в руку кусок хлеба.

— А я вот пью, Зуев! — оперлась она о гроб локтями, медленно и пьяно моргнула длинными ресницами. — Пью!

— Мужика тебе надо, — сказал Зуев.

— Мужика? — усмехнулась она. — Так есть мужик! Или был. Здесь и был, три дня назад. Такого, что ли? Так он второй раз не промахнется! Что за мужики все — или сволочь, или размазня? Вот была бы я мужиком, я бы… Я бы уж не промахнулась! Зуев! Выпей со мной! Хочешь, я на колени встану? Я все могу, Зуев! А?

Она упала на колени и поползла, поползла вокруг стола живой пьяной змеей молодой плоти, и Зуев, спасаясь от этой змеи, взял стаканчик и, опрокинув обжигающую жидкость в полумертвое нутро, начал подниматься, цепляясь за скатерть и сгребая со стола тарелки и чашки.

— Ну ты, Зуев, молоток!

Она придержала скатерть и, обдав запахом влажного женского тела и самогона, поймала его, валящегося в пустоту гнилым бревном.

— Куда собрался-то, праздник в самом разгаре?

— Надо мне, — чувствуя пробивающий холодный пот, ответил Зуев, — во двор мне надо.

— А подарок? Что ж ты, мужик? Не обижай!

Зуев вытащил из кармана кулак и разжал в ее ладонь. Звякнули друг об друга желтая гильза и серая пуля.

— Зуев! — закричала она вслед. — Это не твой подарок, Зуев! Не твой это подарок!

23

Он сидел у родника до темноты. Мысли путались в голове. Но думать ни о чем не хотелось. Сердца в груди не было. Зуев гладил себя по ребрам, но ничего не отзывалось оттуда. Может, это уже смерть? Но смерть не такая! Тысячи раз он видел смерть! И вкус, и цвет, и запах у смерти другой! А может, он и не должен чувствовать? Так горит же глотка от этой дури! Яблочка бы сейчас! Желтого на просвет! Теплого от осеннего солнца! Сладкого, со слабым привкусом аниса! Лизнуть его, бросить в чай, положить под подушку! Запах его глотать! Высыпать лукошко на пол! Нарезать, разложить на газеты на противнях, задохнуться в аромате!

Заунывно загудел забравшийся от отчаянья в ухо измученный комар. Зуев опустил ладони в воду и, поймав лоскут холодного зеркала, выпил. Жжение утихло. Он посмотрел на руки, блеснувшие каплями в вечерних просветах между осинами. Что ж, идти надо. Где ж ты, Пашка? Что ж ты так? Что ж ты так со мной? Какая там смерть? Давно он уже умер. Вместе с Пашкой и умер. За день до того письма, в котором Пашка адрес прислать обещал. Умер, когда проснулся ночью в пустой избе от родного голоса, от

дикой боли в сердце, от слез, хлынувших по щекам, от пустоты. Тогда он умер. Двадцать лет уже как умер. Просто забыт тут всеми, кроме…

24

Он уже думал, что все. Что боли больше не будет. Что съедет он в пустоту мягко и бесшумно, как скрываются в тумане деревья, когда едешь рано утром на лошади на покос, и солнца еще нет, но ночь уже тает, и деревья, как великаны, бесшумно выныривают и так же бесшумно ныряют обратно в туман распятыми силуэтами. Он думал, что все, когда увидел эти обгорелые листки. Он думал, что все, но сердце ожило и загорелось, как кусок сухого тающего спирта, когда он увидел эти слова на обгорелых обрывках: «У меня все хорошо. В отпуск приехать не получится, но командир зачитал перед строем благодарственное письмо, так что скоро мама будет радоваться, а там уже и недолго…» Что ж ты. Что ж ты. Нашла чем растапливать!

Он замер посередине вдруг показавшегося огромным двора, прижал к лицу обгорелые обрывки, поцеловал их, сложил, спрятал к сердцу и пошел к дому. Как же далеко идти! Какая тяжелая дверь! Навалился всем телом и, едва не упав внутрь, вошел. В доме было светло. Посередине комнаты стоял окруженный горящими свечами гроб, а в гробу лежала она. Бледное побитое лицо. Сложенные руки. Почти как Катя. Только у нее пятна не от ударов, а от болезни были. Так ей яблочка хотелось!

— Зуев!

Она села, бросила в сторону огарок свечи.

— Тебя только за смертью посылать! Уже и шутки никакие не катят! Где ты лазил? Ты чего меня бросил? Спать собрался? Вот это финиш! Ничего себе праздничек удался, не все гости остались на десерт, но все расползлись по домам за полночь и мертвецки пьяные. Зуев!

Зуев задержал дыхание, повалился на кровать, лег на спину, закрыл глаза, а когда открыл, увидел грязный потолок, шевелящийся от огоньков свечей, и ее тень. Ну вот, вдох. Что ж ты так бьешься, сердце. Тише, тише. Он медленно сунул руку во внутренний карман и нащупал обгорелые листки. Тише, тише. Все хорошо. Я с тобой, Паша. Тише. Я скоро.

— Зуев. Петр Михайлович. Дай денег в долг. Я знаю, у тебя есть. Мне много не надо. Всего лишь долларов пятьдесят. На время. Мне до города добраться только, а там уж как-нибудь. Зуев! Ты слышишь меня, Зуев?

— Слышу, — ответил Зуев, или это ему показалось, что он ответил?

— Зуев! Не молчи! Мне ничего не надо от тебя, только деньги в долг. Вот эти. Вот, видишь? Не молчи, Зуев!

— Катя? Это ты, Катя? Почему у тебя такое грустное лицо? Не молчи. Катя! Прости, что Пашку не уберег! Прости, Катя!

— Зуев! Мне денег… Не молчи, Зуев! Зуев! Подъем! Подъем, Зуев! Зуев! Подъем!..

Бабушкин чай

Известный мне рецепт хорошего чая прост, но следовать ему практически невозможно. Нужные ингредиенты развеяны по ветру и по времени, да и само время стало иным, сменило краски и вкус. Остались только воспоминания. К примеру, для приготовления настоящего деревенского летнего чая потребуется следующее: старый деревянный дом с печкой, фаянсовый чайник, нагретый солнцем подоконник и буханка хлеба на нем, кипяток, индийский чай в мягкой пачке со слоном, который тут же пересыпается в жестяную банку с обрубленной чайной ложкой, кипяток из большого эмалированного чайника, веточка мяты (по желанию) или лимон и бабушка. Главным в данном списке, конечно же, является бабушка, поскольку все остальные составные части зависят именно от бабушки и подчиняются только ей. Старый деревянный дом сияет чистотой и свежестью благодаря бабушке, фаянсовый чайник продолжает жить, несмотря на щербину на крышке, благодаря бабушке, и даже хлеб заполняет тесную кухню душистым запахом только потому, что бабушка выставила его под солнечные лучи. Мы толчемся под острыми бабушкиными локтями, кромсаем душистый хлеб, посыпаем его солью, натираем глянцевую корочку чесноком и ждем рождения чая. Брат Сашка украдкой плюет на рыжий чугун печной плиты, смотрит, как слюна сворачивается в белесые комочки и вздыхает: бабушкиных пирогов и плюшек, за которыми от противня тянутся коричневые нитки сахара, сегодня не будет. Что ж, зато есть затвердевшие конфеты «Коровка», неровный кусковой сахар и чай. Поспевает, как говорит бабушка.

Она ополаскивает фаянсовый чайник кипятком и достает древнюю жестянку. Открывает скошенными

ревматизмом пальцами одну за другой две ее крышки и ловит обрубок чайной ложки. Чаинки сыплются в горячий фаянс с тихим шелестом, в воздух взмывает эмалированный чайник и исторгает через длинный изогнутый носик упругую струю кипятка. Мы в нетерпении, но заварочный чайник наполняется наполовину и, накрытый тряпицей, отправляется на край плиты. Сахарница уже открыта, чашки стоят на блюдцах, чайные ложки зажаты в кулаках и даже зубах. Сашка приносит из сеней плошку, в которой плавает кусок масла, и пытается отрезать от него кусок прямо в воде. Бабушка тут как тут. Масло оказывается на тарелочке, чайник доливается кипятком доверху, еще несколько минут, и кипяток смешивается с заваркой уже в наших чашках. Прямо в густой аромат плюхаются кубики сахара. Гремят чайные ложки. Наклоняются чашки, и нестерпимо горячий чай разливается в блюдца. Исцарапанные физиономии приникают к покрытому клеенкой столу, и раздается старательное выдувание и счастливое хлюпанье. Я кладу кусок сахара в блюдце и смотрю, как он истаивает, подобно леднику, занесенному неведомым течением в теплое море. Мы «чайпием». Вся жизнь впереди.

Как это все повторить?

Где отыскать черные щипчики, которыми сахар дробился на крохотные осколки?

Куда сгинул знающий все секреты чаеделия фаянсовый чайник?

И куда все-таки делась бабушка?

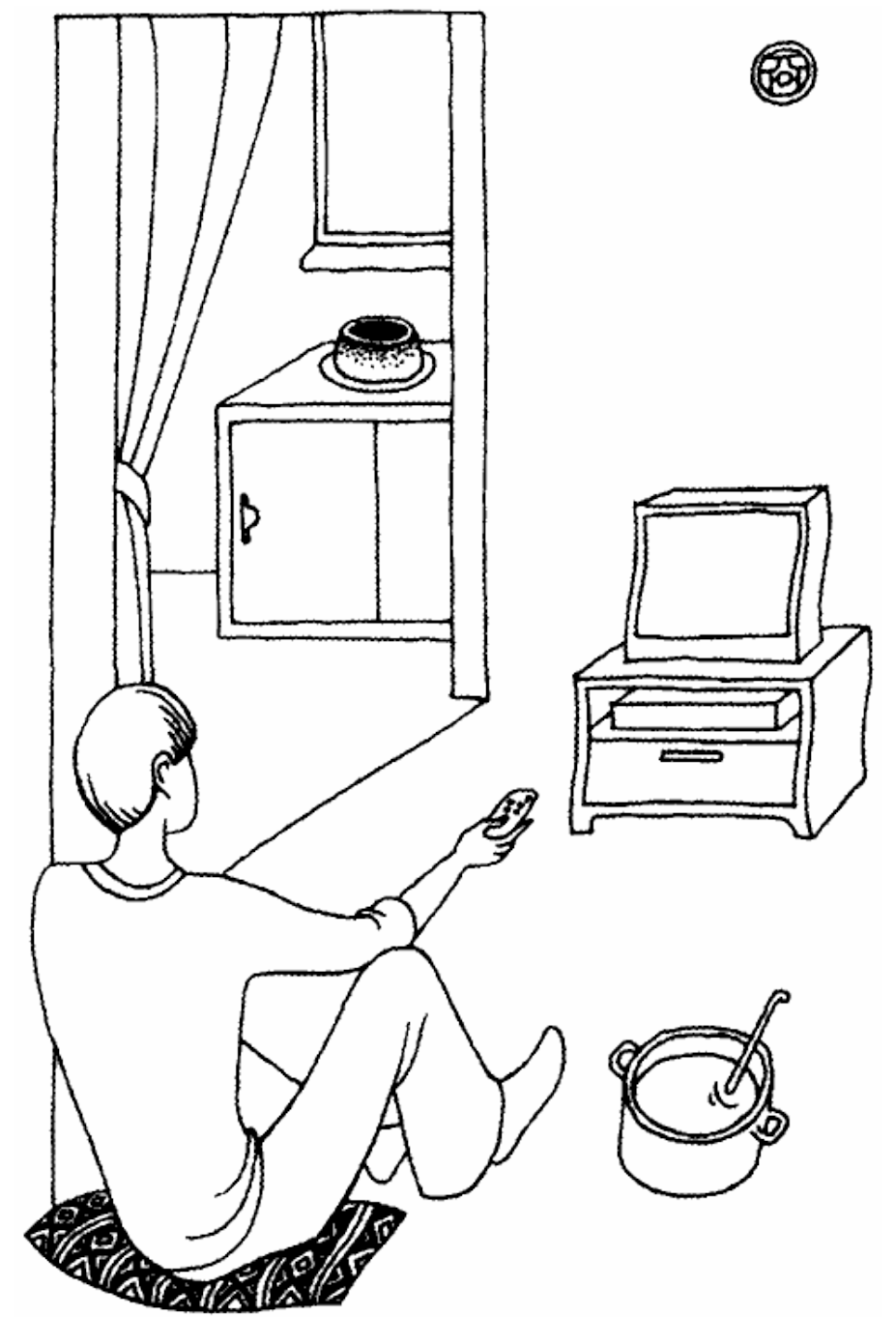
Кроме шуток!

Я вспоминаю волшебный вкус чая, который мне так никогда и не удалось повторить, и думаю, что настоящий секрет его заварки бабушка не открыла даже нам. Не о нем ли она плакала, когда ходила по полю между оставшимися от ее родной снесенной деревни липами и говорила, говорила, говорила… Где и кто жил и куда делся…

Мы насыпаем в миску соду и с тряпками отправляемся во двор начищать самовар, потому что завтра день рождения бабушки, она ждет гостей, а чай из самовара еще вкусней, чем из эмалированного чайника. Затем помогаем вымести из избы густо рассыпанную по полу зеленую траву, которая оставляет после себя свежесть и чистоту. Затем отправляемся с ведрами на

колонку. А бабушка расправляет потрескавшимся ногтем чайную фольгу и прячет ее в шкаф. Там уже толстая пачка таких же листов. Бабушка мечтает оклеить фольгой хотя бы одну комнату. Чтобы блестело.

Виктория Головинская



Один дома в воскресенье

Весь день шел дождь, и Сашка поэтому не гулял, а только стоял и смотрел из окна на двор. Там никого не было, лишь выбежал из своего «запорожца» Пал Саныч и торопливо прошлепал в подъезд. Да кошка, съежившись, сидела под качелями на песке. А качели протекали, наверно; там одна дощечка отходила, Сашка знал.

Мамы дома не было. Сегодня она собиралась особенно тщательно, по сто раз перекрашивала губы и меняла платья. Подбегала к Сашке, выдыхала: «Ну как?» Сашка солидно кивал, правда, с разной интонацией.

Ушла она в сиреневом, кисельном.

Кисель Сашка уважал. На кастрюле со смородиновым и батоне хлеба мог преспокойно прожить день.

Сегодня был даже не смородиновый — лучше: вишневый. И хлеб был свежий, хрустящий, с целыми горбушками. Но почему-то не хотелось.

Сашка неторопливо слез с подоконника и отправился в ванную. Там постоял задумчиво над раковиной, потрогал зачем-то флакон с маминым шампунем, плюнул в унитаз и сел на кафель.

Очень хотелось плакать.

Но Сашка не стал. Повозив по полу грязным пальцем, он поднялся и пошел к телевизору. Мама оставила ему две кассеты, одна была с каким-то скучным фильмом, Сашка начал его смотреть еще вчера, но заснул под длинные разговоры. На второй были новые мультики.

Сашка выудил кассету из коробки, вставил в магнитофон и уселся перед телевизором на пол. Но как он ни щелкал ленивчиком, что-то там не включалось, не получалось. Сашка с досады чуть снова не плюнул, но вспомнил, как мама ругалась на грязный ковер, и не стал.

Вместо этого полистал программы. В одной серьезные лица рассуждали о чем-то очень умном, в другой тетенька с ненастоящей улыбкой рассказывала про то, как вернуть мужа. Сашка хмыкнул. Как кого-то вернуть, он знал точно: надо просто сильно ждать. Вот мама же обязательно сегодня вернется. Тетеньку слушать было незачем.

А на третьей программе Сашка остановился. Там веселый бородатый мужик раскладывал на столе молоко, муку, яйца и еще что-то, Сашка не разглядел. Но заинтересовался. Бородатый мужик явно собирался готовить. Мама тоже, когда приходила из магазина, так раскладывала на скатерти кухонного стола продукты, разные полезные вещи: творог и морковку, кефир всякий и что-нибудь вкусненькое для Сашки. Правда, вкусненькое

она приносила не каждый раз — забывала, наверное.

Бородатый мужик готовил пирог. Сашка это сразу понял, не в первый раз видит. Он смешал все, что выложил на стол, вылил в маленькую мисочку и пристроил ее в духовку. Сашка с интересом наблюдал. Пирог вообще-то долго печется. Что теперь мужик станет делать? Сашка иногда смотрел через стеклышко духовки, как тестяное тельце коричневеет, как растет на нем корочка… Наверно, мужик тоже усядется на корточки и станет наблюдать. Ну, это дело долгое.

Сашка решил пока сбегать на кухню перекусить. Выудил кастрюльку из холодильника, дотянулся до хлебницы, отломил горбушку пошире. С полбатона примерно. Присел на табуретку с кастрюлькой на коленях. Этот кисель отдавал чем-то сонным и немножко духами — мама, видно, доваривала его, уже нарядившись.

Поев, Сашка подобрел. А мама ведь любит пироги. Только печет их редко, говорит, времени не хватает. А у Сашки же целый день, ну то есть не целый, но еще больше половинки осталось. И на кисель хватило, и на пирог может хватить. И бородатый мужик в телевизоре так понятно рассказывал. Свой пирог он давно уж съел, наверное.

Сашка решительно поднялся с табуретки.

…Стемнело. Сашка обвел глазами кухню. На полу около раковины громоздились две мисочки и кастрюлька из-под киселя. Стол, пол и чуть-чуть подоконник были припорошены тонким белым слоем. Занавески немножко запачкались черным, когда он ненадолго забыл про пирог в духовке. Зато теперь пирог стоял на столе, не очень, правда, ровный и не очень румяный. Ну то есть с одного бока не очень. С другого-то наоборот, немножко чересчур.

«А вообще очень даже красиво получилось», — выдохнул про себя Сашка.

Он немножко подумал и спрятал пирог в хлебницу. А то мама раньше времени обрадуется.

Потом Сашка лежал в темной комнате рядом с диваном и тихонько гладил меховую подушку.

Когда Сашка был совсем маленький, он боялся оставаться один в темноте. Не темноты он боялся, а очень даже конкретной штуки: черепа со светящимися глазницами. Он как-то слышал про это, то ли по телевизору, то ли от взрослых. Потом мама объяснила ему, что так не бывает. Сашка, конечно, поверил. Но все равно не забыл. Иногда в темноте кажется, что вот-вот появится в углу комнаты костяное, страшное и полыхнет двумя огненными лучами.

Где-то в полночь тихо хрустнуло в двери. Сашка вмиг проснулся, прислушался и вылетел в прихожую.

На пороге стояла мама. Сашка подбежал и обнял ее крепко-крепко.

Она устало улыбнулась, опустила сумочку на пол и сказала почему-то шепотом:

— Ну здравствуй, Сашка. Ты чего не спишь? Завтра же на работу рано.

— Ничего, мам, я завтра отгул возьму. Пал Саныч подменит, я вон сколько раз за него выходил. Пойдем чаю попьем, а? Я пирог испек.

И они вдвоем отправились на кухню.

Рецепт чая к домашнему пирогу

Бывают дома, где чай пьют, заваривая прямо в кружке и вытряхивая потом неаппетитные комки листьев кто куда (раковина опять забилась, сссемейка, вашу так!).

Бывают дома, где чай пьют из большого чайника, собираясь за столом все вместе сразу после ужина (нет, я сказал, на концерт не пойдешь, семья важнее, ну пааап! про себя — ненавижу).

Бывают дома, где чай заваривают раз в неделю, а потом плешут каждому на донышко мутноватой желтой жидкости и доливают кипятком (нет, спасибо, не стоит беспокоиться, мне, мм, правда не хочется, мм, пить).

А бывают дома, где у каждого — свой маленький стеклянный чайничек и целая полка чаев (тебе сегодня какой? А я со смородиной купил. Ага, заварю).

Для спокойного чаепития с домашним пирогом все это не годится.

А нужно так:

Когда тот, кого вы долго ждали, наконец пришел домой, надо немедля ставить на огонь чайник с отстоявшейся за время его отсутствия водой; на очень долгое ожидание этот рецепт не рассчитан — иначе вода будет изрядно горчить, на воде, стоявшей слишком долго, полагается варить «кофе для Одиссея», черный.

Улыбайтесь и не хмурьтесь — так вода закипит быстрее. Когда на поверхности воды появятся белые пузырьки, достаньте с буфетной полки бабушкин заварочный чайник, обдайте его кипятком, положите горсточку заварки, покатайте ее внутри — чтобы чаинки

перезнакомились. Залейте тоненькой струйкой сперва на палец, накройте крышкой и сосчитайте до пяти. Потом — на два пальца, снова крышкой и до десяти. А потом — до самого верха.

Расставляйте тарелочки и чашки, доставайте пирог — а там и чай настоится. Чтобы он вышел хорошим, удержитесь от упреков («где ты был», «почему так долго») — от этого физиономии и блюда киснут.

Подавать с пирогом и долгими разговорами о приятных пустяках: о сегодняшнем дне, о том, как кошка ловила свой хвост, о приснившемся лете — знаешь, запах нагретой земли и малины, сладко.

Пить с наслаждением, не торопясь, помня, что завтра суббота, не нужно рано вставать и впереди еще очень, очень много времени.

Н. Крайнер

Сказка про поиски счастья

Жил-был человек, который, как и многие другие, очень хотел найти в этой жизни счастье. А еще лучше не только в этой, но и в нескольких последующих, чтобы потом время попусту не растрачивать. Человек, как и полагается всякому социальному существу, перво-наперво пошел ко всем своим друзьям и знакомым и начал спрашивать у них, как бы ему счастье найти. Но его друзья и знакомые были в большинстве своем достаточно мудрыми людьми и все как один говорили, что никакого счастья на самом деле нет, есть покой, воля и горячий чай в холодную погоду. А больше нет совсем ничего. Но человек качал головой и говорил: «Нет, про счастье столько пишут и говорят, значит, где-то оно все-таки должно быть». Друзья и знакомые только пожимали плечами, ведь те, кого читали и слушали они, ни про какое счастье не писали и не говорили.

Те друзья, которым не хватало мудрости на покой, волю и горячий чай, советовали человеку найти себе любовь и жить с ней до скончания века. В этом, говорили, и заключено настоящее счастье. Но человек опять качал головой. «Мне совсем не нужно что-то, во что счастье заключено. Мне нужно оно само, в чистом виде». И ему вслед опять качали головами.

Человек уже собирался было пуститься на поиски счастья, как и полагается всякому нормальному ищущему. Ему так и виделось, как он будет переплывать моря и океаны, проходить тридевятые и тридесятые земли и расспрашивать всех. А потом какой-нибудь умирающий мудрец откроет ему величайший секрет бытия — расскажет, где же все-таки можно найти счастье. Но в самый неподходящий момент, когда уже и вещи были собраны, и билеты куплены, человек вдруг заболел. Гриппом. Самым обычным. И ему пришлось отложить поездку, чтобы валяться дома, кушать таблетки и с ненавистью смотреть на градусник. И как-то раз, когда температура была особенно высокой, а жизнь казалась особо отвратительной, человеку примерещился суслик. Самый обычный суслик. Он печально посмотрел на человека и сказал: «Хватит страдать фигней. Счастье твое настолько близко, что ты его уже почти раздавил».

Когда человек выздоровел, он долго думал над словами суслика. Потом начал планомерно обыскивать свою квартиру. Он все понимал очень буквально. В своей квартире он неожиданно обнаружил старые санки, бутылку коньяка и письмо от девочки, с которой они когда-то вместе были в пионерском лагере. Человек решил, что с помощью этих предметов он точно найдет счастье, раз уж они неожиданно в его квартире нашлись, и начал действовать. Он выпил коньяк, прочитал письмо от девочки из пионерского лагеря и, прихватив санки, пошел кататься с горки,

благо парк рядом был. Съехав с горки, он угодил головой в сугроб, протрезвел и отправился обратно домой, поняв, что суслик его скорее всего обманул.

Он снова купил билеты, снова собрал вещи и даже уже почти вышел из дома, но тут ему снова примерещился суслик. Он был еще печальнее, чем в прошлый раз. Суслик сказал: «Что-то я сомневаюсь, что такой дурак, как ты, вообще в состоянии найти счастье». И исчез, конечно же. Человек очень расстроился, но на вокзал все-таки поехал. А там стоит дяденька в шапке, прямо у входа, и громко объявляет: «Поезд для ищущих счастья стоит на пятом пути. Посадка начинается через пять минут. Просьба не опаздывать». Человек тут же перестал расстраиваться, решил, что он все делает правильно, и пошел искать пятый путь. А там и правда поезд стоит. И еще там стоит куча людей, и у всех на лицах написано, что им счастье нужно, единственное и неповторимое. И они друг с другом общаются, делятся успехами. Ну, человек их, разумеется, и спросил, не мерещился ли им говорящий суслик. Тут люди все насторожились и стали на человека нехорошо смотреть. Только один все-таки сказал: «Знаешь, у одного странного, давно уже исчезнувшего народа было такое поверье, что счастье очень не хочет, чтобы его кто-нибудь нашел. И иногда оно превращается во что-нибудь и отговаривает людей от поисков. Так что ты просто свое счастье видел». «А почему суслик?» — спросил человек. «Ну, у каждого же свое счастье», — ответили ему.

Человек призадумался, конечно, но все-таки решил довести задуманное до конца и сел в поезд. Поезд ехал долго, все со всеми успели перезнакомиться, пожаловаться на жизнь и отсутствие в ней счастья, выпить много горячего чая и коньяка и вспомнить все пионерские лагеря, в которые им доводилось ездить. Однако счастливее от этого, конечно же, никто не стал.

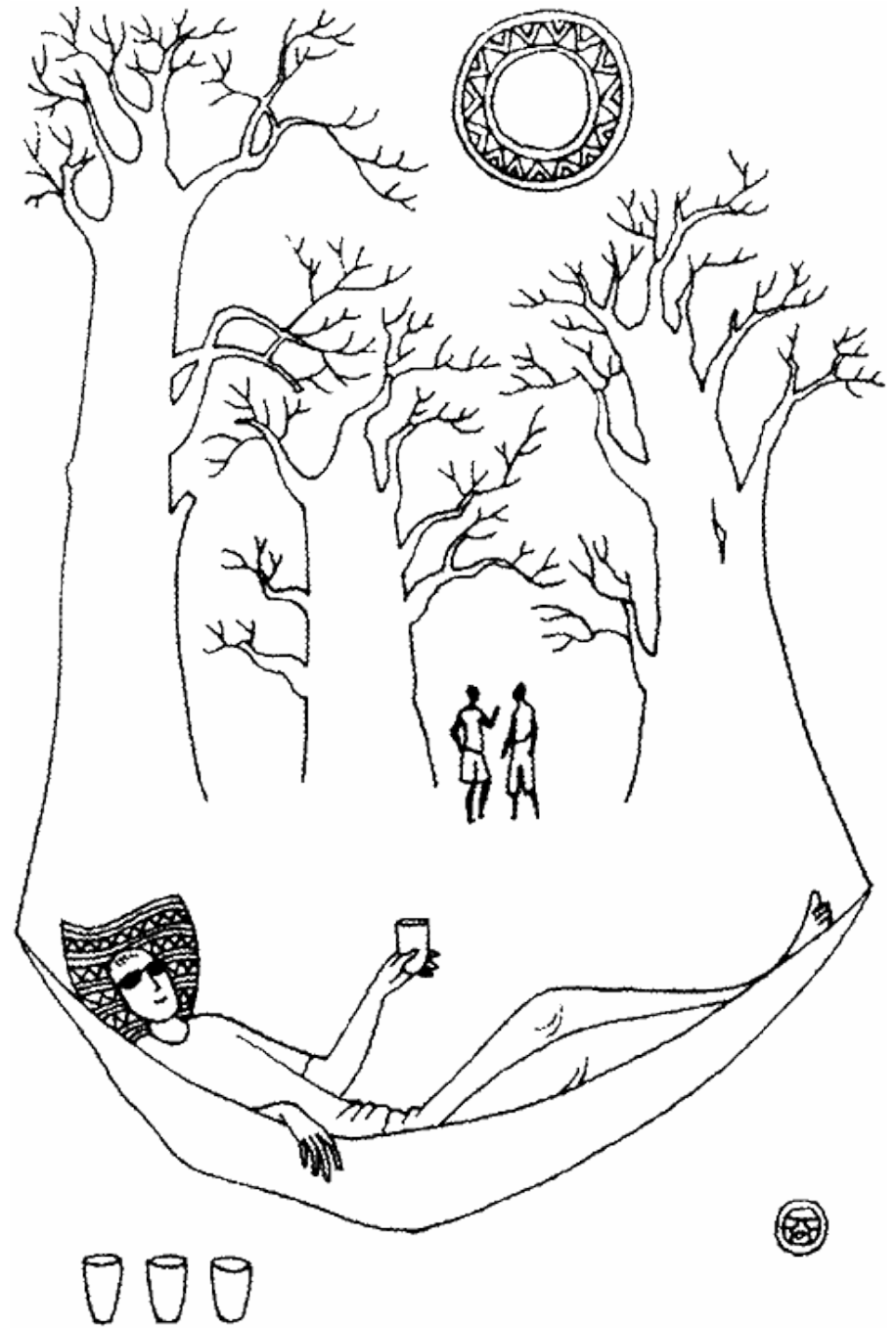
Когда поезд наконец приехал туда, куда ему положено, все люди сразу стали очень серьезными. Они похватали вещи и стали выходить на перрон. На перроне их встречали всякие разные существа. Кого-то девушка прекрасная, кого-то чудище жуткое, кого-то просто его двойник. А человека встречал маленький печальный суслик. «Ну что, счастлив?» — спросил суслик. «Пожалуй», — ответил человек, взял суслика под мышку и отправился за обратным билетом.

Чай «Ностальгический, бесполезный»

«Twining's Lady Grey», можно россыпью, можно пакетированный, заварить, понюхать, вспомнить, как

шлялись где-то в районе Парка культуры, нашли магазин с чаем, и там тебе объясняли, что бергамот и цитрус и какие-то еще синие цветочки, что надо обязательно попробовать. Сделать пару глотков, понять, что чай — вот он, здесь, и человек тот самый, тоже здесь, рядом, но дело почему-то совсем не в чае и не в Парке культуры, в районе которого уже давно не работаешь и не гуляешь. А то, в чем оно, это самое дело, даже в жестяной банке лучшего россыпного чая не найдешь. Оставить чай остывать на столе, уйти искать, в чем же, собственно, дело, не возвращаться.

Константин Наумов



Attaya

В Сенегале, и, надо сказать, не только в Сенегале, по всей Западной Африке пьют *attaya*, местный чай, густой и пенистый, его разливают на каждом углу. Низкие столики на улице, прозрачные плохо отмытые стаканы или крошечные пластиковые стаканчики. Водители бесчисленных такси допивают один и тут же идут за другим. *Attaya*, если верить путеводителю, — очень крепкий чай, по содержанию кофеина и его аналогов превосходит любой кофе, именно поэтому, как настоящий кофеиновый наркоман, я не мог его не попробовать. Пить на улице было страшно, несмотря на принимаемые регулярно противомалярийные препараты, — от расстройства желудка они, конечно, не спасли бы. Я дождался посещения дорогого ресторана местной кухни.

«Простите, это сенегальский чай?» — спросил я официантку с подносом, уставленным мелкими стаканчиками. «Да», — ответила она и побежала дальше. Во время второго захода мне удалось остановить ее еще раз: «Он называется *attaya*, правильно? Я хочу попробовать». Официантка мило кивнула и сбежала в другой угол зала. Я периодически посматривал на нее, она делала большие глаза — на черном лице ярко вспыхивали белки — и отворачивалась. Когда я полностью уверился, что просьба о чашке чая, обращенная к женщине, в этой культуре — нечто не совсем приличное, ко мне подошел метрдотель. «Сэр, — сказал он, — эта женщина. Она сказала, что вы просили принести местный чай». Он высоко поднял брови, чтобы подчеркнуть абсурдность такой возможности. «Да, — осторожно согласился я, — я просил принести *attaya*». Мэтр задумался, потом потряс головой. «Нет, — сказал он уверенно, — *attaya* — это местный чай. Сенегальский». Он приятно улыбался, но мне уже надоела эта игра. «Просто принесите мне этот *attaya*. Сенегальский чай. Чашку». Мэтр покорно и молча удалился, подъяв брови еще выше. Потом *attaya* принесли на соседний столик. Потом — через стол от меня. Сенегальцы пили *attaya* походя, не смакуя. Разве так надо пить *attaya*? Мне страшно хотелось попробовать, наконец. Я бы не глотал его не глядя. Вслушивался бы в букет, находил оттенки, жмурился. Когда решимость встать и идти на кухню — ругаться — окрепла окончательно, из-за ширмы вышел официант. На подносе был маленький, хорошо узнаваемый прозрачный стакан с attaya. Официант сделал два шага вперед и остановился; за его плечом немедленно явился мэтр, решительно указывающий в сторону нашего столика. Официант заметно вздохнул и двинулся к нам. «Вот, сэр, — он поставил чашку на столик, — *attaya*, сэр. Это…» «Знаю, — перебил я, — местный сенегальский

чай. Спасибо». Официант со вздохом исчез, а я осторожно взял маленький прозрачный стакан кончиками пальцев. Взял и немедленно поставил обратно: *attaya* был чрезвычайно, обжигающе горяч; он пах тропиками. Я перехватил стакан выше уровня жидкости и понюхал. В тропические нотки вкрался запах переваренного чая советской столовой. Я сделал глоток. За свою жизнь мне приходилось пить разный чай: я люблю выдержанный *pu-erh*, мне наливали *masālā chāy* в предгорной деревеньке за двести километров от Джайпура, на молоке, с солью и специями Kerala — густой, как сливки. По сравнению с африканским, даже то творение индийских мастеров было жидкой водичкой. Никаких оттенков у этого вкуса не было: судя по всему, чай долго кипятили; кроме того, он был очень сладкий, мутный и густой, мята и местные специи тоже внесли свою лепту. Я сделал еще пару глотков. Послевкусие длилось и длилось. На поверхности тихонько лопались пузырьки коричневой пены. Размышляя над разницей между воображаемым и наличным, я медленно допил горькую муть: кофеина на самом деле было много. Официант принес счет, с удивлением обнаружил пустую чашку и тревожно посмотрел на меня. Кофеин действовал, настроение стремительно улучшалось; я пока не ронял предметы, даже не хихикал, но был вполне готов широко улыбаться официанту и злоупотреблять чаевыми. В счете *attaya* не было. Наверное, забыли.

На следующий день за завтраком я поймал себя на равнодушии к кофейнику, зато глаза сами пристально следили за официантами, разносящими маленькие прозрачные стаканчики с мутным содержимым. В этот раз официант принес мне *attaya* моментально и безо всяких вопросов, и в счете чай тоже был — не очень дорого, но и не бесплатно. По наклонной катиться легко и просто: скоро *attaya* стало первым словом, обращаемым мной к официантам. Как и многие неофиты, я был куда святее папы: даже сами сенегальцы не пьют свой чай так часто, как пил его я. Через неделю я мог уверенно обсуждать не только качество *attaya* в разных кафе, но даже тонкие оттенки вкуса разных сортов мяты и нюансы заварки.

Мы улетали, в шумном душном аэропорту улыбчивый бармен налил мне первую чашку эспрессо за последние недели. Над витриной с жевательными резинками тянулся ряд баночек, совсем маленьких, игрушечных, — в моем детстве в таких выпускали противное овощное пюре. Баночки слева от меня были желтые, справа — зеленые. «Желтые слева — имбирный лимонад», — ответил бармен. «А зеленые справа — это такой

сенегальский чай, *attaya*, знаете?» *One side will make you grow taller, and the other side will make you grow shorter, Alice*.

Я сидел в липком пластиковом кресле, сжимая сувенирную баночку в руке. Вокруг все еще была Африка: яркая одежда, открытые лица, множество детей. Пряные запахи черной кожи. Кондиционер не работал, рейс задерживался на час, но час по африканским меркам — это даже не задержка, на табло светился статус «посадка на борт», хотя самолет, на котором нам предстояло улететь, еще не прилетел. Холодная баночка в руках, после пережаренного эспрессо хотелось пить, но открывать ее я не собирался. Пусть займет свое место на полке рядом с компьютером: я буду переставлять ее, ища нужный диск, стану складывать на нее скрепки. Кусочек Африки, терпкий чай с мятным запахом, — приятная зависимость всего на пару недель. Вертя баночку в руках, я понял — вообще силен именно задним умом, — конечно, никто не забыл включить в счет *attaya* тем первым днем, когда я его попробовал. Я проходил это не раз и не два: первая доза всегда и всюду полагается бесплатно.

Соседские дети заорали одновременно, перекрывая шум двигателей: за окном, красиво затмевая баобабы на окраине аэродрома, садился наш «боинг».

Мы прилетели в зиму: стояли рекордные для города морозы; баночка с *attaya* заняла место на полке с монитором.

Немедленная реакция русскоговорящего человека на рассказы об Африке весьма предсказуема. Вне зависимости от пола и возраста собеседника вы непременно услышите, что: «В Африке разбойник, в Африке злодей» — вкупе с категорическим требованием не ходить в Африку гулять; это сработало даже с крайне уважаемым мною пожилым профессором. Ему удавалось сдерживаться в начале разговора, но детский стишок пробивался изнутри, — не в силах терпеть, он начал выстукивать по столу бодренький ритм: «В Африке бааальшие злые кра-ка-ди-лы». Фотографии с носорогом пользовались большим успехом, еще большим успехом — правдивый, чуть приукрашенный рассказ о том, как побелел от ужаса наш гид, когда я выскочил из машины, чтобы сделать эти кадры. Рассказывая о местной кухне, attaya я опускал: слишком личное переживание.

Африке суждено было остаться воспоминанием: «Может быть, через пару лет мы слетаем в Кению, посмотреть зверей саванны, знаете?»

Я сдался через неделю — позвонил своему бывшему ооновскому шефу. Она понятливая дама, так что в предисловиях не было нужды. «Хочу работать в Африке, — сказал я, — лучше в Западной, но Кения тоже пойдет». Мы помолчали. «Странно, — ответила мне трубка, — обычно Африкой болеют люди либо старше тебя, в пенсионные годы, либо младше, когда побольше задора. Кроме того, в Западную Африку эксперты твоего профиля не очень-то нужны». Мы еще помолчали. «Ладно, подумаю», — сказала наконец трубка, оттуда запели короткие гудки. Я снял с полки жестянку attaya и поставил на это место телефон; открываясь, баночка зашипела, и резко запахло мятой. Сладкий, мутный и густой, даже холодный, из консервной банки, то был attaya; он пах тропиками. Телефон зазвонил: «Это будет не просто, но это возможно. Лететь нужно в пятницу, у тебя три дня, чтобы подписать контракт и сделать прививки, — сказала трубка, — записывай». Я прилежно записывал: предстоял длинный ряд хитрых шагов, выполненные в точности, эти инструкции неизбежно приведут меня в Африку; не просто — еще бы! Я проходил это не раз и не два: только первая доза всегда и всюду полагается бесплатно; это относится, как теперь ясно, и к Африке тоже. Первый пункт инструкции звучал как строчка из детского, времен песенки про Бармалея, «письма счастья»: «Напиши три официальных письма с запросом: в UNDP, UNAIDS и в наш центральный офис». Пустая баночка консервированного сенегальского чая гулко стукнулась о дно вечно пустой корзины для бумаг.

Сенегальский чай

Attaya — «сенегальский чай» — традиционный напиток в Западной Африке. Чаще всего attaya заваривают «на один раз», как зеленый чай в Азии, например, но традиционная церемония предполагает три заварки одних и тех же листьев, первая — чай самый крепкий и горький, вторая — слаще и с мятным вкусом, самая сладкая и мятная — третья. Мне цитировали сенегальскую поговорку: «Attaya — как дружба: чем дольше, тем слаще», но, принимая в своей стране заморских друзей, я выдумал так много «местных поговорок», что в эту не очень верю.

Для attaya обычно берут не самый лучший чай. Возможно, потому, что в процессе приготовления разница между хорошим и лучшим чаем неизбежно сотрется. Типичные сорта — то, что называется

китайцами «жемчужными», а британцами — «Gunpowder tea»: зеленый чай, скрученный в характерные шарики. Но, в крайнем случае, подойдет любой зеленый или даже черный (без добавок) чай. Понадобится также чайник, который можно поставить на огонь, свежая вода (мягкая или жесткая — не важно), свежие листья мяты.

Традиционный рецепт (три заварки)

ПЕРВАЯ ЗАВАРКА

В маленький чайник налить воды (объем по числу стаканов), много сахара (по вкусу, но много), чай — щедро. Поставить чайник на огонь и вскипятить смесь. Снять с огня и вылить в каждый стакан (в идеале — маленький стеклянный стакан, из похожих пьют чай в Турции, например). Переливать из стакана в стакан по кругу до тех пор, пока в каждом стакане чай не покроется пеной. Осторожно слить чай обратно в чайник, оставив пену в стакане (я придерживаю ложечкой). Вскипятить чай еще раз. Разлить обратно по стаканам и повторить фокус с переливанием, пока пена не станет обильной. Подать.

ВТОРАЯ ЗАВАРКА

Залить листья в чайнике свежей водой. Добавить мяту (свежие листья, очень щедро), вскипятить. Добавить сахар (вдвое больше, чем в первый раз), вскипятить снова, повторить процедуру с пеной из первой заварки: из стакана в стакан до пены; чай, но не пену слить в чайник, вскипятить, опять переливать из стакана в стакан, пока пена не подрастет. Теперь можно пить.

ТРЕТЬЯ ЗАВАРКА

Залить листья в чайнике водой, добавить немного свежей заварки. Добавить мяту еще щедрее, чем в заварке номер два. Вскипятить. Добавить сахар (втрое больше, чем в первой заварке), вскипятить. Повторить фокус с пеной как в первый и во второй раз. Третий и последний круг attaya готов.

Обычный рецепт (одна заварка)

Довести воду до кипения в большом чайнике. Ополоснуть кипятком чайник, где вы будете заваривать чай, налить туда воды, добавить чай, листья мяты. Дать завариться несколько минут. Добавить сахар прямо в

чайник — очень щедро. Наполнить стакан и вылить обратно в чайник — несколько раз: чтобы сахар полностью растворился. Разлить по стаканам, подавать.

Чтобы добиться пены, чай часто выливают в стаканы длинной струей, поднимая чайник дюймов на двенадцать.

* * *

Сколько раз я просил жителей и выходцев из Западной Африки научить меня готовить attaya, столько рецептов я получил. Все они были разные, и это — Африка, такая, какой я люблю ее. Поэтому названия «традиционный рецепт» или «обычный рецепт» — не более чем просто слова. Пробуйте. У вас получится.

Некод Зингер

Чай Святой земли

Извольте, отчего же не попить чайку! В поезде без чаю, пане Шолом Алейхем, с позволения сказать, чувствуешь себя пришельцем в земле чужой. Кстати, о чае. Вы не смотрите, что я такой упитанный, словно всю жизнь только и езжу, что из Житомира в Бердичев, и слезаю с этой лавки лишь затем, чтобы купить сдобную булку в вокзальном буфете. Были и в моей жизни, я вам скажу, дальние странствия… С чего же мы начали? Ах да, с чаю! Поверьте, что бы ни утверждал этот ученый господин, реб Ушер Гинцберг, который пишет статейки под именем, или, выражаясь по-новому, по-научному, под пселдонимом Ахад Га-Ам, и печатает их на денежки покойного реб Вульфа-Калмана Высоцкого в своем почтеннейшем вестнике «Га-Шилоах», одной духовной пищей жив не будешь. Конечно, Святой, благословен Он, насылал в пустыне на многострадальный народ наш, на евреев, еврейчиков и даже, с позволения сказать, на иудеев, манну с небес, но наше время — продрессивное, современное, и на такие милые чудеса простому человеку нынче полагаться не резон. Поэтому соображения Любителей Сиона, что не дурно бы и нам самим сеять да пахать (или сперва пахать, а потом уже сеять — поди знай!) на земле предков, вместо того чтобы портить зрение над книжками и шилом-дратвой среди тараканов где-нибудь в Шпикове или же, не про вас будь сказано, в Барановичах, уже смолоду сильно меня волновали.

* * *

Дело было еще до доктора Герцля с его базельским компрессом. Теперь-то всякий порядочный человек считает себя сионистом, то есть двумя целковыми, внесенными в Земельный фонд, может очистить свою совесть перед воплями и стонами своего угнетенного народа. А я вам говорю о том времени, когда до этого продресса было еще далеко. Однако такой прозорливый и совестливый человек, как реб Вульф-Калман, уже тогда умел предвидеть всю эту цибилизацию и делать соответствующие выводы. Я говорю о восемьдесят пятом году прошлого столетия, о временах императора Александра Третьего. Я только-только начинал свою службу и был отправлен из родного Гомеля к нему самому (да нет, не к императору, а к господину Высоцкому) в Москву, за товаром. Не стану вам в этот раз описывать Москву (она, как говорится, никуда со своего места не убежит), а перейду прямо к делу.

Вульф Янкелевич принял меня самолично, о чем я, признаться, и в мечтах не помышлял. Посмотрел он на меня

зорким мировоззрением и говорит:

— Вы, — говорит, — реб Нохум…

Это я-то — реб Нохум! Мальчишка еще, молочишко на губах не обсохло, — а он мне: «Реб Нохум»!

— Вы, — говорит, — реб Нохум, кажетесь мне человеком подходящим для моего замысла. Не желаете ли сопровождать меня в поездке по Эрец Исроэл?

Что зря канитель тянуть и вам, с позволения сказать, мотать нервы. Одним ему, миллионщику, известным образом справил он мне нужные документы (ему в Москве все городовые кланялись и величали Василием Яковлевичем), и уже через два месяца ступили мы на Святую землю.

Теперь так. Если вы думаете, что в те времена Святая земля была Святой землей, то я вас поздравляю! Четверть века назад это больше походило на большую бердичевскую свалку в середине лета: вонь, мухи и, не про нас будь сказано, всяческое разложение материи, как выражаются ученые господа.

Где мы только не побывали — и в Газе, где Самсон ущучил филистимлян, и в Сихеме, где сыны праотца Иакова обрезали хананеев как под гребенку. И всюду турки со своими базуками и арабы со своими кальянами. Но я вам собирался рассказать о том, что произошло в Иерусалиме.

В Иерусалиме нашего брата, сынов Иакова, мало. Кроме мусульманского народа, все больше попы разной концессии на глаза попадаются. А тут еще приезд наш на русскую Пасху пришелся — так по всему городу пруд пруди русских доходяг паломников. Оборванные, исхудавшие, видать, месяцами щей не хлебали. Турки из своих кофейных и чайных заведений выглядывают и над ними насмехаются: «Чай йок! Кофе йок!»

Совсем бессовестный народ.

Но не о них речь. Устроились мы на постоялом дворе. Днем реб Вульф-Калман отправился с провожатыми на Масличную гору могилы осматривать, а я так разморился от жары, что остался в своей комнате и задремал. Вечером мы были приглашены на торжественный прием в дом местного литовского богача и синагогального старосты Вайнгартена. Реб Вульф-Калман велел мне взять с собою один цибик чаю из тех, которые он привез из Москвы.

И вот приходим мы к этому местному богачу и усаживаемся за большой стол. Сидим богато, на венских стульях, ноги на персидском ковре, над светлыми еврейскими головами турецкий сводчатый потолок. Народ — всё евреи да иудеи, ни одного жида. Что вам сказать, хоть две тесные комнатенки этого Вайнгартена низко кланяются скромненькому двухэтажному московскому

особняку Вульфа Янкелевича о двух лестницах (одна — парадная, мраморная, с колоннами, а другая — так), всё, чем богаты, выставлено напоказ. На малиновой скатерти с подольской вышивкой стоит, весь в медалях, николаевский самовар — подарок самого реб Вульфа-Калмана. Тут же белая с золотом фарфоровая сахарница с пиленым сахаром от Аврумке Бродского (знаете ведь, как говорит Аман-Пуришкевич, чтоб ему кушать одну халу, а испражняться одной мацой: «Чай Высоцкого, сахар Бродского, и вся Россия идет по стопам графа Потоцкого»), настоящие баранки, лимоны из Яффы, засахаренные фиги, к которым в тех краях приучили наших людей выходцы из турецкой Смирны. Лица у всего святого собрания благоговейные и несколько даже подобострастные, а двое тощих любителей Сиона, бывших студентов-очкариков, не привыкших к этакому роскошеству, боязливо жмутся с краю.

Реб Вульф-Калман торжественно извлекает из кармана цибик своего лучшего чаю и под общие аплобисменты поднимает его над головой. Все ждут от него веского слова, готовясь вкусить, как говорится, мед мудрых речей его.

— Что такое чай? — спрашивает реб Вульф-Калман.

Почтительное молчание служит ему ответом. Им ли учить самого Высоцкого тому, что такое чай?! Это вроде того, как если бы вы стали учить меня тому, что такое, например, мои собственные, ни про кого не будь сказано, подштанники.

— Чай — это прежде всего вода, — отвечает сам себе реб Вульф-Калман. — А что говорят о воде наши пророки и мудрецы, да будет память их благословенна? Они говорят: «Когда бы оказались вы достойными, то сидели бы вы в Иерусалиме и пили бы воды Шилоаха, кои суть воды чистые и сладкие. Теперь же, когда оказались вы недостойными, изгнаны вы в землю Вавилонскую и пьете воды Евфрата, кои суть воды мутные и смердящие».

Есть там под стеной Старого города такой пруд, в котором мусульмане, не про нас будь сказано, ноги моют. Водичка в него, говорят, набирается из ручейка, бегущего под землей с Храмовой горы, и обладает, с медицинской точки мировоззрения, лечебными и пропилахтическими свойствами. Я медицинским наукам не обучен, а потому клясться вам в том не стану — за что купил, как говорится, за то и продаю. Да и воду я эту сырою пить не стал, пока ее не вскипятили в этом самом самоваре (я по природе своей человек брезгливый, по мне вода становится водой только после того, как вскипит в чайнике, — будь она хоть из нашей Гнилопятовки, хоть из райского источника).

— Вы же, братья наши, великой милостью Господней

вернувшиеся в Сион, — продолжает реб Вульф-Калман, — снова удостоились пить сладкие и чистые воды Шилоаха. Вот они тут, кипят в этом самоваре!

Тут снова раздаются аплобисменты, а двое бывших студентов даже пытаются запеть Песню ступеней, но хозяин дома бросает на них грозный взгляд, и всё снова стихает.

— Эти чистые и сладкие воды согреты пламенем нашей любви к Сиону, — торжественно продолжает реб Вульф-Калман. — Мы растопили самовар этими прекрасными, снискавшими Божье благословенье шишками, коими плодоносят высокие и стройные сосны Святой земли. Сегодня, друзья мои, всех шишек хватило только на этот один самовар, но мы, с Божьей помощью, насадим здесь сотни и тысячи сосен, и сотни и тысячи самоваров радостно загудят в домах наших братьев, возвращающихся в Сион!

Снова ответом ему служит всеобщее ликование.

— Кипящая вода, — говорит реб Вульф-Калман, — это уже половина чая. Но есть еще и вторая половина, и эту вторую половину, друзья мои, я беру на себя. — И он снова высоко поднимает цибик своего знаменитого чаю над головой. — Сейчас мы с вами заварим чай, самый лучший чай, который когда-либо пили наши братья в Сионе. Я хочу, чтобы эта заварка и чашечка чаю, которую вы сейчас выпьете, запомнилась вам на всю жизнь. Я хочу, чтобы с этой заварки началась новая и лучшая жизнь для всего нашего благословенного народа.

Тут он протягивает свой цибик хозяйке, госпоже Вайнгартен, и велит всыпать в большой заварочный чайник расписного фарфора, пристроившийся тут же, на самоваре, шесть полных ложек «с гаком».

— Неужели целых шесть ложек? — изумляется госпожа Вайнгартен. — Да еще и «с гаком»?

— Именно шесть «с гаком»! — подтверждает реб Вульф-Калман. — Главное условие хорошего чая — никогда не жалейте заварки. Так и детям вашим заповедайте: не жалейте заварки, сыны Авраама, Исаака и Иакова!

— Но я не смею, — говорит хозяйка, — в присутствии самого Высоцкого заваривать чай. Извольте уж вы сами!

— Нет-нет, заваривайте! — настаивает реб Вульф-Калман. — Я вам доверяю.

Тут госпожа Вайнгартен берет у него цибик. Она берет серебряную ложечку. Она подходит к самовару и снимает с него заварочный чайник. Она ставит его на специальный маленький серберовочный столик и снимает с него крышечку. Под вожделеющими взглядами всего святого собрания она осторожно

открывает цибик драгоценного чаю, погружает в него серебряную ложечку и как-то странно смотрит на ее содержимое. Я бы даже сказал, что торжественное воодушевление несколько снисходит с библейских черт ее лица.

— Заваривайте-заваривайте! — уже нетерпеливо повторяет реб Вульф-Калман. — Шесть ложек «с гаком».

Хозяйка насыпает в чайник шесть ложек «с гаком». При этом вид у нее такой, словно она хоронит близкого родственника. А я думаю про себя: что это она так странно себя ведет, как будто никогда в глаза не видела лучшего черного лиственного чая Высоцкого по шесть целковых за фунт?

Но она насыпает чай в заварочный чайник и заливает его кипятком из самовара. Она размешивает заварку серебряной ложечкой. При этом вид у нее такой, словно она месит глину в рабстве у фараона египетского. Она накрывает его крышечкой и снова водружает на самовар. Она берет чистое льняное полотенце, складывает его вдвое и накрывает им чайник.

— Вы, я вижу, прекрасно умеете заваривать чай, — улыбается реб Вульф-Калман. — Теперь считаем до ста, и можно разливать чай.

Пока мы считаем до ста, я наблюдаю за святым собранием. У всех слюнки текут, так им хочется отведать лучшего чаю Высоцкого.

Первую чашку, по знаку реб Вульфа-Калмана, хозяйка подносит своему благоверному. Господин Вайнгартен громко и торжественно произносит благословение «По слову Его стало всё сущее», зажмурив глаза от ожидаемого наслаждения, делает первый глоток и меняется в лице. Он, однако, немедленно снова возвращает своему подобию Божию радостно-благоговейное выражение и, обратив сияющий взгляд к реб Вульфу-Калману, произносит только одно слово:

— Да!

Это «да» призвано показать, что ничего подобного этому чаю Высоцкого он в жизни своей не пил.

Хозяйка одну за другой наливает в чашки заварку из чайника, доливая их кипятком из самовара, а реб Вульф-Калман делает ей знаки, указывая то на одного, то на другого из сидящих за столом. Один за другим они произносят благословение, делают глоток, меняются в лице, меняются в лице обратно и говорят «да» с таким видом, как будто только что пережили Синайское откровение.

Наконец реб Вульф-Калман сам берет чашку из рук хозяйки, помешивает чай ложечкой, произносит благословение. Все общество благоговейно отвечает «омейн»…

Кадык его под аккуратной черной бородой дрожит, как Аман перед Мордехаем, по шее его пробегает судорога… Отец наш небесный!

— Нохум! — кричит Высоцкий, свирепо вращая глазами, налившимися кровью. — Нохум! Шейгец! Говори, где ты взял этот цибик?!

Я готов провалиться сквозь землю. Никогда я не видел таким реб Вульфа-Калмана. Губы у меня дрожат, я едва ворочаю языком…

— Когда вы велели… принести… то есть… цибик чаю, реб Вульф-Калман… я взял тот, что стоял на вашей конторке…

— Идиот! Паршивец! — выходит он из себя. — Это святая земля, которую я собрал на Масличной горе! Слышишь, разбойник, это святая земля!!! Святая земля!!!

* * *

И вот, после всего что я вам рассказал, пане Шолом Алейхем, я вас спрашиваю: может ли человек в наше продрессивное время идти по пути просвещения, доверяясь одним идеям и умозрениям и не попробовав, как говорится, все на язык?

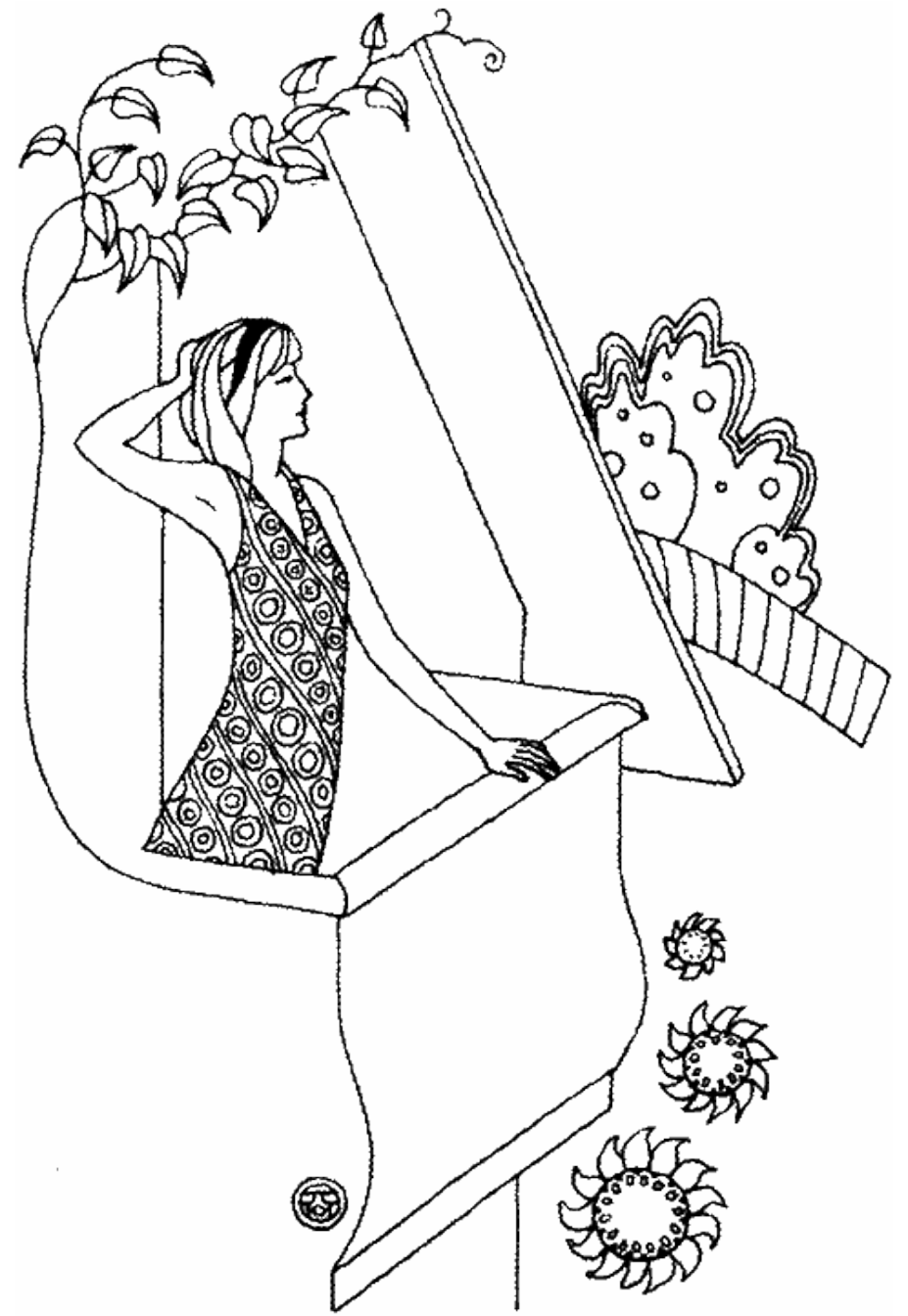
Вы уж, если будете эту поучительную историю публиковать, не сочтите за труд добавить в примечании, что слышали ее собственными ушами от человека солидного и заслуживающего полного доверия.

А чай-то мой! Совсем остыл и стал, не про вас будь сказано, словно бренное тело после того, как от него отлетит измученная душа. Ну не беда, на следующей станции возьму еще кипяточку…

Рецепт фирмы «Высоцкий»[1]

На шесть чашек берем три чайные ложечки чая. в нагретом чайнике заливаем их двумя чашками кипятку и оставляем под крышкой на две минуты. Затем добавляем по столовой ложке темного изюма из Смирны (Измира) и тонко нарезанного прокаленного сладкого миндаля, четыре ложки арака и мед по вкусу. Вливаем еще четыре чашки кипятку, накрываем крышкой и оставляем еще на одну минуту на самом слабом огне, ни в коем случае не позволяя смеси закипеть. Разливаем по чашкам и пьем.

Юлия Боровинская



Пережить лето

— О чем ты думаешь? — спрашивает Ольга.

А как мне объяснить, что я сижу и думаю о том, что он пьет самый дурацкий из видов чая — ройбуш, который даже и не чай вовсе, а так, трава африканская, и как его произносить, решительно непонятно: ройбош? ройбос? А уж классический рецепт приготовления там и вовсе полное безумие: тридцать минут кипятить на медленном огне, нет, вы понимаете, тридцать минут кипятить чай, стоя у плиты! Ладно, ладно, можно и просто кипятком заварить, но тогда уж — не меньше десяти минут настаивать. Вот лично я, если оставлю чай на десять минут, то забуду о нем на полтора часа, — летом-то нормально, а зимой, когда хочется горячего? Хорошо, нашелся среди этих африканцев один и вовсе сумасшедший мужик — придумал засыпать свой ройбуш в машину-эспрессо: р-раз — и готово! Уж это даже я могу, да.

И с сортами там тоже полный бардак. Сама-то по себе эта трава, должно быть, абсолютно безвкусная, раз в нее так и норовят чего-то напихать — в основном сладкой дряни с запахом дешевой карамели. Все эти ройбуш-сливки, ройбуш-трюфель, ройбуш-ревень, ройбуш-земляника, ройбуш с яблоками и корицей — бррр, компоты недоделанные! Есть, правда, еще рой-буш-цитрон, с лимонником, — это хоть не противно, его-то он и пьет, не знаю только, тридцать минут варит или десять — настаивает. Ну да где уж там варить, на даче-то, а вот у себя в квартире, интересно, варит? Есть у меня дома ройбуш, я его даже готовлю себе иногда — эспрессо, естественно, — не ради антиоксидантов, плевать мне на антиоксиданты, а так, чтобы был смысл временами свежий покупать, чтобы — случись чудо, реши он вдруг остаться, остаться совсем, — а у меня дома ройбуш-цитрон, как раз такой, как он пьет…

Коты разговаривают друг с другом не запахами — у них, если честно, и обоняние-то не очень. Они… ну, это сложно объяснить, вы уж сами придумайте что-нибудь про биоэнергию, ладно?

Рыжий кот трется о ее ноги и читает записку: «Здесь был Черный». Рыжий не то чтобы возмущен: ну, дурочка добрая, это-то он уже давно знает, — но для порядка все же расписывается:

«Это моя хозяйка!»

«Ну и что? Делов-то — об ноги потерся!» — читает он в следующий раз, и «почерк» все тот же.

«И охота тебе к чужим лезть? Думаешь, полюбит?» — пренебрежительно бросает Рыжий.

«Мне на эти ваши глупости начхать, — отвечает Черный. — Я трусь, чтобы покормили!»

У Рыжего — всегда полная миска сухого корма, и со стола регулярно перепадает, так что он готов посочувствовать:

«А хозяева, что же, — есть не дают?!»

«А я бездомный, — отвечает Черный с какой-то непонятной гордостью. — Я дачный. Всюду суюсь — где-нибудь да перепадет. В выходные ем от пуза, а в будни разве что твоя приедет да еще пара человек — и то не каждый день».

«А я думал, тот высокий, который мою к тебе возит, — твой хозяин».

«Не-а. Он ничей хозяин. Да и не ест, кажется, никогда вообще».

«Ну ладно, трись. Только ты там не зарывайся — домой мы тебя все равно не возьмем!»

«Нужен мне этот ваш город! Здесь хорошо: мыши, птички, бабочки…»

«А зимой?»

«Ха! Зимой я в магазин жить прихожу. Они там знаешь как мышей боятся?»

Летом в городе ад. Кому-то, может, жара и нравится, а Алена умирает, все три месяца умирает. Дрожит воздух над мягким асфальтом, над крышами стоящих автомобилей, в автобусе — духовка, на работе кондишен немытым холодильником воняет, а выйдешь на улицу покурить — словно в печку головой сунешься. Дома еще хуже: вентилятор теплый вязкий ветер по комнате гоняет, мокрое махровое полотенце за полчаса высыхает, кресло теплое обнимает, пот по ногам течет — хоть на полу сиди, но и на полу жарко… Если бы не Мишка, совсем непонятно, как жить.

Откуда он взялся, Алена помнит смутно. Кажется, Славка их познакомил. Да, точно, Славкин он однокурсник бывший… кажется… Ну, Мишка и Мишка — сто лет она его знает, «винду» он ей пару раз перевешивал, а еще колонки после ремонта повесить помогал, раньше еще купаться ездили большой компанией, но там народ вообще был с бору по сосенке… А этот год она думала, вообще летом не выживет. Гипертония-то у нее с детства, но с каждым годом все хуже, а тут еще, как назло, во дворе стройка — пыль летит, грохот днем и ночью, а тополь, который раньше окно заслонял, еще весной спилили: старый, упасть мог.

А Мишка предложил — еще в конце мая: «Поехали на дачу!»

Она и не знала, что дача у него. Ну и что ж не поехать, если работает Алена по графику: сутки в аппаратной высидишь — и гуляй три дня?

На даче она всегда просыпается рано. Солнце заползает в маленькое оконце на южной стене второго этажа примерно в половине восьмого утра и — жалюзи не жалюзи — Алену будит. Она сладко потягивается, резко отбрасывает простыню и — уже обнаженная — потягивается еще раз, а после вскакивает, проскальзывает в широкий сарафан и выходит на затянутый плющом балкончик. Впрочем, ползучие лозы затеняют только правую его часть, а слева распахивается вид на покатые зеленые холмы, за которыми в дымке полувидятся, полуугадываются горы. Утренний воздух уже теплый, но все же не горячий, как в городе, и благоухает он свежей влагой, горьковатым духом листвы и травы, недаром Мишка поднимается на рассвете и — Алена как-то сама видела — бродит со шлангом между деревьями, щедро окатывая их струей воды. Розы еще не цвели — позже, позже, а пионы успели обтрепаться, да и было-то их — один кустик, но уже распустил бледно-зеленые, постепенно наливающиеся белым шары бульдонеж, выставило к небу белые свечки неизвестное растение с широкими листьями (ботаник вообще-то из Алены никакой), и лиловые колокольчики склоняют тяжелые головки в траве.

В первый час после ее пробуждения Мишки не видно, не слышно — то ли ложится подремать после полива, то ли какими-то своими делами занимается, закрывшись в комнате, — поэтому можно смело спускаться вниз, включать электрический чайник, чтобы вылить его потом в набранное из бака ведро холодной воды, уйти в дальний укромный уголок сада, раздеться и резко окатить разомлевшее со сна тело, чтоб упруго собралась пупырышками кожа, чтобы веселей побежала кровь по жилам, чтобы задохнуться, закашляться и вздохнуть наконец полной грудью. И высыхать на ветерке, подняв руки, вытянувшись — вся в солнечных пятнах, пробивающихся сквозь кроны яблонь. Да, а яблочки-то уже висят — зря говорили, что снег в начале мая всё побил, — маленькие, со сливу, твердые, зеленые — к июлю нальются соком…

И уже потом — за первой сигаретой и первой чашкой кофе — появится и Мишка, спросит:

— Завтракать будем?

И будет стоять на клетчатой скатерти творог в керамической плошке — хоть и магазинный, но хороший, крупнозернистый, — любимые Аленины сухие хлебцы и сыр, чтобы мазать на них, а ещё курага и изюм: не любят они ни сахара, ни варенья.

А после — весь день до вечера — хочешь, болтай, хочешь, читай, хочешь, музыку слушай: центр на дачу Мишка дешевый купил, но хороший, дивиди читает, практически домашний

кинотеатр. И отдельный дивидюк есть — только маленький, экран с полкнижки.

— Мишк, а может, нормальный телик купим — фильмы будет удобнее смотреть? Я вложусь…

— Вложится она! Сам куплю, не разорюсь!

Мишка хороший: и поговорить всегда есть о чем, и вкусы у них совпадают, да и вообще уютно вместе — друг другу не навязываются, не мешают. А вот искры между ними нет, ну просто глухо всё. Который раз в одном доме ночуют, и хоть бы что. «Спокойной ночи!» — «Спокойной ночи!» Словно и не мужчина, а так, подружка, хотя, кажется, и высокий, и не урод… Ольга говорит: «Да он голубой, наверное!» Но нет, Алена с геями работала, неплохие, кстати, ребята попадались, все, кроме одного, но они другие. А Мишке, похоже, все поровну — и девочки, и мальчики. Ну, всяко бывает, хоть и жалко: жить бы им вдвоем, готовить друг другу завтраки, одну музыку слушать, одно кино смотреть и — никаких больше любовей, к черту, к черту, устала Алена, ведь если столько лет не везет, так и не повезет уже…

Ходит ничей черный кот, трется об Аленины ноги, а на Мишку глядит с удивленным уважением, но близко не подходит — и ведь не боится, нет, а так — сторонится…

Уезжают они уже после заката, когда схлынет поток машин на дорогах, наползут на пригорки сиреневые сумерки, затеребит ветви ночной ветерок. Хлещет в открытое окно машины вечерняя свежесть, мелькают красные фонарики передних автомобилей, Алена разглядывает людей на обочине: спешащих, беседующих, обнимающихся, занятых какими-то своими, непонятными мимоезжему взгляду делами. Торопиться некуда — завтра у нее еще целый день, чтобы голову помыть и на смену собраться. Завтра — жара, пыль, звуки стройки, рыжий кот, хоть и трижды Ольгой кормленный, глядит с укоризной, но о ноги мордой отирается тщательно — родной зверь, хороший, но если б каждый день в этом аду, сдохла бы уже, спасибо Мишке, спасибо, вот уже и август подкатывается, доживем до сентября, Рыжий, теперь уже точно доживем…

А Мишка ставит машину в гараж, с досадливым вздохом проводит пальцем по царапинке на левой дверце и идет в дальний угол, туда, где бережно прикрытые полиэтиленом висят два белоснежных крыла — теперь пару дней их можно не снимать. Из старой тумбочки он достает толстенький дневник в картонной обложке, на которой шариковой ручкой выведено: «Год 43-й», — садится за стол и принимается писать, временами

щурясь на тусклую лампочку, а в китайской кружке с ситечком в это время настаивается у него ройбуш — десять минут, все по правилам, и как бы еще Алену приучить его пить вместо этого ужасного кофе — ведь не девочка уже, и давление…

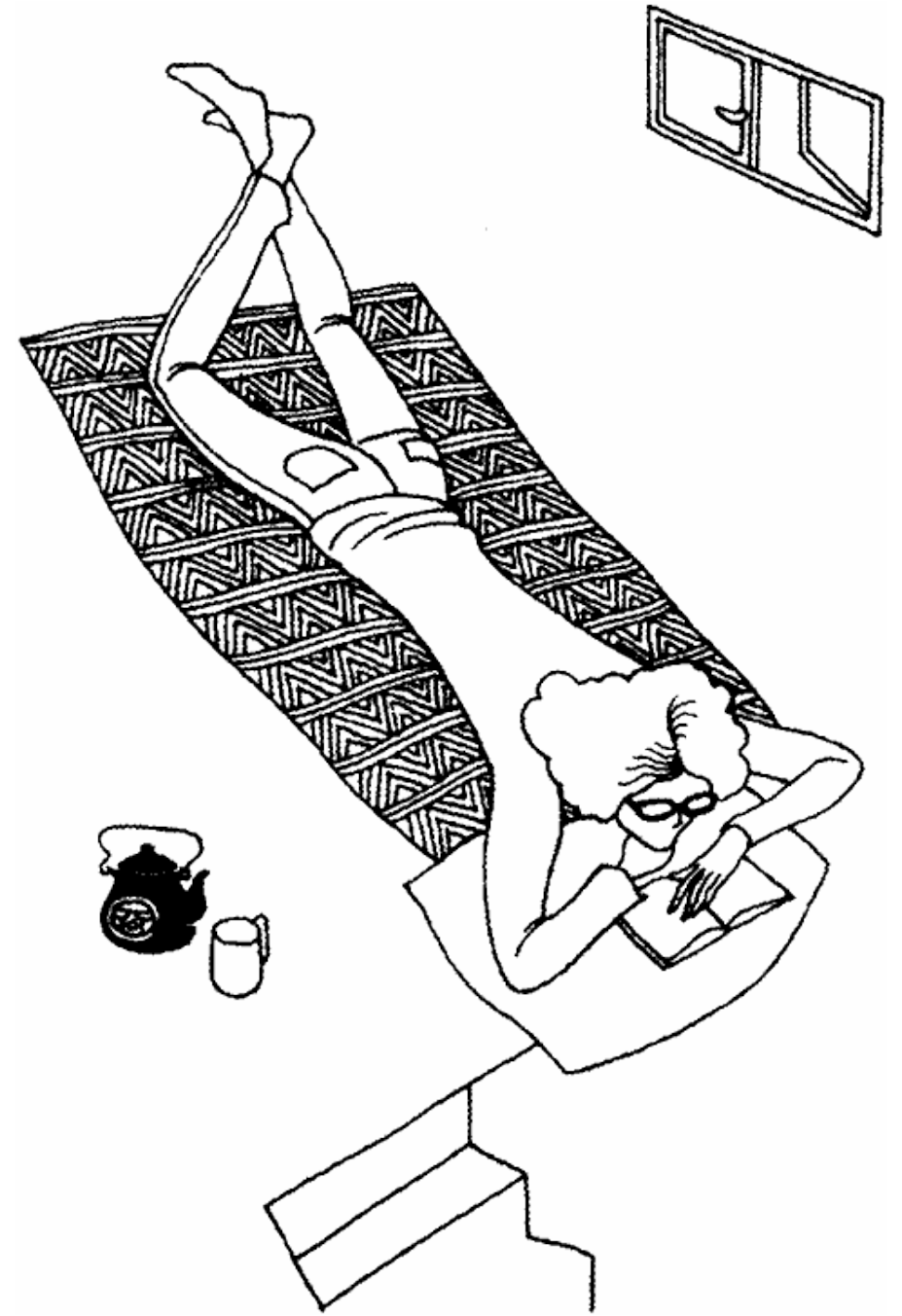
Да, он паршивый ангел-хранитель, он мало что может, мало что умеет — вот любовь, к примеру, не умеет, и деньги или, там, славу — тоже. Но ведь помочь пережить лето — это уже кое-что, правда?

Ройбуш из кофейной машины

Ройбуш можно приготовить в кофейной машине для эспрессо точно таким же образом, как и кофе, из расчета содержимое трех пакетиков — на одну чашку.

Лучше всего для этого использовать высокосортный красный ройбуш. Любители сладких напитков могут взять ройбуш с соответствующим ароматизатором-подсластителем («земляника», «сливки», «ревень-крем», «трюфель» и др.). Чистый красный ройбуш-эспрессо имеет чуть сладковатый ореховый вкус.

Ольга Лукас



Я читаю

По пути (бегом! опаздываем!) на Финляндский вокзал — не покупайте сигареты, у нас три блока с собой, и на мороженое не отвлекайтесь, по вагонам будут ходить специальные тетушки-разносчицы, да вы у этих тетушек что угодно купите, такое, чего в жизни не бывает, ну, все в сборе, а кто отстал? Книжки покупаем? У кого есть время выбирать книжки, тот побежит вслед за поездом.

— Дайте хоть что-нибудь куплю почитать, самое новое, вот, надо же, какая у вас большая сдача, спасибо, вы добрый.

Пока все вгружаются в вагон, хохот-переговоры, преферанс-нет-лучше-в-дурачка, а мы отсядем, сделаем вид, что не с вами, и будем играть в го, ну-ну, а я буду спать, а я забыл позавтракать, а я — поужинать, а я вообще никогда не ужинаю, а я — на диете, а кто сел на мою гитару, а… а Знайка наш уже читает!

Расселись, разложили вещи по верхним полкам, пришла пора спасаться от скуки — час с лишним в наполненном запоздалыми дачниками вагоне пригородной электрички, вот уже и солнце выглянуло, а с утра был такой дождь, что некоторые даже отказались от увеселительной поездки на дачу к Кире. Дождь — это предлог. Истинное имя этого предлога — лень, но мое-то какое дело? Я читаю уже.

Раздали карты, кто-то жует бутерброд, Сашка всхрапнул, встрепенулся, прикорнул снова, Кира пересчитывает своих, чужих, лысых, загорелых, очкастых, толстых, одетых в хаки, глазеющих в окно: ей нравится, когда порядок. Я порядка боюсь, да и поддерживать его не умею, отгораживаюсь от сложнонаведенного Кириного порядка свежей книгой — не от друзей, конечно, отгораживаюсь — от скуки и ничегонеделания. У меня в руках — сборник рассказов, нечитаных, неизведанных, вот и первый остров в архипелаге — выбираюсь на его тихий берег и на некоторое время исчезаю в этом мире, для кого-то — заключенном в твердый переплет, а для меня — безграничном и огромном.

Как странно, автор незнакомый, а сюжет вроде бы мне известен. Ага, а вот сейчас они… так и есть. Имена и реалии изменены, но разве же я не узнаю того, что уже было? Того, что было со мной и с вот этими моими друзьями пару лет назад? Имя, фамилия автора — чужие и какие-то нездешние, что ли. Псевдоним? Или кому-то повезло, и его в самом деле окликают таким чарующим сочетанием звуков?

Меня зовут Знайкой — так давно, что этикетка эта уже прочно прилипла к коже. Это наша Кира, любительница порядка, развлекалась, цепляя на всех ярлыки, чтобы очертить границы того, на что каждый из нас способен. Знайка, Умейка, Налейка,

Жалейка. Некоторые прозвища прижились, иные забылись, а Кира, в порядке справедливого возмездия, получила гордое имя Называйка. Ей почему-то не понравилось, представляете?

Не останавливаясь, перепрыгиваю в следующий рассказ, зарываюсь в него с головой и опять узнаю — мизансцену, персонажей, что за черт, дайте мне насладиться выдуманной историей, так уже достали эти сочинения на тему «Как мы прожигаем жизнь». Интересно, в ком из моих боевых товарищей скрывался до поры литературный талант? И как, как он умудрялся все это время его скрывать?

Дальше-дальше-дальше, подгоняет читательский азарт. Читаю в автобусе, пытаюсь читать на ходу. Вяло перешучиваюсь с друзьями по дороге до Киркиной дачи. Обманом проникаю на чердак. Чтобы затаиться там, чтобы читать, пока другие колют дрова, вытаскивают из сарая мангал, что-то расстилают, нарезают, прекрасно суетятся, — им и без меня не всем нашлось дело (самооправдание лентяя), вон, слоняются по участку (я вижу это в чердачное окошко), а список подозреваемых в авторстве книги все уменьшается.

На чердаке пыльно, тепло и необыкновенно уютно: какие-то случайные вещи свалены кучами, на полу расстелено старое одеяло, на котором так привольно устроилось мое тело, покуда я брожу по выдуманному-невыдуманному миру этой удивительной книги.

Два первых рассказа посвящены компании вообще, некое предисловие, вводные главы, мол, познакомьтесь, вот главные герои, с ними вы будете шагать до последней страницы, уж извините, других героев у нас для вас нет, кушайте что дают.

И я кушаю и с каждым абзацем все сильнее закусываю угол одеяла, на котором лежу. Описав вкратце наше нехитрое житье-бытье, анонимный соглядатай переключился… на меня. Вот — от А до Я — все мои переживания, мысли, любви-ненависти, мечты-стремления. Каждый рассказ все больше выворачивает наизнанку мою душу, не больше, не меньше — душу мою наизнанку, мою единственную-неповторимую, как какой-нибудь вонючий носок. Ну хорошо, уговорили, пускай не вонючий, пускай красивый ароматный носок дивной ручной вязки — но наизнанку же, а с изнанки у него столько неаккуратных узелков — Кира бы не одобрила. Да что там Кира! Когда все они прочитают это… если прочитают, конечно, — мои акции рухнут так, что можно будет сразу объявлять себя банкротом и отправляться на поиски другой компании, начинать все с начала.

Нет, вы не подумайте, что кто-то взял да и описал меня с фотографической достоверностью, это было бы слишком нелепо,

банально слишком. Благородный автор время от времени позволяет себе вольности, некоторую свободу творчества: имена и реалии изменены до неузнаваемости, некоторые события упущены, иные — додуманы, но — в этом не может быть никаких сомнений — я под прицелом.

Тысячи, многие тысячи читателей (тираж двадцать тысяч экземпляров, выясняю я, заглянув на техполосу, значит, как минимум сорок тысяч, ведь одну книгу почти всегда читает несколько человек) уже узнали или скоро узнают обо мне всё. Оставаясь в тени, я буду будоражить воображение, вызывать симпатии, тоску или отвращение. Я буду существовать вне своего тела. С меня, с моего прошлого словно сняли копию, растиражировали и пустили в массовую продажу. Я теперь как безымянный плюшевый мишка, которого можно ронять на пол, кормить воображаемой кашей, лупить головой о стену, оперировать тупым кухонным ножом, отдавать племянникам, оставлять в вагоне метро, выносить на помойку.

Из соображений конспирации спускаюсь к нашим, немного пью, немного говорю глупости, немного наигранно скандалю с Кирой и, демонстративно не желая признавать свою неправоту, очевидную, разумеется, всем, топаю на веранду, медленно, достаточно медленно для того, чтобы продемонстрировать им свое безразличие, завариваю чай, прихватываю с собой на чердак чашку и чайник и снова возвращаюсь к своему расследованию.

Следующий рассказ разбивает все догадки, отменяет все предыдущие доводы: он посвящен еще более давним дням, другой моей компании, прежней, забытой. О ней тут знают немногие, а уж о моих в ней похождениях — и подавно. О наших, о наших похождениях. Вот же мы отжигали, и откуда только силы черпали, и как нас только терпели? Кира бы давно указала на дверь и, увы, была бы абсолютно права. Читаю и покрываюсь красными пятнами, и потом, и пупырышками — меняю цвет, форму и состояние. Как, как он посмел, за что, за что? Почему меня, мама?

Все вывалено на страницы грубой зловонной кучкой, ощущение такое, словно в твоей квартире злоумышленник-психопат установил множество крошечных телекамер и… Нет, не «и». Ни одна камера, ни один спутник-шпион не проникает в мысли — извините, я не верю в зеленых человечков, которые приглядывают за мной сквозь вентиляционную решетку. О таком не говорят по телефону, не пишут в сетевой дневник с тройной системой допуска. Это доступно только лучшему другу, да и то не всегда. Лучшему другу. Или бывшему лучшему другу, чего и врагу не пожелаешь. Год за годом, день за днем он следил за

мной, собирал информацию, копил компромат, чтобы отомстить. Рассказать всему миру, ну пусть всему читающему миру, ну пусть всему читающему по-русски миру — все равно это очень и очень много, — о том, какое я слабое, инфантильное, никудышное существо, прикрывающееся, как щитом, книгой — не важно какой, да хоть газетой, — от жизненных невзгод, от неудач, от воспоминаний. Что я могу сделать в ответ? Любая попытка опровергнуть эти гнусные сплетни или, если уж говорить начистоту, эту гнусную правду обернется против меня: я как бы подтвержу догадки своих знакомых, дабы они не сомневались уже ни на секунду в том, что это со вкусом разоблаченное в новомодной книге недоразумение — я.

Проливаю чай на одеяло, беспомощно матерюсь и отправляюсь на веранду — за новой порцией. Чайник кипит, я подпрыгиваю от нетерпения в надежде, что Кире не приспичит благородно мириться со мной вот прямо сейчас. Не приспичивает, о счастье. Веселье продолжается где-то в глубине дома, а еще — на ближнем озере, куда отправились купаться самые смелые и морозоустойчивые мои друзья.

И страшно, и любопытно — открывать книгу вновь, окунаться в следующий рассказ — в принципе, если постараться, можно припечатать меня вот так, а еще — вот этак, но зачем? И без того достаточно. Пью чай, потом, в уже сгустившихся сумерках, спускаюсь вниз, по малой нужде, и беспрепятственно поднимаюсь обратно — никому нет до меня дела, и как же это, черт возьми, прекрасно, и пусть так оно и остается, а книгу эту я оболью ядом и желчью, а потом, для верности, — керосином и сожгу где-нибудь на пустыре. Да-да, на пустыре, заросшем крапивой и лопухами, специально отправлюсь на поиски такого удивительного и редкого места, но слово свое сдержу.

Постепенно затихают, угомонившись, мои веселые друзья, засыпают друг у друга в объятиях или где придется, под окном — тихие голоса и бренчание гитары, как хорошо, что на чердаке тоже есть лампа, а мой прекрасный разоблачитель, мой автор, тем временем дает жертве передышку, а своей фантазии — волю. Два рассказа, в которых — ни намека на меня, какое счастье, может быть, ему наскучило жизнеописание того, о ком, по-хорошему, давно стоило бы забыть?

Ко мне поднимается пополнение с целью обустроить свою личную жизнь, чайник снова опрокинут, и мы с ним отступаем, перемещаемся на безлюдную веранду, пейзаж уныл: горы окурков, грязные рюмки и человек, свернувшийся в углу.

Страница, другая, третья. Чай помогает продержаться, не уснуть и при этом не убежать куда-то в лес, вопя что-то невнятно-

плаксивое, чай слегка скругляет детали, но не притупляет, а как будто бы обостряет восприятие. Ночной кошмар заканчивается с рассветом, как и положено ночным кошмарам, возвращается компания с озера, устал даже неутомимый гитарист, читающий Знайка — обычное дело, с расспросами не пристают, за что им огромное спасибо.

Дочитать до конца — и можно отправляться спать или биться головой о стену, оба этих занятия имеют одинаковый смысл для того, кто попал в столичную хронику курьезных происшествий, кого разогнали на первую полосу самого бульварного издания, — смотрите, смотрите, городской маугли, воспитанный в канализации черепашками-ниндзя.

Последний рассказ ничего не проясняет, но и не добивает меня окончательно, и на том спасибо. В конце страницы, справа, курсивом — дата, книга дописана за три года до моего рождения. За двадцать пять лет до того, как все это случилось со мной.

Чай из листьев черной смородины

Готовить его следует так.

Приехать под вечер на дачу и первым делом пойти искупаться. Можно в озере, но лучше, конечно, в заливе.

Вернувшись, надо поставить на огонь чайник и выйти в сад. В саду должно быть темно, хорошо еще, если луна будет светить; впрочем, это не очень важно, можно и среди бела дня выйти в сад. Главное — не отвлекаться на красоту окружающей природы, а сразу направиться к заранее присмотренному кусту черной смородины. Сорвать несколько листьев, трех-четырех на одну порцию будет достаточно.

Вернуться домой и ополоснуть смородиновые листья холодной водой, чайник уже вот-вот закипит, так что можно доставать из серванта (старенького, бабушкиного) щербатую фарфоровую чашку (любимую), выкладывать на ее дно свежесорванные листья, а потом, снявши чайник с огня, заливать их кипятком, через пару минут этот чай можно уже пить.

Рая Полонская

Однажды

Тьфу ты, это же надо было заснуть в троллейбусе, хорошо, хоть остановку не проворонила.

Да и как я умудрилась — неведомо, в глаза бьет мартовский солнечный свет, у соседа по лавке попса жуткая из наушников ревет, причем терпкая, выдержанная лет десять в закромах, гордое имя ей — ностальжи, но мальчик ничего так, слушает, не морщится, кажется, и удовольствие получает.

За окнами снег сдает свои позиции, небо голубое, нежное, люди улыбаются, птицы орут: весна, весна! Конец марта же! Можно ходить, задрав голову вверх, нежить щеки первым солнечным теплом и хрустеть хрусткими корочками льда на лужах — ну чем не счастье? Троллейбус мой нынче скрипуч, как в детстве, — можно, совсем как тогда, открыть рот и тихонечко подпевать ему: «Аааыыыаааыыыы», — чуть взвизгивая при поворотах. Но я не буду, все-таки уже большая, ближусь так потихоньку к середине третьего десятка и разве что ощущаю себя иногда старшеклассницей, да алкоголь без паспорта не хотят продавать. Но это же мелочи, дела житейские, им не под силу повернуть вдруг время вспять, оттого лучше вести себя хорошо, а то вдруг разозлю какую-нибудь почтенную даму, а она и скажет голосом с пластинки про Алису, мол, стоять на голове для девочки ваших лет в высшей степени неприлично!

Представляю себе это в красках и, тихонько смеясь, наконец выхожу из троллейбуса, попутно отмечая, что что-то вокруг не так. Казалось бы, вот она, гостиница, за спиной, вот парк справа, вот привычные заросли кустарника по краям тропинки… И только дойдя до дома, понимаю: еще недавно вместо той тропинки был огражденный бетонным забором котлован для дома, который пытаются строить года с 2001-го. И сразу как-то становится холодно, а во дворе в это время всегда тень, я ежусь, а сердце колотится где-то в районе желудка, распугав оттуда всех нежных бабочек, и разум советует бежать в дом, бежать в спасительное тепло квартиры, к кошке, к чаю свежезаваренному, в интернет, но не оборачиваться ни в коем разе, не искать глазами забор, иначе ведь стану, чем черт не шутит, соляным столбом или просто круглобоким снеговиком, погибающим под мартовским солнцем, и мысль эта так пронзительна, что я ей верю. Я припускаю к подъезду, на ходу доставая связку ключей, вычленяю из них круглую таблетку от домофона и, дойдя до двери, вижу, что все было зря: фигушки тебе, милочка, домофон. Коту масленица и та больше светит, чем мне воспользоваться ключом. Потому что дверь передо мной даже без кодового замка. И конечно, я цепляюсь за спасительную мысль — поменяли, скоро поставят, но почти не верю себе и еду в лифте на этаж выше, чем

надо, с закрытыми глазами, чтобы больше не видеть, ничего не видеть: ни зеленых стен (были голубые), ни старых надписей «Колька — дурак» (закрасили в конце девяностых) — ничегошеньки не видеть. Я не могу домой.

Кровь шумит в ушах, ноги ватные, рукам не удержать сумки — на пролет выше я сажусь на ступеньки, пытаясь прийти в себя. Здравствуй, жопа, Новый год. Допрыгались. Допрыгались, довертелись, доигрались, молодцы. Мысли сами по себе, я сама по себе, я снова маленькая, мне страшно, мне хочется к маме, и даже — вот она спасительная мысль (от которой, впрочем, становится через секунду совсем жутко), что нынче мама-то ближе, чем была какие-то пару часов назад, потому что в тех спасительных часах она жила в другой стране, два часа лету, две встречи по нескольку дней в году, а тут ведь вполне может оказаться, что ближе к шести придет с работы и будет себе кашеварить на кухне, варить ароматные щи, поглядывая краем глаза в старенький телевизор… Хлопает дверь.

— Здравствуй, Рая…

— Здравствуйте! — улыбаюсь, сосед, намек на спасение, узнал же, может, и паника зря, может быть, все в порядке, а я замечталась на ходу и увидела то, чего нет?

— Что же ты, — говорит, — тут на лестнице сидишь? Ключи забыла?

— Ну да, — киваю я, чувствуя неладное…

— А чего ты так рано из школы пришла?

— Так ведь каникулы, — бормочу я, понимая, что иллюзий больше нет и быть не может.

— А-а-а, — тянет сосед и спускается вниз. Я жду, пока захлопнется дверь, и на ватных ногах спускаюсь к своей двери.

Три звонка. Позывные. Непривычное, моим голосом со стороны:

— Кто?

— Я…

Я открываю дверь и встречаюсь взглядом с девочкой, чья внешность неуловимо отличима от моей.

— Здравствуй, — растерянно говорю я дуэтом и от невозможности данной ситуации наконец теряю сознание.

Вечером, когда вся семья в сборе, я за ужином пытаюсь поведать маме свой совершенно нелепый сон.

— Представляешь, — рассказываю я, запихивая в себя теплый черный хлеб с маслом, с парой перышек зеленого лука, — мне приснилось, как будто я пришла домой, то есть я была дома и пришла, но как будто старше, и очень удивилась. Только так

жалко, что нам не удалось пообщаться, вот было бы здорово, если бы у меня появилась близняшка. Правда?

Мама смеется и предлагает не говорить с набитым ртом.

— Ну ма-а-ам, ты бы хотела, чтобы у меня была еще одна сестра? Совсем такая же, как и я.

— Упаси боже, нам и тебя такой предостаточно, — отмахивается она, а я понимаю, если однажды, лет десять спустя, по пути домой я осознаю, что что-то стало вокруг не так, я не буду бояться, я приду, и мы сядем вдвоем пить чай и будем говорить до самого вечера, пока не придут родители. А там обязательно что-нибудь придумаем. Мы сумеем!

Чай «Дачное настроение»

Большой пузатый заварочный чайник с ситечком ополаскиваем кипятком, кладем заварку (любой черный ароматный чай) из расчета две чайные ложки на человека, плюс две про запас (вдруг кто придет). Добавляем по вкусу черносмородиновый лист, сушеную мяту, чабрец и заливаем кипятком.

На стол подавать с земляничным вареньем в розетках. Пить из разномастных советских чашечек (так вкусней).

Лея Любомирская

Кошка

Алисе

Фернанду привез доктора Магаляеша, но в гараж ушел не сразу, а задержался в прихожей. Через балюстраду Тика видела, как к Фернанду торопливо подошла Алзира, на ходу отряхивая белейший передник. Фернанду что-то спросил. «Ну как?» — расшифровала Тика. Алзира пожала плечами и слегка развела руками. Всё так же. Тика глубоко вздохнула и задержала дыхание, чтобы отогнать слезы.

— Добрый день, барышня, — сказал доктор Магаляеш и потрепал Тику по щеке. Тика слегка поморщилась. — Давно ты здесь сидишь?

— С пяти. — Тика попыталась привстать, но ноги не слушались, и она опять плюхнулась на пол.

— Утра? — уточнил доктор Магаляеш.

— Вечера, — безучастно ответила Тика, прислонилась к стене и закрыла глаза. — Я здесь спала.

Доктор Магаляеш подошел к лестнице и пощелкал пальцами.

— Вы, там! Как вас! Роза?

— Алзира, — сказала Тика, не открывая глаз. — Я все равно отсюда не уйду, можете не стараться.

* * *

Кошка запрыгнула на стол и дважды обошла вокруг вазы, внимательно приглядываясь к цветам. Потом присела на задние лапы, поймала свисающую веточку папоротника и принялась грызть. Кошка была маленькая, но плотная и очень пушистая, дона Амелия никогда раньше не видела таких пушистых кошек. Она вытянула руку, чтобы потрогать кошку, но кошка попятилась, не выпуская папоротника, и спряталась за вазу. Дона Амелия побарабанила кончиками пальцев по столу, потом слегка поскребла по столешнице ногтями — кошка не отрываясь смотрела на руку, но из-за вазы не выходила. Когда дона Амелия решила, что кошка так и останется сидеть за вазой, кошка внезапно бросила папоротник, прыгнула ей на руку всеми четырьмя ногами и попыталась укусить за кольцо с большим сапфиром. Дона Амелия засмеялась и отдернула руку.

— Алзира! — позвала она. — Откуда у нас кошка?

— Барышня Тереза принесла с улицы, сеньора. — По бесстрастному голосу Алзиры было невозможно понять, одобряет она Тикин поступок или осуждает. — Отнести ее обратно?

— Обратно? — переспросила дона Амелия. — Кошку

барышни Терезы? Нет, не думаю. Лучше накормите ее, а то она, бедная, вон, папоротники ест.

* * *

— Оставь меня в покое! — закричала Тика. — Я сказала, что буду здесь сидеть, значит, буду здесь сидеть!

— Да сидите, кто вам мешает? — Алзира невозмутимо развернула накрахмаленную до треска салфетку и положила ее Тике на колени. — Но ужинать вы будете прямо сейчас. Иначе я пожалуюсь вашей бабушке.

* * *

Дона Амелия причесывалась к вечернему чаю. Распухшие суставы пальцев ныли немилосердно, но дона Амелия твердо решила не обращать на это внимания. Она собрала серебристые волосы в тяжелый узел и посмотрела на себя в зеркало. Неплохо для семидесяти двух лет.

Кошка вспрыгнула на туалетный столик и, не глядя на дону Амелию, боком проскакала от одного конца до другого. Дона Амелия хмыкнула. Кошка повернулась и уставилась на нее. Круглая мордочка выражала неприкрытое изумление.

— Да-да, — сказала дона Амелия, — ты тут не одна. Нечего на меня так смотреть.

При звуках голоса кошка припала к полированной поверхности туалетного столика и замерла, не сводя с доны Амелии напряженных глаз. Дона Амелия открыла коробочку с пудрой и достала пуховку. Кошка слега шевельнулась. Дона Амелия потрясла пуховкой в воздухе. Кошка вскочила, одним прыжком настигла пуховку и вырвала ее у доны Амелии. Дона Амелия засмеялась. Кошка бросила пуховку, подошла вплотную к доне Амелии и неожиданно фамильярно и нежно боднула ее головой в подбородок.

* * *

Дверь бабушкиной комнаты слегка скрипнула, и задремавшая после еды Тика немедленно проснулась.

— Можно мне к бабушке? — спросила она, умоляюще глядя снизу вверх на выходящего из комнаты доктора Магаляеша.

Доктор Магаляеш вздохнул.

— Я думаю… — начал он.

— Не надо бы, — шепнула невесть откуда взявшаяся Алзира. — Незачем ребенку…

— Пусть попрощается, — твердо сказал доктор Магаляеш и протянул Тике руку. — Можно. Вставай.

Тика вскочила на ноги, но сделать шаг не смогла — в ушах у нее загудело, и перед глазами все поплыло.

* * *

В маленькой зале дамы играли в канасту.

— Не везет мне сегодня, — пожаловалась дона Амелия, кладя карты на стол, — прямо какой-то заговор. Вы позволите, дона Пьедаде? — спросила она у Пьедаде де Мелу и Каштру, с которой играла в паре. — Я лучше займусь чаем.

— Конечно, конечно, — дона Пьедаде улыбнулась, продемонстрировав свои когда-то знаменитые ямочки на щеках. — Чай сейчас будет в самый раз.

Дона Амелия поднялась из-за стола и позвонила в маленький колокольчик. Через секунду Алзира — словно она дожидалась сигнала за дверью — вкатила чайный столик на колесиках и принялась расставлять на столе чашки, блюдца, блюдо с крошечными кексами, сахарницу, молочник со сливками и вазочки с медом и клубничным джемом.

Дамы с готовностью отложили карты.

— Чай сейчас будет в самый раз, — повторила дона Пьедаде, беря в руки чашку, и вдруг взвизгнула: — Что это?!

— Где? — удивилась дона Амелия.

— Под столом. — Дона Пьедаде поставила чашку и торопливо отодвинулась.

Дона Амелия слегка наклонилась и приподняла спадающую до пола скатерть. Кошка молнией выпрыгнула из засады, цепляясь когтями за шелк платья, взобралась к доне Амелии на плечи, оттуда спустилась на стол и, задрав хвост, принялась прогуливаться между чашками.

— Тика откуда-то принесла, — извиняющимся тоном сказала дона Амелия. — Очень забавное животное. Все время меня смешит.

— А меня ужасно напугала. — Дона Пьедаде картинно вздрогнула и раскрыла серебряную коробочку с табаком. — Со мной чуть истерика, — проговорила она, заправляя понюшку в одну ноздрю, — не сделалась. — Дона Пьедаде заправила

понюшку в другую ноздрю, коротко потянула воздух носом и громоподобно чихнула.

Кошка, которая в этот момент заинтересованно нюхала сливки, от неожиданности подскочила в воздух, уронила молочник и вазочку с медом, бросилась бежать, скинула со стола чашку доны Амелии и вазочку с малиновым джемом, следом спрыгнула сама и, дрожа, забилась в угол. Дона Пьедаде опять завизжала, а дона Амелия расхохоталась до слез.

— Алзира, — позвала она через минуту слабым от смеха голосом. — Алзира, заберите отсюда кошку! И вымойте ее, она, должно быть, вся в меду!

* * *

Тика пришла в себя в своей комнате. Лицо у нее было мокрым.

— Что случилось? — спросила она.

— Ничего, — ответила Алзира своим обычным бесстрастным голосом и провела по Тикиному лбу влажной губкой. — Вы резко поднялись, и у вас закружилась голова.

— Как бабушка?

Алзира ничего не сказала.

— Как бабушка? — повторила Тика, приподнимаясь на локте.

Алзира полоскала губку в фарфоровом тазу и молчала.

Тика закрыла лицо руками. Ей очень хотелось заплакать, но почему-то не получалось.

Интересно, думала Тика, вместо того чтобы плакать, почему у меня липкие ладони? И почему от них пахнет медом и клубничным джемом?

Чай «Синтия»

Ледяная газированная вода, 1 л
Очень крепкий чай, 3 дл
Кипяток, 2 дл
Виноградный и лимонный соки, каждый 1/2 дл
Сахар, мятная и апельсиновая эссенции (или листья мяты и апельсиновая цедра) по вкусу

Смешать чай, кипяток и соки, добавить сахар по вкусу и по паре капель каждой эссенции (или листья мяты и цедру) и как следует охладить в холодильнике. Перед подачей смешать с ледяной газировкой и подавать

в широких бокалах, украшенных кружочками апельсина.

Несезон

Ощущаю себя по кусочкам. Вчера вечером кусочек, сегодня с утра кусочек. Кусочков много, я их кручу так и эдак, прикладываю друг к другу, смотрю — совпадут ли края, сойдется ли рисунок. Странное занятие, как незнакомый пазл собирать: глядишь на кучу деталек, а во что их надо сложить — не знаешь. И вообще ничего не знаешь. Может, их там недостаточно, деталек, для целой картинки. Или, наоборот, кто-то смешал два пазла. И хорошо еще, если хотя бы один из них можно собрать целиком.

Вот, например, последний кусочек — запах кофе. А до того — мерзнут ноги. Нет, путаю, кусочек с «мерзнут ноги» был раньше. А прямо перед запахом кофе был чавкающий звук, который издает раскисшая глина. И как это сложить в одну картинку? А самое странное, что я не очень представляю себе, что такое кофе. И как выглядит раскисшая глина. Я даже не уверен, есть ли у меня ноги. Кусочки ощущений не вызывают у меня никаких ассоциаций, они не связаны ни с каким знанием. Они просто возникают во мне и с шорохом падают в кучу других маленьких, ни с чем не связанных кусочков.

— Мам, можно мне на улицу? Ну мааа-маааааа-ааа!!!!!!! — пронзительный вопль врывается в меня маленьким смерчем, подхватывает кусочки ощущений, кружит их, разбрасывает, слепо, бессистемно, как и положено смерчу. И вдруг я понимаю, что все изменилось. Что нет больше кучи деталек, что пазл сложился в цельную картину. В меня. Оглядываюсь, чтобы понять — где я. Пустынная улочка, маленькие домики, по виду — нежилые. Пахнет солью, сыростью и йодом, откуда-то из-за деревьев доносится сдержанный рокот волн.

— Ну маааааааам, ты же обещала, что сегодня будет можно гулять!!! — На крыльце двухэтажного розового домика маленькая взъерошенная девочка в клетчатых брючках и красном пластиковом дождевике топает ногами в резиновых сапожках. Злые слезы ползут по круглым щекам. — Ты обещала, и я пойду!!! — Девочка делает крошечный шаг в сторону улицы, всем своим видом выражая протест. Из домика доносится женский голос. Я не могу разобрать слов, но ясно, что женщина объясняет, почему именно девочка в клетчатых брючках не может пойти гулять. Девочка зажимает уши. — Я тебя не слушаю!!! — кричит

она, повернувшись к дому. — Я тебя не слушаю, не слушаю!!! Ты вчера обещала, а первое слово дороже второго!!! Я ушла, меня тут уже нету, это не я с тобой разговариваю!!!

На крыльце появляется молодая женщина в халате. У нее такое же круглое лицо, как у дочери, и такие же круглые глаза.

— Катиня, ну какое «обещала»? — голос у женщины скорее обиженный, чем сердитый. — Мы договорились, что ты пойдешь гулять, если не будет дождя. А ты сама видишь — дождь идет.

Девочка непримиримо шмыгает носом.

— Ничего и не идет! Дождь стоит и смотрит, как ты нарушаешь свое слово!

Мне становится смешно, и я неожиданно для себя фыркаю. Мать и дочь одновременно вскидывают на меня глаза. Женщина краснеет.

— Ой, извините, пожалуйста, я вас не заметила, — говорит она. — Вы к нам?

Я пожимаю плечами:

— Не знаю. А к вам можно?

— Ну конечно! — она улыбается и кивает на табличку, которой я до сих пор не замечал. На табличке написано: «Семейный пансион „Меховая тапочка“».

— Наш пансион — единственное место в городе, где можно остановиться зимой, — со сдержанной гордостью говорит женщина, пропуская меня в дом. — А вы к нам надолго?

— Не знаю, — опять говорю я и, видя, что женщина смотрит на меня недоверчиво, повторяю: — Правда не знаю. Как получится.

Женщина серьезно кивает, как будто мое объяснение ее полностью удовлетворило.

— Меня зовут Мария Луиза, — говорит она. — А это Катарина. Катиня, поздоровайся с сеньором.

Катиня показывает мне язык и отворачивается.

— Катиня! — укоризненно произносит Мария Луиза. — Как ты себя ведешь? Что о тебе подумает сеньор?!

Катиня прячется за мать.

— Он не сеньор, — бурчит она тихонько. — Он дождь.

На мгновение мне кажется, что сейчас Мария Луиза всплеснет руками, скажет: «Ну конечно, как же я сразу не догадалась!» Меня выставят из «Меховой тапочки», и я пойду по улице, постепенно теряя ощущение себя-целого, распадаясь на не связанные друг с другом кусочки незнакомого пазла. Но Мария Луиза ободряюще мне улыбается, потом наклоняется и обнимает Катиню.

— С дождем тоже надо здороваться. Воспитанные девочки

обязательно здороваются с дождем.

— А невоспитанные? — спрашивает Катиня.

— А невоспитанные не получают пирога к чаю!

* * *

Мы пьем чай с пирогом и мармеладом на маленькой кухне, выложенной разноцветной радужной плиткой.

— «Меховая тапочка» — непривычное название для пансиона, — говорю я.

— Это наше зимнее название… — Мария Луиза пододвигает мне мармелад. — Летом мы называемся «Морские камушки». А зимой хочется чего-то теплого. Уютного, как фланелевая пижама и плед с кисточками. Или, вот, меховые тапочки.

— И много у вас постояльцев? — Не то чтобы это меня интересовало, но мне почему-то нравится беседовать с Марией Луизой.

— Летом да, очень. У нас же курортный город, пляжный. Он летом оживает, а зимой впадает в спячку. Как медведь. Здесь зимой делать нечего. Дождь все время… ох, простите! — Мария Луиза краснеет до слез.

Мне становится обидно.

— Если я загостился, я пойду, — говорю я. — Вас послушать, так это из-за меня тут зимой жизни нет. Я сегодня слышал, Катиню мной пугаете. Тоже мне нашли людоеда, пожирателя детишек!

— Но она же простужается! — Мария Луиза смотрит на меня жалобными глазами. — Она бегает по лужам, приходит мокрая, потом болеет!..

Представляю себе надрывно кашляющую Катиню, бледную, с блестящими температурными глазами, и мне становится скверно.

— Может, еще чайку? — преувеличенно бодро спрашивает Мария Луиза. — Горяченького, а?

Киваю, не говоря ни слова.

Катиня подходит ко мне и берет меня за руку.

— Не слушай маму, она паникерша. Я простужаюсь только летом, когда пью холодную воду. Пусти-ка, — командует она и лезет ко мне на колени. Несколько секунд изучающе смотрит на меня внимательными круглыми глазами. — А вот скажи, куда идет дождь, когда он идет?

Неопределенно пожимаю плечами. Как объяснить, куда идет дождь, если дождь до сегодняшнего утра даже и не подозревал о том, что он куда-то идет?

— Завтра я тебе покажу, — говорю я Катине и перевожу взгляд на Марию Луизу, которая хлопочет над чаем. — Я остановлюсь у вас ненадолго? Если можно.

Она протягивает мне чашку и улыбается:

— Да, конечно! Мы с Катиней будем очень-очень рады! Правда, Катиня?

* * *

Катиня выдумала игру. Называется «Куда идет дождь». Мы играем в нее все вместе, хотя Мария Луиза и ворчит иногда, что у нее много дел. Надо развернуть карту городка и не глядя ткнуть в нее пальцем. Потом мы выходим из дому и идем туда, куда указал палец. Катиня бежит впереди нас и кричит: «Уступите дорогу! Все уступите дорогу! Дождь идет!»

Я понял, что пансион «Меховая тапочка» в пустом курортном городе — идеальное место для усталого зимнего дождя. Я уже знаю, что такое кофе, и, оказывается, предпочитаю чай и горячий шоколад с ванилью. Я попробовал океанскую воду и обнаружил, что у нее вкус поцелуя. Забредя однажды с Катиней на пустырь, я весь перемазался в глине. Запахи, звуки, прикосновения не кажутся мне больше разрозненными картинками, каждое ощущение тянет за собой сотни других, настоящих и воображаемых. Я счастлив. И даже мысль о том, что однажды все это закончится, меня не пугает. Я научился складывать свой пазл и знаю, что это умение никуда от меня не денется.

* * *

Я просыпаюсь от ощущения, что в окно с курлыканьем бьется яичница с ветчиной. Открываю глаза. На карнизе толстый голубь крутится перед флегматичной голубкой. С кухни пахнет чем-то вкусным, а с улицы доносятся голоса Марии Луизы и Катини. Выглядываю в окно. Мария Луиза, стоя на стремянке, снимает табличку «Семейный пансион „Меховая тапочка“». Когда я выхожу на улицу, Мария Луиза уже слезла со стремянки, а над дверью красуется табличка «Резиденциал „Морские камушки“». Значит, весна, начало курортного сезона, и больше мне здесь делать нечего.

В этот день мы гуляем просто так, не играя в «Куда идет дождь». Улица за улицей я прощаюсь с маленьким сонным городком. Он изменился. Кое-где в домах открыты ставни,

откуда-то до нас доносятся голоса, смех, иногда — собачий лай. «Странно, — думаю я. — За всю зиму я ни разу не видел здесь собак». Мария Луиза берет меня за одну руку, а Катиня за другую. Я не знаю, о чем они думают, но чувствую, что обо мне.

А на следующий день я ухожу. Я обнимаю и целую Марию Луизу. У ее губ вкус океанской воды. Я подхватываю Катиню на руки и целую круглую щечку. Щечка пахнет ванильным шоколадом. Мария Луиза всхлипывает.

— Не плачь, — говорит Катиня, — он вернется! Ты ведь вернешься?

— Конечно, — отвечаю я. — Разве ты забыла, что дождь возвращается каждую зиму?

Мария Луиза улыбается и прижимает к себе Катиню.

— Ты тоже, пожалуйста, об этом не забудь, — тихонько просит она.

* * *

Я иду прочь, прямо через деревья и дома. Через сотню шагов оборачиваюсь. На пороге залитого солнцем двухэтажного розового домика стоят две фигурки — одна побольше, другая поменьше — и машут мне ненужными по такой погоде красными зонтиками.

Чайный пудинг

Сахар, 150 г
Зеленый чай, 100 г
Молоко, 3 дл
Желтки, 8 шт.
Несоленое сливочное масло

Высыпать чай в кастрюльку, залить кипящим молоком, закрыть крышкой и дать настояться 15 минут. Отфильтровать. Оставить остужаться.

Растереть желтки с сахаром, после этого, не переставая помешивать, начать понемногу добавлять остывший чай с молоком.

Смазать форму для пудинга (диаметр — 14 см, высота — 8 см) сливочным маслом. Вылить туда получившуюся массу.

Запечь в среднегорячей духовке.

Подавать остывшим.

Мария Станкевич

Вопрос веры

Бог пришел ко мне вечером. Ровно через полчаса после того, как я перестала в него верить. В дверь аккуратно постучали (звонок у меня не работает, и руки никак не дойдут починить), я посмотрела в глазок. Он стоял на лестничной площадке, пританцовывая, словно в туалет хочет. В одной руке пакет, в котором угадывается стеклотара, в другой — коробка с тортом.

— Привет, — сказал он, когда я, налюбовавшись на его небритую физиономию, все-таки открыла дверь.

— Привет, — хмуро сказала я. — Ты опоздал, я в тебя уже не верю.

— Да? — он, по-моему, удивился.

— Да, — я тоже удивилась, я думала, он все самым первым узнает.

— Ну ладно, — как-то слишком легко согласился он. — Можно я в туалет зайду? А то пиво, знаете ли.

Я впустила его, одной рукой отодвигая собаку, порывающуюся его облобызать (а вместе с ним и тортик; и еще вопрос, если честно, кого больше), второй пытаясь застегнуть пуговицу на штанах (блин, ну давно надо было или похудеть, или перешить). Он вручил мне пакет и коробку, стянул ботинки, чмокнул собаку в лоб, отчего она, слегка обалдевшая, села на попу и загадочно улыбнулась, и пошел в глубь квартиры, прямо к заветной комнатке. Интересно, откуда он знает, куда идти, он же у меня ни разу не был? Впрочем, чего это я, квартира-то стандартная.

Не было его долго, видимо, пива было много. Бог, тоже мне, подумала я, с такими пустяками не справляется. Правильно я в него больше не верю.

Я ушла на кухню, положила его гастрономию на стол (в пакете что-то радостно зазвякало и забулькало), машинально нажала на кнопку пуска чайника. Собака увалилась на пол. Одним глазом поглядывала на торт, вторым следила за коридором.

— А вот и я, — радостно возвестил он, заходя на кухню и усаживаясь на табуретку (собака тут же полезла ему носом в ладонь). Я молчала.

И он молчал.

Короче, мы молчали.

Минут пять.

Или шесть.

— Слушай, — наконец сказал он обиженным голосом. — Ну что такое, честное слово? Ну не веришь в меня и не надо, но чаем-то напоить можно?

Потом добавил, кивая на стол:

— У меня тортик есть. Птичье молоко, между прочим. Ты же любишь?

— Не нужен мне твой тортик, — проворчала я и полезла за чашками.

— Мне в той, которая со щенками, — торопливо сказал он. И добавил смущенно: — Люблю щенков.

Я достала ему «которая со щенками», себе взяла одну из «штатских» (в смысле, из Штатов, Соединенных Штатов Америки), с коллажем из видов прекрасного города Вашингтона. Поставила обе чашки на стол, открыла сахарницу, заварочный чайник из холодильника вытащила. Он в это время разламывал коробку с тортом: отколупывал скрепки с боков, распрямлял картонные борта, чтобы удобнее резать и брать было. Вынул ножик из кармана, покромсал кулинарное изделие огромными кусками. Один кусок, не дожидаясь чая, надкусил (кусочек шоколадной корочки упал на пол), второй засунул в рот собаке. Она заглотила торт одним махом, шумно и довольно задышала.

Я налила чай, пододвинула ему чашку, сахарницу, села напротив. Он захватил сразу кусочков пять сахара, полюбовался на них, сказал «ух ты» (у меня сахар смешной: цилиндрической формы и разноцветный — оранжевый, зеленый и желтый). Наглядевшись, бросил в чашку, начал размешивать ножиком своим перочинным: я забыла дать ему ложечку. Шумно отхлебнув, покачал головой, добавил еще два кусочка. Снова попробовал, остался доволен.

— Как мама? — спросил он, выпив полчашки. — Не болеет?

— Ничего, — вежливо ответила я. — Сердце иногда пошаливает, но в общем ничего.

— Ты за ней следи, я-то не всегда успеваю.

— Слежу.

— Ну а вообще как дела?

— Нормально.

Он доел третий кусок (не забыв поделиться с собакой, которая, судя по блаженному выражению на морде, готова была пойти за ним на край света хоть сейчас) и встал из-за стола. Потянулся, хрустнув суставами, прошелся по кухне. Заметил на одной из полок губную гармошку, потянулся за ней.

— Не надо, — сказала я. — Собака выть начнет, а уже поздно, соседи спят.

Вместо ответа он облизал губы, приложил к ним гармошку и издал тихий гудящий звук. Собака подняла голову, пошевелила правым ухом, прислушиваясь. Откликнулась тихонечко. Он сыграл два такта, она подвыла точно в тон.

Музыканты, блин. Что я соседям скажу?

Они сыграли и провыли мне «Oh, Susanna», «My Bonnie», «Amazing Grace» и еще какую-то мелодию из арсенала начинающего гармошечника, название которой я забыла. Закончился маленький ночной концерт торжественным исполнением гимна Советского Союза, причем если предыдущие песенки моя собака слышала, когда я старательно пыталась надуть их сама, то откуда она знает мелодию гимна, я ума не приложу.

— Браво, — сказала я, посвящая это больше тому, что соседи так и не начали ни выламывать мою хлипкую дверь, ни даже гневно стучать в стены.

— Ну ты чего? — вдруг грустно спросил он, откладывая гармошку и присаживаясь за стол. — Чего ты?

— Ничего.

— А почему ты в меня больше не веришь?

Я не смогла честно ответить ему на этот, в сущности, простой вопрос. Отчасти оттого, что говорить такое, смотря при этом ему в глаза, достаточно глупо, отчасти оттого, что и сама до конца не понимала — почему. Так получилось.

— Так получилось, — сказала я и подумала, что более идиотского ответа он, наверное, и не слышал никогда. Ща-ас как обидится.

Но он не обиделся, улыбнулся ласково.

— Дурында, — сказал и потянулся за чайником.

Я кивнула. Дурында, чего уж там.

Он налил нам остывшего чаю, положил в свою чашку сразу восемь цилиндриков сахара (четыре оранжевых, три зеленых и один желтый), взял два куска торта — один себе, другой отдал собаке.

— Извини, — сказала я.

— Да ладно, чего там, — отмахнулся он, жуя. — Я же понимаю. Я поэтому и пришел.

— А? — глупым голосом сказала я.

— Ага, — вздохнул он, а больше ничего не добавил.

Но я, кажется, поняла.

Через пять минут он встал с табуретки, стряхнул на сопящую от счастья собаку крошки, потянул на себя пакет (в нем снова раздалось дзиньканье и бульканье), сказал:

— Ладно, я пошел. Пора мне.

— Не уходи, — попросила я. — Не уходи.

— Надо. Не сердись, — сказал он. — Не сердись.

Уже на пороге, когда он обувался, я спросила:

— Можно задать тебе один вопрос?

— Валяй, — разрешил он, завязывая бантиком шнурок на

левом ботинке.

— Что у тебя в пакете?

Он глянул на меня исподлобья, усмехнулся.

— Да вот, — ответил, — тут у вас в седьмом доме чувак живет. Бизнесмен. Через час решит покончить с собой. А он ничего, кроме коньяка, не потребляет, понимаешь?

Я кивнула.

Я понимаю.

Он выпрямился, притопнул ногами, проверяя крепость шнурков, поцеловал собаку, которая уже к этому моменту сидела на попе, внимательно наблюдая за его руками. Повозившись с замком (он у меня заедает, а починить руки никак не дойдут), открыл дверь, вышел на лестничную площадку. Подмигнул мне через плечо и начал спускаться по лестнице, тихонько насвистывая гимн Советского Союза.

Я немного постояла слушая, затем закрыла дверь и пошла на кухню мыть посуду.

Имбирный чай
(Рецепт от макса Фрая)

Имбирным чаем не грех угостить даже бога, если уж он к вам пришел. Особенно если это случилось в дождливом ноябре. В наших широтах даже боги по осени зябнут.

Свежий корень имбиря очистить от кожуры, натереть на крупной терке, бросить в закипающую воду (примерно один большой или два мелких корешка на литр воды; если вы любите острые приправы, число корешков можно увеличить вдвое, вам понравится) и варить на очень медленном огне примерно пять минут. Снять с огня, слегка остудить (вот буквально несколько секунд подождать, этого достаточно). После этого можно залить имбирной водой черный чай, заранее помещенный в предварительно прогретый заварочный чайник, а можно бросить чайные листья в имбирную воду — если вы варили ее не в кастрюле, а в огнеупорном чайнике.

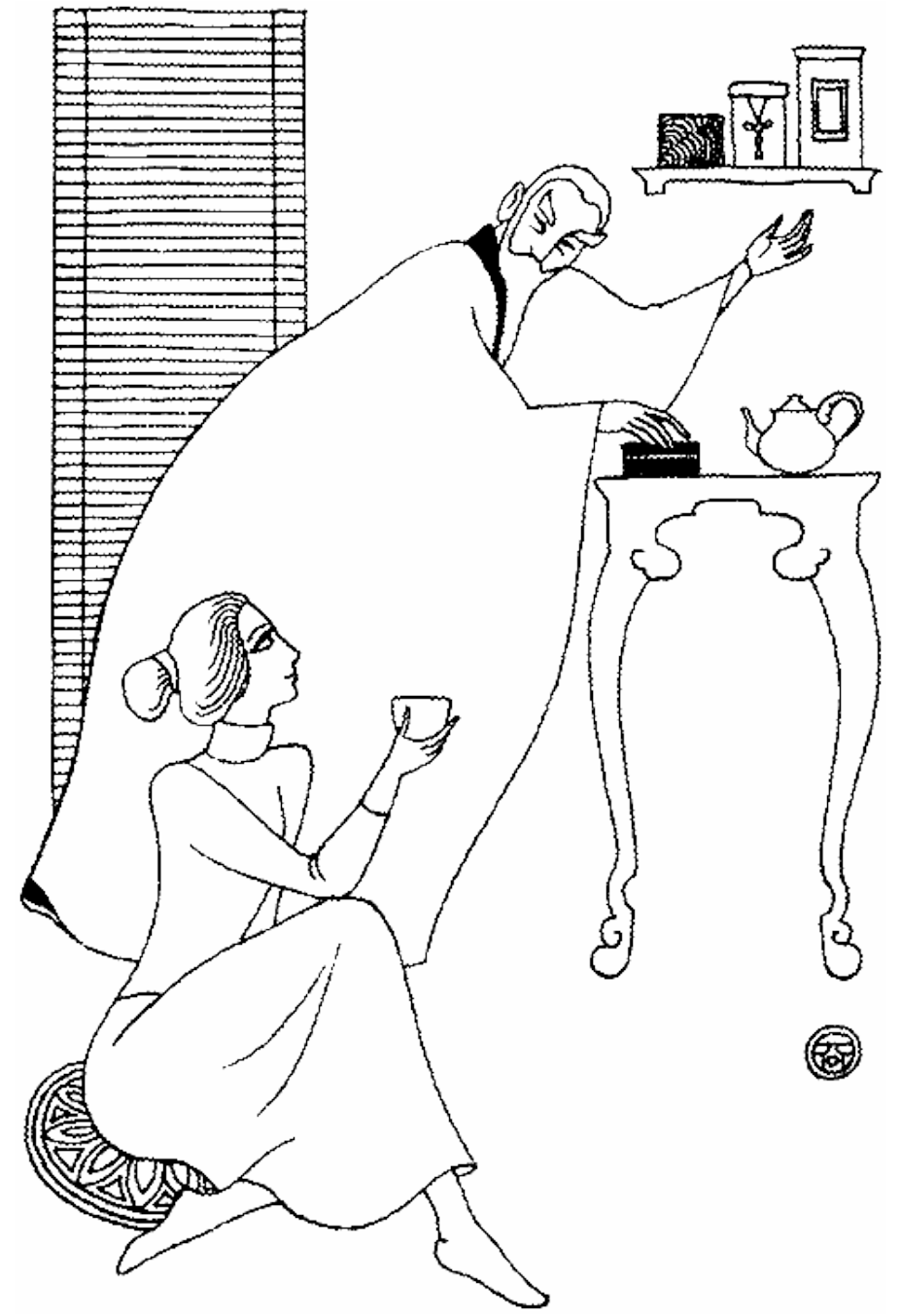
Зеленый чай заваривать имбирной водой не стоит. Мы пробовали, невкусно получается.

Зато — сюрприз, сюрприз! — можно обойтись вовсе без чая. Я хочу сказать, что эта самая имбирная вода сама по себе прекрасный напиток. Особенно если пить ее вприкуску с медом.

И конечно, разливать имбирный чай придется через

ситечко. Если этого не сделать, чаепитие превратится в увлекательную охоту за имбирными волокнами, не факт, что это понравится богу, который, не сомневаюсь, уже стоит на вашем пороге.

Юлия Бурмистрова



Виргиния Министрова, дождь, сахар и половинка

хлеба

Виргиния Министрова стояла у подъезда, смотрела на дождь и думала.

Думала о зонтике, который висит в прихожей на подсвечнике, и о том, что он, наверное, обидится, потому что ему не дали сегодня расправить крылья, и в следующий раз снова забудется в отместку.

Потом подумала еще о разных глупостях и шагнула под дождь.

— Жаль, что я не сахарная, — думала Виргиния, шлепая по лужам. — Если бы я была сахарная, я бы сейчас медленно таяла и смешалась с ручейками, а бездомные кошки лакали бы ручейки и дивились тому, что они сладкие. Если бы я была сахарная, то все симпатичные автолюбители предлагали бы меня подвезти, а сами тайно вдыхали мой сахарный аромат. Если бы я была сахарная, то тогда у меня была бы совершенно другая жизнь — горячая и сладкая, как чай.

Виргиния так расстроилась, что она не сахарная, что решила тут же придумать, почему хорошо не быть сахарной.

— Если бы я была сахарная, то ко мне прилипали бы всякие мухи и другие нехорошие люди. Если бы я была сахарная, то приходилось бы все время есть одни соленые огурцы, чтобы поддерживать себя в форме. Если бы я была сахарная, то не смогла бы купаться в море, а я так люблю купаться в море. Да и вообще, не все же любят сахар.

И тут Виргиния поняла, что на самом деле не важно, сахарная она или нет, а главное то, что она сегодня еще ничего не ела.

Она стала придумывать, как вернется домой и какие вкусные вещи себе приготовит — и с сахаром, и без. И съест. Все сразу. И запьет горячим сладким чаем.

И она решила зайти купить хлеба.

— Мне, пожалуйста, половинку черного, — сказала Виргиния продавщице и протянула на ладошке монетки.

Продавщица равнодушно дала хлеб и так же равнодушно сгребла монетки: «Следующий».

— А мне, пожалуйста, — произнес приятный мужской голос, — вторую половинку.

Виргиния улыбнулась, но поворачиваться, чтобы посмотреть, кто купил вторую половинку ее хлеба, не стала. И вышла на

улицу.

Виргиния стояла у подъезда магазина, смотрела на дождь и думала.

— Давайте я вас провожу под своим зонтиком, — раздался все тот же приятный мужской голос.

— Меня? — переспросила Виргиния и опять решила не поворачиваться.

— Вы, конечно, не сахарная, но я просто обязан проводить свою половинку хлеба домой.

— Вашу? — опять переспросила Виргиния и улыбнулась.

Они шлепали по лужам, неся каждый свою половинку хлеба, и болтали о разном.

Совершенно забыв раскрыть зонтик.

Самый лучший рецепт

Виргиния Министрова больше всего на свете любила хороший чай. Но никак не могла определиться, какой именно чай будет самым любимым. Единственное, что она знала определенно, — чай должен быть китайским. Во-первых, это родина чая, а во-вторых, Виргинии очень нравились иероглифы на упаковках. Они напоминали ей детство, когда она записывала-зарисовывала все, что с ней происходило, непонятными рисунками-каракулями. Первый иероглиф, который она научилась читать, было слово «доверие» — он изображался в виде младенца в когтях орла. Виргинии показалось невероятно трогательным записывать слова и мысли в виде образов, так что она без оглядки доверилась всему китайскому. А тем, кто возражал ей, что «мейд ин чайна» плохое и некачественное, отвечала, что «мейд ин чайна» отличается от «чжун го дэ» также, как отличается «Мадонна» на марке от «Мадонны» в Лувре.

Виргиния Министрова с гордостью и чувством собственного достоинства говорила: «Да, я люблю только китайский чай», поворачивалась спиной и входила с высоко поднятой головой в китайскую чайную лавку. Но как только за ней захлопывалась дверь, она превращалась в растерянного ребенка, которому дали самому сделать выбор между вкусным и мягким. Она топталась около чайных полок, вдыхала ароматы, аккуратно трогала кончиком пальца чайные листики и

вздыхала в невозможности выбрать свой чай.

— Ты слышишь, — произнес вдруг кто-то на плохом русском языке.

— Что я слышу? — удивленно переспросила Виргиния, не поворачиваясь.

— Ты слышишь чай, такой самый лучший тебе, — опять произнес неизвестный. — А так есть ты слышать все чай, то главный тебе не лист, а ваше прогулка.

— Ох, — сказала Виргиния, — вы так красиво говорите, но совершенно непонятно.

— Идти сюда, я показывать. Вместе путешествуем, да? Тебе можно. — Незнакомец взял ее за руку, и только тут Виргиния повернулась и увидела, что около нее стоит маленький седой китаец с бородой и большими бровями. Виргиния кивнула, и китаец повел ее за прилавок, где оказалась небольшая дверка, которую Виргиния раньше не видела.

Дверка вела в небольшую комнату без мебели — в центре лежала циновка, на которой были разбросаны подушки. Еще там были чайники, чашечки и какие-то неизвестные предметы.

— Сидеть угодно, я провожать, — сказал китаец и жестом показал, что можно сесть. Виргиния сняла туфельки и скромно присела на краешек циновки. А китаец начал неторопливо, но все равно быстро что-то переставлять, передвигать и наконец тоже сел напротив Виргинии.

— Чай разный. Весна или зима, радость или печаль, утро или ночь — всегда разный чай, — начал рассказывать китаец. — Можно чайник, можно чашка, можно хоть в банка. Варить или лить горячий вода, — это глупости, хе-хе. Многие думать, это важно, и делать много действий, водить рукой или платить много деньги, чтобы другой водил рука. Если тебе не лечить себя, то чай разный, любой и действия любой. Если лечить — тогда важно чай. Черный пуэр согревать, давать сил и не спать, когда много съел, лечить. Белый бай мудань — для поэзия и весна, когда душа лечить. Желтый цзюньшань иньчжень — страх лечить. Красный дянь хун — после много водка лечить. Зеленый — все лечить. Но каждый день нет что лечить, поэтому каждый день любой.

Виргиния завороженно слушала и незаметно для себя устроилась удобней на циновке.

— Самый лучший рецепт чай — это ваше путешествия с чай. Действительность так, что все, что я говорить про лечить, тоже ерунда. Если ты путешествуешь с чай, то он сам знать, что лечить, надо ли. Главное не как и какой, главное ты сама.

— А как, как путешествовать с чай? — не выдержала Виргиния.

— Вот так. — Китаец протянул Виргинии небольшую чашку чая, которую успел приготовить, пока рассказывал. — Просто помолчи. Если ты не путешествовал с чай, то первый раз можно закрыть глаз.

Виргиния взяла чашку чая, поднесла к губам, сделала первый глоток и закрыла глаза. Сначала она ничего не почувствовала, поспешила сделать второй глоток — и опять ничего не почувствовала.

— И не думать, — услышала она голос китайца.

* * *

— Спасибо, — сказала Виргиния, когда они спустя час вернулись из комнатки обратно в магазин. — Это было

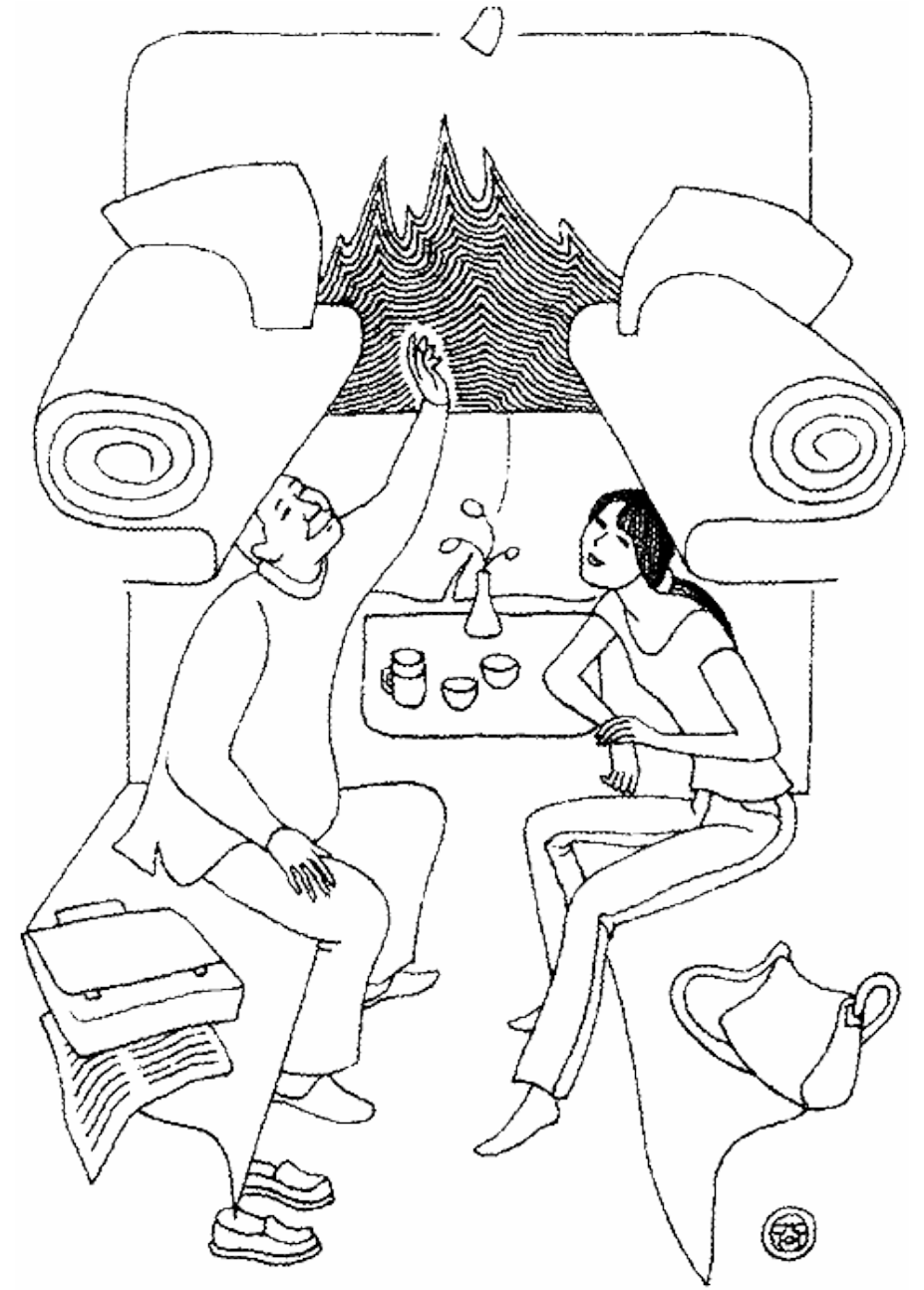
хорошее путешествие. Пожалуй, я куплю… пуэр, который «когда много съел лечить».

И Виргиния по-детски смущенно улыбнулась.

Вернувшись домой, она записала в своем дневнике: «Сегодня я узнала самый лучший рецепт чая. надо взять любой хороший чай и заварить его. А потом просто помолчать».

Запись заканчивалась четырьмя иероглифами. Виргиния не могла понять, как она их записала, но она точно знала, что они обозначают: «На пути все происходит само собой».

Марина Богданова, Оксана Санжарова



Тунгусская ракета

За пять минут можно спроворить целую кучу вещей. Можно

успеть добежать до вагона, расцеловаться с мамой и Светкой, наобещать с три короба, вскарабкаться по лесенке, ушибить коленку о железную ступень, принять тяжеленную сумку со шмотками и еще одну, с едой в дорогу, и пусть проводница недовольно морщится, Ритка все равно будет махать и махать им из-за немытой двери, и они будут махать и махать, а потом пойдут домой, уже без нее. Потому что она уедет, наконец-то уедет, одна, сама по себе, в большую жизнь, в большой город, а там посмотрим, как дело сладится.

У Ритки волосы стянуты в конский хвост, бисер на бархатную резинку она пришивала сама, получилось просто обалденно. У Ритки высокие скулы, темные глаза и слегка плоское лицо, в ее краях это не редкость. Ритка будет поступать в этом году, мать советует ей пойти в педагогический, но Ритка еще не решила, кем хочет стать на самом деле. Она идет по вагону, ищет свое двадцать восьмое место, тяжеленные сумки оттягивают ей руки, все-таки две банки морошкового варенья она взяла зря, хватило бы и одной. Вагон полупустой, основная масса народу сядет в Петрозаводске, ее попутчиком оказывается пожилой дядька, он галантно поднимает крышку сиденья, помогает убрать сумки в железный ящик и даже предлагает поменяться: Рит-кино верхнее место на свое нижнее. Конечно, Ритка торопливо отказывается, да ну еще, с какой радости, но все равно приятно, ужасно приятно. Она стелет сырое полосатое белье, Александр Маркович в это время деликатно выходит покурить. Ритка знает, что надо сделать что-нибудь хорошее, что-нибудь доброе для этого старомодно любезного дядьки. Даже придумала, что именно. Она достает из сумки пакет с пирожками: домашние, еще теплые пирожки пахнут на весь вагон. И чай тоже достает, настоящий фруктовый «Пиквик», со вкусом персика, идет к проводнице за двумя стаканами, набирает из титана крутого кипятку и возвращается назад медленно, чтобы не расплескать. Она очень надеется, что дядька не станет излишне деликатничать, потому что есть в одиночку ей будет неловко и стыдно, а пирожков хочется ужасно, особенно с луком и грибами. Впрочем, и с брусникой ничего. И с картошкой, намятой на жареном сале, — это мама уж совсем расстаралась, отдельно томила сало до хрустящих шкварочек, толкла рассыпчатые картофелины с укропом и зеленым луком, по щекам ее катились слезы, а мама смеялась, говорила, что у нее горе луковое, потому что лук молодой, злой.

Александр Маркович от угощения не отказался, пироги ел да нахваливал, а потом достал деревянный ящик и загадочно сказал: «Пуэр». В ящике, в гнездышках зеленого атласа, лежали две китайские чашечки и глиняный коротконосый чайник. По

зеленому атласу выгибались златотканые драконы, Рита глазам своим не поверила, что можно прямо так, в дороге, возить с собой и чашки, и даже чайник! Просто как Печорин, в самом деле. Кипяток в стаканах уже слегка остыл, но Александр Маркович сказал, что только такой и нужен, пуэр шпарить недопустимо. Чай хранился в том же ящике, в круглой жестянке с иероглифами, черно-седые кусочки. Про шикарный персиковый «Пиквик» сосед обронил, что пакетиковые чаи годятся лишь на одно — на тунгусскую ракету. Ни о какой тунгусской ракете Рита никогда не слышала, и сосед попросил у нее один пакетик, для демонстрации.

— Пришли однажды американцы к тунгусам и говорят: тунгусы, вы нам золото, а мы вам ракету. А шаман тунгусов говорит: есть у нас ракета. Они ему: врешь, покажи! Тут он им показывает вот такую штуку (и Александр Маркович покачал перед Риткой пакетиком). Американцы не верят, конечно, злятся. Да разве это ракета? Да разве полетит? Но тунгус — он упрямый, говорит: полетит. Американцы за ниточку дернули, оторвали, говорят: теперь не полетит. А шаман головой качает. Американцы скрепочку выломали — ну куда вы без скрепочки? А шаман говорит: все равно полетит. Американцы из ракеты все топливо выдули, чтобы не полетела. А шаман смеется: все равно полетит как миленькая. Ну ладно, говорят американцы. Полетит твоя ракета — дадим сто баксов, не полетит — отберем ваше золото. Тогда шаман взял ракету, поставил ее вот так, стоймя, на тарелочку и сказал: раз-два-три, гори!

Александр Маркович достал из кармана зажигалку и поджег белый полупрозрачный столбик. Пламя сожрало бумажку, почти лизнуло блюдце и вдруг тунгусская ракета взметнулась вверх и быстро полетела к потолку вагона. Ритка взвизгнула от неожиданности и восторга и расхохоталась, а вместе с ней рассмеялся и сосед. Погубленного «Пиквика» было чуть-чуть жалко, но дело того стоило.

Чай заваривали хитро. Сперва Александр Маркович залил его горячей водой, что принесла Ритка. Залил и сразу же выплеснул ее обратно в стакан, но пить не велел.

— Это мы его умыли, проснулся наш пуэрчик, — приговаривал сосед, прикусывая пирожок с брусникой и яблоками. — А вот это мы его заварили, теперь постоит минутки три, и можно пить. Ну, Маргарита, ваша мама просто гений, пирожных дел мастер. Завидую я вам, белой завистью завидую. Мои поклоны и восхищение! О! И чаек уже готов!

Ритка держала на весу крохотную глиняную чашечку-пиалку, изнутри полыхающую алой глазурью, и думала: еще кто кому тут

завидует! Это ж надо ж так, просто волшебство какое-то. Сидит взрослый человек, уже почти старый даже, пьет черт-те что из музейного чайника да еще и с огнем балуется средь бела дня. И не боится, что за психа примут! У нас бы точно приняли.

Чай оказался со странным привкусом, персиковый был куда лучше, хоть и пакетиковый. Ритка из вежливости выпила вторую чашечку, радуясь, что они такие маленькие. Александр Маркович рассказывал про Китай, про китайского настоятеля, который сказал своим бедолагам монахам: «Никакого свежего чая, пока старый не истребим». Монахи приуныли, потому что старый чай лежал в подвалах уже лет десять и за это время должен был уже превратиться в сено, в труху. Но вот же чудо природы, ни чуточки он не испортился, наоборот, отменно созрел и стал целебным, изысканным, с удивительным букетом.

— Правда, некоторые говорят, что у него землистый вкус, представляете, Маргарита, землистый! Я сам-то археолог, земли съел пуды, могу, слава богу, отличить!

«Вот оно! — хихикнула Ритка про себя. — Точно, чай землей пахнет!»

— Теперь его специально прессуют в блины, в кирпичи или в чашечки, а самый ценный — в виде тыквы, по целому килограмму. Пролежит такая тыквина в шкафу на полочке лет эдак тридцать и будет стоить на вес золота, если не дороже, а потом с ней что хочешь делай: хочешь, пей, хочешь, продай, а хочешь — подари китайскому императору, тот очень обрадуется. Вот представьте, барышня, нечего вам императору подарить и вдруг вы вспоминаете, что у вас же в шкафу чаишко какой-то пыльный-забытый уже тридцать лет валяется!

Ритка не очень-то въезжала во все эти тонкости, но было здорово и смешно представлять себе китайских монахов и довольного императора с золотой тыквой в руках, и впереди маячил Петербург, а там, конечно, все должно было сложиться очень хорошо.

В Петрозаводске к ним вошли две тетки, подозрительно оглядели все вокруг и сели, важные, как статуи. Александр Маркович улыбнулся Ритке и исчез не то в тамбур, не то в вагон-ресторан, а Рита взяла книгу и полезла к себе на верхнюю полку. Под мерное покачивание поезда она довольно скоро уснула, но перед сном вдруг поняла, что такое правильная жизнь. И еще поняла, что, наверное, даже если ей не удастся поступить, она все равно не вернется к себе в городок. Ни за что на свете. И еще. Она непременно научится пить этот землистый пуэр.

Отрыв ярлычка

— Эй, — как-то слишком уж направленно крикнули из тени колоннады. — Эй!

— «Эй» — это что значит? — Ритка подняла голову и прищурилась в сумрак.

— «Эй» значит «о прекрасная незнакомка, имя которой для меня пока скрыто, не хочешь ли ты спастись от безжалостного светила под сенью этой величественной архитектурины и испить со мной божественного напитка?» Проще говоря, портвейн будешь?

Его звали Алекс (Леха, мысленно перевела Ритка). У него было загорелое лицо лисьего очерка, темные волосы, собранные в плотный хвост, в точности как у Ритки, а еще тельняшка на длинном туловище и выгоревшие защитные штаны с кучей карманов на тощей заднице. На худых запястьях две фенечки: залоснившийся кожаный шнурок со множеством мелких узелков и бисерный черный браслет. Такие браслетики Ритка и сама умела плести, по детской книжке «Бусинка за бусинкой», на четыре бисерины или на шесть, только на третьем ряду обычно сбивалась. Еще у него была гитара с надписью: «Из крысы прямо в ангелы» — и да, портвейн. Полбутылки. Без стаканчика. Вот без стаканчика — это просто хуже не бывает. Когда дома с ребятами покупали пиво, брезгливая Ритка правдами и неправдами выторговывала себе банку, потому что к банке реже пытаются присоседиться.

— Прекрасная дама считает, что мы еще не дошли до нужной степени близости и обмен жидкостями тела недопустим? Нет проблем, сей кубок сохранит чистоту ваших уст. — Он покопался в сумке и вынул металлический стаканчик. — За что пьем?

— За памятник, — сказала Ритка.

— Этот или этот? — Он указал поочередно на Кутузова и Барклая.

— За нерукотворный, Александру Сергеевичу Пушкину. Я по нему сегодня сочинение писала.

— Герцовник? — Он помахал рукой за спину, в приблизительном направлении педвуза.

— Ага.

— Хорошо. Мы пьем это вино за ваш памятник, дорогой Александр Сергеевич, который вам воздвиг и гордый сын… нет, внук славян, и финн, и ныне дикой тунгус, — тут Алекс оценивающе взглянул на Ритку, — и друг степей калмык. Да, пожалуй, что тунгус.

— Я нет, я… этот… финно-угр, с мордовской примесью.

— Ну какой ты финно-угр, я же это и не выговорю. Ты типичный тунгус. Пока — дикий. Но я тебя буду понемножку

приручать и в Летний сад гулять водить. Пойдем, я тебя поприручаю в Летнем саду.

В летнем Летнем саду лебеди лениво вылавливали из воды размокшую слойку, солнце пятнало нимф с подклеенными носами, и вообще было так благостно, что даже милиция не обернувшись прошла мимо скамейки, на которой мальчик и девочка, бурно жестикулируя, самозабвенно орали: «Я памятник! Себе! Воздвиг! Нерукотворный!»

Вечером Ритка возвращалась в общагу, где в неуютной голой комнате ютились пятеро приезжих девчонок. Вступительные экзамены, нервотрепка, билеты и торопливые шпаргалки, нетерпеливые очереди в сортир и к розетке: «Ир, одолжи утюг!» — «Да достали уже, блин!» — «Ну пожаааалуйста…» Дружбы Ритка ни с кем из соседок не свела, да и к ней никто не проявил интереса. У нее не было ни утюга, ни электрочайника, ни сигарет стрельнуть; от окна, где она лежала, отчаянно дуло, под серую марлю протискивались тощие и злые питерские комары. Каждое утро мордастая тетка на вахте равнодушно напутствовала абитуру одним и тем же: «Позже десяти не возвращаться, не пущу! И к себе чтоб не водили!» Хуже всего приходилось по ночам: Алена, соседка справа, оглушительно храпела, из коридора воняло куревом, а на улице хохотали старожилы-старшекурсники, крутили амуры, запрещенные в стенах общежития. Знаменитые белые ночи постепенно сгущались и темнели, не то что дома; Ритка лежала, глядя в потолок, и мысленно обещала себе, как Скарлетт О'Хара в фильме: «Нет уж, здесь я не останусь. Как угодно, что угодно, хоть под мостом, хоть где, только не в общаге!»

Объявление она заметила сразу — написанное тупым и голодным плакатным пером, гуашью цвета засохшей крови: «Требуются дворники. Жильем обеспечиваем. Прописка не предоставляется. По вопросам трудоустройства обращаться…» — и, почти не задумываясь, потянула тяжелую дверь с черно-золотой табличкой «РЭУ №…».

Выламывание скрепки

— Смотри, этот ключ от верхнего замка, этот — от нижнего, этот — от комнаты. Дома сейчас разве что бабка Зоя, ты ее не бойся, она рёхнутая, конечно, но так ничего, не злая.

Не умолкая ни на минуту, Юрий Андреевич («да Юра я, просто Юра!») гремел ключами, дергал дверь поудобнее и так, и эдак, открывал, шарил в поисках выключателя.

— Тут вот, смотри, направо баб Зоя, налево Мухаммед, потом еще налево — пока закрыто, там прошлые дворники барахло не забрали. Потом тут, смотри, сортир-ванна, но колонка сломана. Кухня вот — про конфорки сама спросишь, а вот это — твоя дверь. Вот, блин, а ключ-то и не нужен. Эти жуки ушлые, когда съезжали, замок выкорчевали. Ну нет, ну это люди, да?

Жуки ушлые выкорчевали не только замок. С потолка свисал обрывок провода, розетки были выдраны с мясом, со стен, похоже, сдирали какие-то дорогие сердцу плакаты вместе с кусками обоев.

— М-да, — сказал Юра, — зато паркет смотри какой, чистый дуб! И потолок без протечек.

— А печка?

— Что печка?

— Печка действующая?

— А кто ее знает? Не топил же никто. Если никакая ворона в дымоходе не сдохла, может, и действующая. Ты это, ты Мухаммеда попроси с проводкой помочь. Он мужик рукастый. Вот отсюда соплю провесить вот сюда и выключатель прицепить, всего делов. От же гондоны! — вздохнул он не без восхищения. — Я ведь когда их запускал, тут и замок был, и лампочка, диван вот еще старый стоял — всё подчистую попёрли, а работали полгода и то кое-как. Ты, кстати, не забудь: завтра чтобы в шесть на месте была. А в восемь — планерка. У нас по вторникам всегда планерка.

У двери он вручил ей тяжелую связку: старый ригель и длинный ключ с одной бороздкой — от входа, легкомысленный латунный — от бывшего «ее» замка, тяжелый, с двумя бороздками — от дворницкой клетушки под лестницей дома № 8 по Владимирскому проспекту. В эту клетушку она уже относила сегодня ватник, оранжевый жилет и две новенькие жесткие метлы.

Ритка грохнула связку ключей на телефонную полочку и, повоевав с неповоротливым диском допотопного аппарата, набрала номер:

— Алекс, это я. Я, говорю, это Тунгус. У меня теперь есть комната, на улице Марата, там еще Музей Арктики и Антарктики, в соседнем доме, в первом дворе, вход напротив арки. Только тут нет электричества и вообще ничего нет. У тебя не найдется какого-нибудь старого одеяла? На время. Да, я сегодня смогу как-нибудь. Ой нет, я рада, конечно, приходи. Пятый этаж, квартира тридцать шесть. Ко мне три звонка.

Она положила тяжелую черную трубку и прошла, запоминая новый путь — длинным коридором и коротким, к порогу дырявой

двери, и вот оно, ее питерское жилище, пятнадцать квадратных метров. В общаге на эту площадь влезало пять кроватей, и четыре тумбочки, и два стола, и три табуретки, и узенький шкаф. Ее дом был ошеломительно пуст — от грязного высокого окна до ниши, в которой сохранились древние розовые обои в золотых букетах. На хваленом паркете, который «чистый дуб», валялись два ирисочных фантика, смятая пачка из-под «Магны» и пивная пробка. За окошком — рукой подать — облезлая желтая стена и кухонное окно с распахнутой форточкой, если лень идти по коридору, можно смело прыгать с подоконника на подоконник. В кухне было пусто, крашеные стены, драная клеенка на чьем-то столе.

Ритка порылась в сумке, вытащила старую футболку, какую не жалко, прокралась в ванную и взяла самое заброшенное ведро, в крапинках ржавчины и без ручки. Серый паркет намокал стремительно, темнел, шершавился, цеплялся за тряпку. Вода через два отжима стала мутной, а через три минуты — буро-черной. Ритка на коленях проползла все пятнадцать квадратных метров своего королевства. Сменила воду, проползла еще раз. И еще. Выливая третье ведро, почувствовала затылком пристальный взгляд, обернулась:

— Здравствуйте.

— Тряпку в толчок не упусти, — поприветствовала ее монументальная старуха, обернутая по пояснице пуховым платком. — Наберут тут бестолочей. Ничего толком не умеют.

В комнате теперь пахло не пылью, а мокрым деревом. Ритка задубевшими от ледяной воды руками еще раз выполоскала тряпку.

До прихода Алекса она вымыла окно, отскребла подоконник и протерла кафель печки, насколько достала. Гость скинул кроссовки у двери и выгрузил из рюкзака спальник, синий в красный цветочек.

— Смотри, разве это не универсальная мебель настоящего дикого тунгуса? Кровать, кресло и скатерть в одном флаконе. Владей!

Они постелили спальник на едва просохший пол под окном. В рюкзаке у Алекса, как обычно, случился портвейн — «это такой неразменный портвейн» — и стальной стаканчик. А еще книга «Сто лет одиночества», которую он оставил уходя, потому что эту великую книгу должен прочитать любой финн и друг степей калмык, не говоря уж о некоторых тунгусах.

Мама, узнав о Риткиных подвигах, только вздохнула. Про Алекса ей, впрочем, Ритка не рассказывала, просто сказала, что у

нее в Питере уже есть друзья.

Занятая комната стремительно прорастала жизнью. Утром, в полусне сбегая по лестнице, Ритка обнаружила между третьим и вторым этажом венский стул — немного забрызганный побелкой и довольно скрипучий, но вполне крепкий. Вечером татарин Мухаммед без долгих разговоров принес стремянку и моток провода, и ночью Ритка уже читала про городок Макондо при свете лампочки в сорок ватт. Через два дня к стулу добавился стол (в девичестве ящик из-под какого-то заморского пойла) и здоровенный квадрат толстого пенопласта. Теперь спальник поднимался над полом на почтенные пять сантиметров. Следующей добычей стало зеркало — мутное, в тусклой золоченой раме. Риткино лицо в нем отражалось по-русалочьи — зеленоватым и чуть чешуйчатым.

В сентябре, получив перевод от мамы, Ритка пошла на рынок, бюджетно затариться на месяц, и обнаружила себя в странном месте. Повсюду метались растерянные и встревоженные тетки с сумками, зловеще чернели ценники, переписанные наспех от руки. Деньги обесценились моментально, все перевернулось с ног на голову. Гречка стоит семнадцать рублей. Баночка красной икры тоже семнадцать рублей. Растительное масло сорок рублей, как коньяк, что же это делается? Ритка осмотрелась и поняла, что находится в стране феерических возможностей. Сбережений у нее нет, экономить бессмысленно, терять ей все равно нечего, вся наличность до зарплаты — вот она, в кармане. И как же классно, что она все-таки устроилась работать, вот сейчас бы еще и жить на одну стипендию! Мешок крупных серых макарон, самых дешевых, сахар, сто чайных пакетиков с принцессой Нури, рис, гречка, бутылка масла — вот и весь матушкин гостинец. Пересчитав остатки, Ритка махнула рукой и совершила трату, на какую бы нипочем не осмелилась при нормальном течении жизни. Деревянный ящичек, еще неделю назад он стоил целое состояние, а нынче за эти деньги и круп толковых не купишь. Продавец не сориентировался, а Ритка вот успела, протянула несколько бумажек и теперь тащит с базара драгоценность, настоящий крупнолистовой чай дарджилинг. Не пуэр, конечно, но надо же с чего-то начинать.

Однажды Алекс привел с собой невысокую серьезную девицу в очках. У девицы были черные кудряшки и огромная замшевая сумка.

— Тунгус, это Кролик. Кролик, это Тунгус, Никто никого не

ест, все садимся и пьем за мир вкусный и полезный портвейн, закусывая пряником печатным. Маэстро, доставайте!

В необъятной сумке были дары: маленькое лоскутное одеяло, мешок пряников, заварочный чайничек, три разнокалиберные чашки и небольшая круглая пиала из темно-серой глины с блестящим палочным иероглифом, правда, изнутри не алая, а желтая, но все равно настоящая. А большой чайник с голубыми розами по белой эмали Ритке презентовала жена Мухаммеда, Ильмира:

— Накипь там немножко убери, да? Вчера в телевизоре сказали: фанту налей, прокипяти — как новый будет. И не бойся. Хлеба, там, нету если, чая-сахара — стучи ко мне утром, позавтракаем.

Ильмира была маленькая, худенькая и походила на галчонка.

— Я тоже на учителя училась. Русский язык преподавать хотела. Да, Гаязик, что, мой золотой? Это тетя Рита, она теперь тут живет.

Вместе с началом занятий закончилась эпоха пенопласта: на дворницкой низкой тележке Мухаммед прикатил откуда-то пухлый пружинный матрас, с песнями втащил его по лестнице на пятый этаж и прислонил к стене возле Риткиной комнаты.

— Ты смотри, а? Втыкаем ножки, — он стремительно вкрутил четыре лакированных столбика, — ставим, а? Спи как королева!

С невинностью Ритка рассталась легко и буднично: вот вроде бы еще целовались, путаясь в руках под футболками. А вот уже колени раздвинуты и — ой, мама! Так, в одной футболке, ощущая текущие по ногам струйки, она и выскочила в коридор. Темный прямоугольник двери ванной был по краю обведен слабеньким, будто свечным, светом. Ритка поскреблась в запертую дверь, постояла, вслушиваясь в тишину, и полила себе из ковшика, сидя на унитазе.

Зима прошла в меру тяжело, не слишком голодно и довольно весело. Ритка научилась спать на лекциях с открытыми глазами, скалывать лед точными ударами ржавого лома и махать здоровенной лопатой. Под Новый год она купила у старух на Сенной коробку древних елочных игрушек и целую охапку колючих веток с длинными липкими шишками. Дома они обвязывали трехлитровые банки пестрыми платками, впихивали в них оттаявшие еловые лапы, развешивали облезлые шары и зайцев на прищепках. Пахло праздником, свечи оплывали в чашечках из фольги, Алекс топил печку обломками ящиков и

варил глинтвейн в эмалированном чайнике, а Ленка-Кролик подарила Ритке свитер до колен и книгу какой-то фэнтези.

Потом она думала, что все случилось восьмого марта. Конечно, это могло быть и пятого и двенадцатого, но почему-то зацепило восьмого. Они встретились под Барклаем, немного погуляли по Невскому и купили две бутылки неразменного портвейна, потом какой-то грустный мужик, оттеснив Алекса плечом, вручил Ритке здоровенный букет тюльпанов: «Девочкам надо дарить цветочки, мальчик, пока они это ценят. Пока ценят, ты понял, мальчик?» Дома Ритка поделила тюльпаны между Ильмирой и бабкой Зоей. Старуха так и осталась стоять с цветами на кухне, нелепая, как каменная скифская баба.

А вечером они с Алексом пошли на сейшен в маленький клуб. Алексу обещали две проходки и не обманули. Леша Макаров плюс один. В клубе было дымно и весело, большеглазые девы в толпе танцевали, взметывая руки над головами и кружась. Группа рубила что-то отчаянно веселое, вишневым бархатом гудела виолончель, вокалист, нескладный тощий мужик, точь-в-точь скоморох, между песнями церемонно поздравлял со сцены еще девушек и уже не девушек, а те радостно визжали в ответ. Ритка сидела у самой сцены прямо на полу, отползая от танцоров, и прихлебывала пиво из высоченного прозрачного бокала. Бокал потом как-то сам собой оказался в сумке Алекса, а еще через некоторое время туда же отправилась зеленая стеклянная пепельница, «на обзаведение». Хотелось, чтобы вечер никогда не кончался, зал хором распевал, и даже Ритка, расхрабрившись, подтягивала припев. «Ты доволен, Тунгус?» — спрашивал Алекс, и Ритка поворачивалась к нему сияющим лицом, ожидая поцелуя.

Опустошение

Голос в трубке был приятный, тон — спокойный, без холода.

— Рита? Добрый день. Меня зовут Марина, Марина Геннадьевна. Я мама Алеши. Мне кажется, нам нужно поговорить. Если вам удобно, давайте через час в кафе на углу Невского и Литейного? Там подвальчик возле галереи «Борей», прямо внутри, хорошо? Я буду в красной куртке.

«Мне не нужна ваша чертова прописка», — сказала она воображаемой даме в красном пуховике. Сказала гордо, как отрезала. Платиновые волосы дамы лежали мертвыми кольцами, из ушей свисали длинные золотые серьги. Или лучше так: «Я рожу ребенка, и мне дела нет до вашей чертовой прописки!»

— Рита?

У нее было такое же узкое лисье лицо и глаза цвета бутылочной зелени. Темная короткая стрижка, почти ежик. Красная куртка оказалась дутой, очень девчоночьей, до талии. Тонкой талии.

— Только не бросайся на меня, я умоляю. Я не собираюсь совать тебе деньги или гнать на аборт. Если ты хочешь ребенка — отлично. У меня будет внук. Или внучка. Лучше внучка, не нужно от армии отмазывать. Я, понимаешь ли, совершенно не умею воспитывать мальчиков. Ни для себя, ни для других. Хреново я его воспитала, правда?

— Он хороший, — сказала Ритка в чашку.

— Хороший. Но маленький. Тебе пирожное или булочку с куриным кремом? Вечная проблема выбора? Тогда берем и то и другое.

Утром ее почти не тошнило. Она провозилась с первым двором и пропустила въезд мусоровоза. Незнакомый водила был похмельный и злой. Он ерзал по двору на своей огромной громыхающей развалюхе, пытаясь пристроиться к помойке, а потом свесился из кабины и заорал на Ритку:

— Ты бак подпихни мне, куда я его отсюда возьму, еще впишусь в мерс какой, плати потом!

Она захлопнула круглую крышку, защелкнула задвижки и привычно качнула бак на ребро. Вонючая железная бочка покорно шагнула, и так же покорно оторвалось что-то внутри.

— Выталкивай, выталкивай, — орал водила, — вот сюда, под жопу! Ну спишь, что ли, у меня еще шесть дворов, толкай уже!

«Выталкиваю, — подумала Ритка, — выталкиваю!» Она заставила бак шагнуть еще шесть раз, ловя на каждом шаге крошечный взрыв внутри.

Запуск

Ритка проснулась от колокольного звона. Потом к дребезжащему хору колоколов добавился запах сдобы, ванили, пригоревшего сахара, и она поняла: Пасха. Когда Ритка была маленькая, бабка покупала в булочной круглые кексы и несла их святить в церковь. Кексы назывались «весенние», были невкусные, сладковатые и нещедро посыпанные горелым облетающим арахисом в прозрачной шелухе. Мать никаких весенних кексов не покупала, а ставила тесто в здоровенной кастрюле. И шикала на Ритку, чтоб не шумела, а то не поднимется. И вмешивала

обвалянный в муке изюм и мелко покрошенный мармелад, а потом раскладывала тесто по кастрюлькам и формам из высоких консервных банок, выстеленным изнутри масляной бумагой. На столе выстраивался целый ряд больших и маленьких будущих куличей — нам, родне, соседям. Готовые куличи она заливала сахарной белой глазурью и выкладывала поверху крестики из изюма или орехов. Если тесто оставалось, мать домешивала еще муки, давала подняться и пекла маленькие такие смешные розочки с сахаром. Сахар сыпался на противень, вскипал и пах горько-сладко… Ритка открыла глаза, посмотрела в сероватый потолок и немножко шепотом повыла. Выть хотелось громко — от таза в ванной, где плавает в розоватой воде простыня, от пасхального перезвона, от хлебного пакета на подоконнике, в котором хорошо если четверть черствого батона. Алекс сказал бы: от общего несовершенства мира. Когда она уже почти собралась повыть погромче, в дверь постучали. У Ильмиры на круглой тарелке лежали две огромные сдобные птицы с изюмными глазками, щедро засыпанная сахаром улитка и куча маленьких горячих плюшек.

— Я тут спекла тебе немножко. Тут праздник у вас, Христос воскресе, все целуются, у всех кулич есть, ты одна с утра без булки сидишь. Я спекла, булочки всякие, лепешечки, ты покушай давай, давай чаю, вставать пора. Чай есть у тебя? Ты, если нет, встанешь — ко мне стучись, чаю дам.

— Спасибо, — сказала Ритка. — Спасибо…

По коридору тяжело шаркала баба Зоя:

— Ритка, девка какая-то тебя к телефону. Мухой лети.

— Это Кролик, — сказала Кролик, и Ритка сразу увидела ее круглое лицо, кудряшки, вздернутую верхнюю губу и вечно перекошенные очки. — Тунгус, милая, мне Лешка все рассказал. Я считаю, что он ведет себя как свинья. Но ты только, пожалуйста, не торопись.

— Я не тороплюсь, — сказала Ритка. — Уже как бы некуда.

— Ой, — пискнула Кролик. — Ой. Ритка…

— Ой, — согласилась Ритка. — Когда таскаешь баки, это бывает. Р-раз — и ой.

— Я сейчас приеду, — решительно заторопилась Кролик. — Мы сейчас. Ты только не уходи никуда. Мы сейчас приедем, тебе принести чего-нибудь?

Ритка почти увидела, как в мыслях Кролика «что-нибудь» превращается в авоську яблок и апельсинов, которые положено носить больным и несчастным. Какой ты на фиг Кролик, подумала она. Ты Кенгуру. Прыгаешь с замшевой сумкой

наперевес и складываешь в нее всех раненных в жопу.

— Принеси прокладок, можешь? И яиц.

— Яиц? — оторопела Ленка на том конце телефона.

— Ну да. Типа Пасха. Приезжай, будем яйца красить.

— А я еврейка, — робко заметил Кролик.

— Ничего, Он тоже. И каких-нибудь кисточек и красок, если есть. Акварель? Сойдет, тащи!

Ритка вернулась в комнату, машинально отщипнула хрустящую сахарную лапку пасхальной птицы и вдруг поняла, что хочет есть. А потому поставила чайник, достала заварочный чайник и тот самый деревянный ящик с дарджилингом — если не сейчас, то фиг ли? Пожалуй, когда приедет Кролик, с кем бы она ни ехала, птиц на блюде уже не останется.

Она сидит на засыпанном пеплом полу, возле королевского ложа, покрытого старым синим спальником, и одну за другой запускает в серый потолок «тунгусские ракеты».

Чай от Тунгуса

Прогреть маленький чайник, положить в него хорошего крупнолистового черного чая по принципу «не жалейте заварки», залить не вполне крутым кипятком, потому что «так надо», накрыть крышкой.

Взять любой чайный пакетик, неспешно лишить ярлычка, скрепки и содержимого, если руки торопятся — проговорить историю запуска «тунгусской ракеты», установить на ровную негорючую поверхность, поджечь, проследить за полетом.

Налить чай в чашку и пить с чем бог послал.

Танда Луговская

Лети, лети, лепесток

Возьми чашку. Возьми-возьми, не бойся. Да любую, какая по руке придется. Чашка? Нет, не оружие, но тем не менее. Это тоже важно. Ну что значит — «не знаю»? Да, от этого тоже зависит. Но в первую очередь от чая, конечно.

Ладно, давай по порядку. Стеклянные стаканы — да-да, вот эти, карандашной невыигрышной огранки, — можешь вообще не трогать. Ни с подстаканником, ни без него. Потому что один — о дороге ночной, безудержной, покачивающей головой: «Может, так, а может, совсем иначе, но как-нибудь точно». А потом знойно-разморенный, совершенно незнакомый перрон и липкий асфальт под ногами, может, растаявшее мороженое, сплюнутая жвачка, а может, и дорога кончилась, вот ты и тут, а дальше рельсы загнулись кверху, как детские санки, если смотреть, когда уже свалился с них, и всё, надо отфыркаться от набившегося в рот, протереть глаза, ну вот и нормально, только сейчас ты не в снегу, это акациевый цвет шуршит, проскальзывает в трещины у домов и люков, и пахнет головокружением и чьими-то губами, еще неведомыми, но ты так быстро, охотно сдашься, потому что не сможешь сделать шага в сторону: жарко, радужно-липкий асфальт, а еще и акация, вот эта, столетняя, сыплет манну небесную, а то пшено, конопляное дурманное семя, — птицам нередким, совершенно не желающим перелетать Днепры и Амазонки, а желающим сладкого, разве это странно, разве это плохо, ну вот хотя бы эскимо с отслаивающимся шоколадом снаружи и кусочками шоколада внутри, слизнуть-поймать-удержать, приди и возьми, руку протяни, сладкая-сладкая акация, губы нежные, ну как тут устоять, а потом упустишь кусочек глазури, упадет на асфальт, вмиг растает, а ночь южная и звезды увесистые, словно мускатные розовые виноградины, руку протяни, но ты это уже знаешь, слышал, вдыхал, а не двинуться: жарко.

Не туда. Рано.

А второй стакан — о черной лестнице, черном ходе и о жизни несветлой, тусклая лампочка, никотин осыпается из воздуха пылью и оседает в морщинах, и разговоры невеселые, тупик, птица такая, большой клюв перевешивает маленькую голову, и что-то невнятное течет по пищеводу, а потом взрывается в солнечном сплетении, но и взрывается фальшиво, а определишь ли фальшь, иного не зная, тепло — ну да, вроде тепло, а что еще надо, и газеты, желтеющие от солнечного луча, вот странно, старые хорошие книги желтеют куда меньше, приобретают оттенок слоновой кости, а вот эти «провел заседание президиума» — будто

протекшее сквозь простыню нищенское, стонущее безнадежно и онкологически время, и всё пахнёт подгоревшей перловкой и еще чем-то прогорклым и эмалированно-облупившимся, и не надо бы смотреть, а не подняться, словно силы туда же вытекли, в несвежие газеты и неоттираемые пятна на столе, и коричневый ободок по дну стакана, — не туда тебе, не надо, совсем никому не надо, там вообще не жизнь, там друг друга не узнают и бьют только затем, чтобы хоть в боли себя ощутить.

В общем, на полку со стаканами можешь не смотреть. Не дам. Не тебе.

Керамическая пиала, бирюзовая, и треугольники ободком, хорошая, но нелепая, делавший не знал, откуда он сам и кто он, только томило его что-то невнятное, подсасывало между лопатками, может, крылья, может, остеоартроз, — …теоа, гавайский напев, а то горящие полотна-паруса Гогена, клинопись не клинопись, Самарканд не Самарканд, то ли Междуречье, то ли покатые пески на закате, долгие тени, долгие протяжные напевы, кувшин с вином, нагретые за день стены, языком прицокнуть да прищуриться, белая ткань — и праздничная, и погребальная, да о погребении ли речь, не костер ли и не разорванное ли крыльями грифов небо, а пиала будет неполна, лишь на донышке, чтоб остывало, а взять еще чурчхелу, гранатовую, венозной красоты, тягучую, с грецкими орехами, что глухо падают во дворе, а потом желто-коричневым соком запоминаются рукам, как бы те ни были загорелы, желто-коричневое из зеленого, и не вывести никак, ну можешь и взять, и сыплются черные лепестки, этот чай крутым кипятком заварим в чугунном чайничке, он простой, как напев вполголоса за мойкой посуды или шитьем, иголка-иголка, сколько мне лет?

Бирюзовая пиала

Дерево

Очнешься. За окном — зной. Пробивается даже сквозь многослойную листву, на дощатом полу — пятнистом от солнца — вытянулся черный до вороновой синевы кот. Еще утро, в самую пекельную пору он будет забиваться под ванну, наполненную холодной водой, а пока вытянулся в полтора себя — от пошарпанного табурета до края ковра, когти там — когти тут, хороший такой кот, ну просто классный, суперский, уже

начинающий заматеревать, жутко гордый тем, что вчера набил морду вон тому рыжему с белыми передними лапами и половиной хвоста, а это стоит порванного уха и даже чтобы потом заливали почти невидимой на черном зеленкой, но сделал же, вот, вот! И валяется, и гордится весь, до последнего волоска, а все одно жарко меховому.

А тебе еще жарче. И тяжесть от носа до половины черепа, и слабость — что лишний раз до туалета идти не хочется, потерпеть еще, полежать, и серебряная полоска на термометре уже длинная, и врач уже был — цепкие, белые до жемчужности пальцы, скажи «а», скажи «а», словно другие буквы алфавита тоже заболели, и в школу не выйти, а там сейчас контрольные, а их придется писать в августе, не хочется, да и сейчас не хочется тоже, но там Маришка-Марьям, и Сашка, и еще один Сашка-рыжий, и Арам, который взял Жюль Верна, а пообещал принести Уэллса, и Мирра Афанасьевна, а тут только длинный кот. Потягивающийся шлагбаум для ничего. Зато очень длинный, угу.

Мама приходит с работы, держи, в почтовом ящике новый «Юный художник», какой я художник, максимум кривую елку нарисую, будто не в шестом классе, а в шесть лет, но дети должны гармонично развиваться, да, мама, конечно, мама, и перед глазами эта выгнутая дугой гармонь, и звук отвратительный, фальшивый, — так играет в переходе полусумасшедший безногий лысый Марек, и ему кидают денег, а потом жена Дина вечером увозит его домой, а если раньше того надо разбираться с милиционерами, то Марек поднимает шум, и плачет, и кричит такое, чего быть не может, а милиционеры не верят сразу, и тогда через какое-то время заступается толстая голосистая Лора, которую ты должен звать Лариса Сигизмундовна, что торгует на выходе с угла, она или сама приходит, или Дину зовет, но чаще милиционеры предпочитают обойти, как будто не видят. А играет Марек плохо, не зря говорят: «из рук вон плохо», — потому что хочется вырвать инструмент из рук и чтоб больше не слышать совсем.

Но сказать это можно только закрытой двери, еле удерживающейся на двух болтах (еще два выпали) дверной ручке. Мама уже ушла, много дел, а журнальные страницы блестящие, и даже запах у них словно бы проблеском, и можно открыть, и скользить по разворотам…

И наткнуться — на стену. Дальше — ни вдоха, и как удар в солнечное сплетение футбольным мячом на разгоне, когда

стоишь на воротах и отшатнуться нельзя. И рука наотлет, и синее шелковисто-атласными волнами, и кружева белые, зыбкие, и в самом деле как из глубокой морской пены, — а в глазах такая беда, что не закрыть страницу, взгляда не отвести, полчаса ли, час прошел, а в руке приоткрытая книжка, а глаза черные, как у Маришки, а на скулах — печати от смерти, как будто в пять букв и две точки: *Ds: tbc*, — хотя никогда раньше такого не видел, только читал, уже и не вспомнить где. И легкие слезы — бессмысленные, как узоры от волн на песке, ведь давным-давно умерла, и даже если вдруг ошибка, то посмотри на дату картины, все равно умерла, от старости, может, и ошибка, может, у нее внуки сейчас живы, вот такие, как Сашка или Арам, например, или ты, или Виола Беренштейн из параллельного класса, она даже похожа немного, и Маришка похожа, чего не бывает, тасуется колода, Булгаков уже прочтен…

Не расстраивайся, когда болеешь, нельзя, поспи, а журнал я заберу, я тоже хочу почитать.

Только ты точно знаешь, что никакой ошибки нет. Не в парке она — на кладбище. И не потому руку отвела, что книга неинтересная, а чтобы просто равновесие удержать. Качает. Тебя тоже качает, но это совсем другое.

— Бабушка, бабушка, отчего у тебя такие большие глаза?

— Чтобы лучше видеть смерть, внученьки мои, чтобы хорошо-хорошо ее рассмотреть, пристально, внимательно…

— А она от этого уйдет?

— Это вряд ли…

И ты плачешь, неуспокаиваемо, навзрыд, зарываясь в подушку, и когда слезы всё не прекращаются, ты вцепляешься зубами в чурчхелу, лежащую на столике, чтобы ну наконец перестать, и поворачиваешься под лампу — и вдруг понимаешь, что чурчхела, наверное, цвета той крови. Шедшей — горлом.

И затихаешь. И только проминаешь между языком и нёбом вязкую сладость — пополам с присолью. Чтобы через пятнадцать лет узнать, кто в споре был прав, — да, действительно, за несколько месяцев до смерти от туберкулеза талантливая красавица художница Мартынова, земную жизнь не пройдя даже до половины, конечно, все понимала, какая уж тут врачебная тайна: чахотка в те времена, до изобретения антибиотиков еще лет двадцать оставалось, и автор картины, с которым дружили,

тоже все прекрасно знал, вслед глядел, потому и картина такая — не над гробом еще, но перед ним, чтобы хоть так осталась, молодой, прекрасной, в памяти. Известная история, а что?

* * *

Не стакан, так, жестяная кружка, не обо всем сказано «рано», не все предупредить, вот не углядеть бы тебе ее за прочими, но нет же, тусклым отблеском — а притянет, сначала из банки четырехугольной с какими-то там китайцами в ярких расписных халатах, лапсанг сушонг, «чай с лыжной мазью», как ехидничают не любящие его, не понимающие, а вдохнувших притянет запахом тем смолистым, костровым, и веткой в котелке размешать, и ягод можжевельника кинуть, но это в самом начале, потом сухой морозный хруст, и горелка-голубой-огонек, и сгущенка вареная, что дома в кипяток и там позабыть часа на два, а потом — разнообразие царское, сгущенка обычная, сгущенка кремовой густоты и витаминки-аскорбинки бело-круглая кислота, разгрызть и застыть, и в закаты поглядеть, коричневые тучи и васильковый снег, старая песня, где бы та девушка-напарник, кудряшки по плечам, а к ночи собирается нехорошее, закрепиться получше надо, а то унесет-костей-не-соберешь, да всего не предусмотришь, но еще с час в запасе есть, а то полчаса, но ложку облизать уж всяко найдется время, по алюминиевым выбоинкам-щербинкам языком провести, а закаты рериховские, алые, фиолетовые, изумрудные, немыслимые, бьющие по глазам, красота неземная, не всем людям видать, а кому-то видать да не расплатиться, обмороженными пальцами да слепотой от бриллиантового блеска под ногами, — хорошо еще, дешево, выгодная сделка, оттого что не торгуется, не выгадывает, а берет свое властно, словно Снежная королева сердца, и только выдох вслед, воздух осыплется, непразднично, не о том мечталось-говорилось, не новогодний дождик-перезвон, и самые звуки померкнут, и девочка-напарница, где же ты, девочка — богиня вымечтанная, прочный уступ вовремя, веревка, что не протрется о камни, лучик, родное слово, а может, и марилась-миражилась, никогда и не была, и только холод, и закаты, анилиновые, пронзительные закаты, преломление-в-атмосфере, заворожившие — нет, выворожившие, как выморозившие, закаты, — да, вот они никуда не денутся, и через год, и через век, и когда самой Земли уже не станет.

Жестяная кружка, вдавленная посредине

Ну слушай, чего уж там.

Я, в общем, знала, что — так или иначе, когда-нибудь — придешь говорить. Имеешь право. Твой отец, в общем.

Был.

Ты ведь — в него удался. И скулы его рубленые, и волосы темной проволокой, и повадка. Удача ли это — понятия не имею. Так получилось.

Погоди, сейчас сигарету достану. Не хочу без сигареты. Знаешь ли, тяжело.

Да, я с ним рассталась. Потому что — ну достал!

И меня он не любил, и тебя не любил.

Не ври себе.

Любил бы — не ушел бы через два месяца, как ты родился, в поход очередной. Ах-ах, категория, ах-ах, важные соревнования, мужиков подведу.

Только горы свои проклятые любил.

Видишь, кстати, сколько фотографий осталось? Я не выбрасывала.

Я и так долго терпела.

Пять лет. Если такую жизнь считать как год за три — максимальный срок. Выше разве что за убийства дают. А мне за что?

Толку мне с его регалий? И тебе — толку-то?

Тебе на всякие фрукты, между прочим, я зарабатывала. А у него — сна-ря-же-ни-е.

Я долго терпела, честное слово. Ну да, понятно, что там действительно хорошее сна-ря-же-ни-е нужно. Потому что иначе замерзнут, важное что оборвется, ну и все такое, в общем.

А потом поняла — закончилось. Не потому, что поскандалили, тарелки-плошки-горшки побили, или там мне денег не заплатили на работе и совсем край, или еще что. Родители его, опять-таки, все же немного подбрасывали; чтоб совсем голодали мы с тобой — нет, не было никогда, врать не буду.

Просто почувствовала — не люблю больше.

Пришел из похода — сказала.

Такое — не скроешь.

Да и не хотела.

И не хочу.

Как бы то ни было — не жалею.

Дай еще сигарету, в общем.

Нет, я не предполагала, что он на следующее же утро опять в поход уйдет.

Но и когда узнала — ну и что? Ну психанул. Бывает, в общем. Думаешь, я не психовала?

Да и потом, кстати. Он же с Андреем Семилавочкиным пошел, а Андрей вечно молодняк водил, ну какая там категория, первая-вторая разве что. Твой отец к тому времени почти снежным барсом был, только какой-то горы не хватало или двух, не помню. Сколько-то-тысячников, он-то их всех наизусть знал. Снежный барс. Ирбис, блин, кошак драный пятнистый. Дурак в крапинку. Пятая, пятая-бэ, пальцы веером, сопли пузырями…

Сама уже во всей этой мутотени разбираться научилась. Тьфу.

Потом узнала, что Андрей на вокзале сломал ногу. Анекдотично — не поверишь, как в дурной комедии, — он действительно поскользнулся на банановой кожуре. Чушь, чепуха, разве что посмеяться, а вот — двойной перелом и разрыв связок. Наташка его рассказывала. Потом два месяца лежал в гипсе на растяжке, в общем.

Как узнал через неделю — запил, да.

По-черному.

Первый раз и последний.

Потом несколько лет — никуда. И дальше тоже — не в горы. Пешие, водные…

Ну да ты знаешь.

Вот потому тебя и не брал.

В общем, пошли они тогда с одним руководителем.

А чего, кстати, он ведь опытный.

А поход совсем легкий, почти матрасный.

Дальше — ну как, совсем за детали не поручусь. Может, что напутаю. Просто пересказываю. Как запись на диктофоне.

Много раз слушала.

Если хочешь — могу тебе полный список выдать — тех, кто в том походе был.

Ну да, вот. Держи. Порасспрашивай. Не всё мне рассказывать, кстати.

Гюльнару Салимову только не трогай.

Она беременная сейчас.

А ты безжалостный. В отца.

Наверное, это хорошо. Для тебя. Хотя — не знаю.

Да, и еще: Виталика Финозёрова уже больше нет. Давно нет.

Нет, не в горах.

Автокатастрофа. Встречный грузовик: водитель заснул за рулем.

Нет, ничего похожего.

В общем, так.

Они остановились на краю какого-то ледника. В смысле, вот так — язык ледника по склону, а они параллельно ему. На каком-то там плюс-минус устойчивом месте.

Надо было перейти перевал. Там того ледника не до фига было, на самом деле. Чуть ли не единственное небезопасное место за весь поход. То есть в связках немного подняться, перевалить — и снова нормально. Они в связках и уже были, это так, не привал был, а передохнуть да головой повертеть.

Говорю же — Андрей молодняк водил.

Твой отец пошел посмотреть на перевал.

Один.

Нет. Без страховки.

Я не знаю почему. Может, хвост распустить, какой он крутой. Может, горная болезнь в голову ударила. Хотя вряд ли — он же только с гор был. Перепады давления, может… ну не знаю, действительно. Вернее же всего — просто забыл. Чего там — подняться да посмотреть, да ведь, в общем?

А остальные — они понятно чего, они смотрели не на перевал, а на твоего отца.

Он же гуру. Почти снежный барс.

А у них у кого второй поход, у кого третий, у кого вообще — вроде как с почином, Глеб Егорыч.

А там гора, кстати, еще и достаточно пологая была. Но скользко, да, ледник.

Он поскользнулся.

Попытался остановиться сначала просто за счет трения тела.

Потом попытался зарубиться. Ну, ледорубом.

Ледоруб вырвало из рук.

Они стояли и смотрели, как он скользил к трещине. Я же говорю — стояли параллельно леднику.

Уже в связках были, да. В тройках, как обычно.

Андрей их учил, что в таком случае — двое из тройки

зарубаются, один прыгает вперед, падает поверх и останавливает скольжение. Ну или замедляет. Потом те двое этих двоих вытаскивают на веревке.

Они же на устойчивом месте были, в общем.

Если бы кто из них поскользнулся — так бы и сработали.

Андрей их учил. Точно. Говорил потом. Много раз говорил — а куда деваться?

Он хорошо учил вроде.

Но тут-то — гуру.

Он ведь знает что делает.

Он опытный. Он опытней их всех, вместе взятых. На самом деле, как ни считай, — и по походам, и по категориям этим…

С ним ничего не может случиться. Просто потому, что не может. Никак. Нельзя же в такое — поверить.

Стояли и смотрели.

А на помощь он не звал.

Так и не позвал.

До конца.

Думаю, и сам — не поверил.

А трещина была — глубиной восемьдесят девять метров.

Любому гуру — хватит.

Промеряли, конечно.

Именно такое число было — в протоколах.

Запомнила.

Потом, когда пошли следствия да разбирательства, — а это всегда, если из похода, как говорится, с «грузом-двести», — их кучу раз спрашивали и переспрашивали: «Как же вы так? Вы что, не видели? Не понимали?»

А они всё повторяли, как в трансе или под гипнозом, что он был самый опытный и что с ним ничего не могло случиться.

Ну, они так думали.

На самом деле так думали. Не врали.

Нет, я не слишком много курю. Еще сигарету — и хватит.

Да, я не говорила его родителям, что мы расстались.

И до сих пор не сказала. Теперь-то зачем?

И он не говорил. Видимо, просто не успел.

Или не счел важным, в общем.

Вот, кстати, фотография их того, последнего, похода.

Я не выбрасывала фотографии. Ни одной из них. Ничего не выбрасывала. Две полки — всё эти проклятые горы.

Хотя действительно красивые есть. Особенно закаты.

Тут твой отец — второй справа, ну, это ты и без меня узнаешь.

Виталька Финозёров и фотографировал. Потому его на снимках нет.

У меня, кстати, вообще с ним фотографий нет.

Но он погиб в автокатастрофе.

На следующее лето.

Сейчас уже — твой ровесник, в общем, да.

* * *

А вот еще — чашка из бутылочно-зеленого стекла. Посмотри внимательно сквозь, а налить в нее чай каркаде, винный цвет, лепестки по воде… Видишь, что проступает сквозь воду — да нет, сквозь века, — что отражается в тонированных модерновых стеклах, и за радугой, бьющей в небо, заметался зайчик солнечный, прыгает, словно в настольном теннисе, бьется о ракетки, да нет, все же о стекла, под немыслимыми углами, и все равно в небо, а лужи-осколки, а не поранься, лучше быстро бежать, босыми пятками бить, между мокрыми машинами танцевать и звук «р» дробить-выкатывать горлом, он и сам — окатанная галька, черная-черная да прожилка золотая, веселая, как подруге руку протянуть, по доске-деревяшке через ручей перевести да нацеловаться потом от души, и кружиться по траве, и рухнуть в маки да лопухи придорожные, и небо вымытое, быстрооблачное, среднезападноевропейское, отражение Гольфстрима, растянутое в года тепло, и темные, ***памятные*** *соборы, не отшатывайся только, не отворачивай головы — химера не химера, выглаженный временем водосток. Капля за каплей — чашка полна, а столик маленький и округлый, и витражи леденцовый свет бросают на разгоряченные лица, и смешливая вишнёворотая официантка, и блины-крепы с каштановым кремом, пар от книжно знакомого лакомства, а вот тут оно, совсем рядом, почти на языке, и желтые известняковые стены да набережные, бережные к таким вот лопоухим и очкастым туристам с куртками, повязанными на*

пояс, и фотоаппаратами на вытянутых, по-гусиному подвижных шеях: смотрите-смотрите, от нас не убудет, а не побоитесь в какую подворотню заглянуть — так там, над ржавеющим автомобилем и смятыми кока-кольными жестянками, будет граффити — подарок-сонет, и только жалеть, что французский в школе учил через пень колоду, но вчитаться, автора не узнать, конечно, но расскажут полустершиеся буквы тебе, что любая беда — лишь заморозки, лед на реке, а весной все растает, обязательно растает, и снова будет веселый ручей и солнечные зайчики на каждой волне, и камнем в воду будут нырять удачливые зимородки, и — в самом деле, разве вы никогда не видели зимы? Честное слово, бывало и хуже — и все прошло!

Чашка из бутылочно-зеленого стекла

Огонь

От Орли — маршрутка до Данфер-Рошро. Там — транспортный круг, и бабушки-старушки на автобусной остановке: «О, вы так хорошо знаете французский язык! А где вы его учили? А Одесса — это где? А Украина? Да, конечно, знаем, если это рядом с Россией — то Чечня!» Так, ясно, в следующий раз будешь объяснять, что Украина — это рядом с Польшей. Спокойнее будет. Кстати, французский ты знаешь из рук вон плохо, если по совести. Пятерки в школе и на курсах тут никого не обманут. Но приятно.

Рюкзак тяжелый — вроде стандартная автономка твоя, двадцать два килограмма, — но то, что органично по сосновой хвое, притягивает к плавящемуся асфальту. Денег ку, почему так ма, разве что на бомж-пакет какой в китайской забегаловке, времени еще куёвее, и тратить его на заезд в камеру хранения — немыслимая, запредельная роскошь, при мысли о которой вспоминаются попугайские цитаты навроде: «Ассигнациями печку топила, ассигнациями!»

Люксембургский сад. Спокойный — несообразно тебе: посмотреть! в Париже первый раз! на два-с-половиной-дня-как-мало-как-мало, голову вправо-влево-не-свернуть-бы-напрочь. Бегают дети. В колясках дети. Много маленьких детей. Не зашибить бы, да-а? У детей впереди вся жизнь и Париж. Немыслимое счастье, которое почти никому из них не осознать. Кто осознает, станет поэтом. Ты понимаешь, что надо бросить все,

броситься оземь на перекрестке, обернуться деревом и пустить тут корни навсегда. Например, каштаном — чтобы по осени бросаться коричневыми, съедобными, сладкими перекатывающимися плодами-камешками вот в этих, еще не понимающих счастья, и вон в тех, целующихся и полагающих, что всё понимают, и бабушкам вы-так-хорошо-говорите-по-французски, чтобы улыбнуться и вспомнить, как целовались…

Но ты с напарником, и он разумный человек, и вы оба понимаете, что на два-с-половиной-дня-как-мало-как-мало! И стихает музыка Дассена, и дальше-дальше-дальше, не бегом, но не остановиться.

Бульвар Сен-Мишель. Потом — в сторону, к Сорбонне. Музыка названий кружит голову: Сен-Жермен, рю Данте, рю Лагранж, каждая улица, переулочек, чуть не каждый дом — гиперссылка, на историю ли, литературу, ассоциации толпятся и отдавливают друг другу ноги и выпрыгивают из тебя, словно разыгравшиеся рыбки-меченосцы из аквариума, куда вода щедро налита до краев, и двадцать веков спокойно глядят на тебя сквозь прозрачные веки, и ты видишь эти кое-где просевшие, но отчетливые слои, двадцать веков терпеливого труда, двадцать веков бесчисленных людей в этом городе, прикоснись к камню — отзовется, дрогнет кожа. По дороге попадается крохотный магазин чайников, и там сова, такая сова, что сердце замирает, ладно-черт-с-ней-с-едой-за-три-дня-не-сдохну, и магазин уютный, словно сквозь века тут хорошо, и ты понимаешь, что, как «сова» по-французски, не вспомнить, варварски просишь чайник с «oiseau», сиречь псисой, продавщица смотрит на тебя ласково, как преподавательница школы для дебилов на любимого ученика, и уточняет, какую именно «уазо», — и ты понимаешь, что тут же роскошный петух, конечно же, Галлия, и жаркий гребень, и гордый вид, и оперение, изумрудное в золотой перелив, всем майским жукам завидовать срочно, а бронзовкам бледнеть, но сова уже твоя, и ты протягиваешь руку и лепечешь: «Cette oiseau», и продавщица расплывается в улыбке, чуть наклоняется, глаза с поволокой, и доверительно-мечтательно говорит: «O, oiseau de nuit…» И ты захлебываешься навсегда городом, где сова — о птица ночи… — и ты хочешь уже стать вон тем чайником-с-виноградной-лозой-ручкой, или хоть крышкой от него, ну или хоть чем-нибудь, но здесь.

А потом набережная, и — настоящие! живые! — парижские букинисты, и ветер кружит лист каких-то старых рисунков, беги,

лови, закружись — и будешь, как те, в Jardin de Luxembourg, счастья не осознающие, и блики на воде, но двадцать два килограмма даже хорошо упакованной автономки притягивают, и жара-жара, очень знойное лето, вы долго шли, и не пробежаться, но ты еще держишься, потому что вокруг Париж, и нельзя пропустить, даже глаза нельзя закрыть, твои веки не прозрачны, не века, отмерено ведь мало, хочется больше, хочется бессмертия, здесь — острее, чем где бы то ни было, а Сена действительно бутылочная, такую воду не глотнуть, не окунуться в нее, а протереть бы до блеска мягким замшевым клочком. Не джинна вызвать — а просто отполировать. И любоваться. Молча. Застывши.

Но не получится, дальше-дальше, и вот вы уже на островке Ситэ. Petit Pont. Ма-а-а-аленький такой мост. И Notre Dame de Paris.

И тут ты понимаешь — всё. Баста, карапузики. Пари не пари — ресурс выработан. Ты пялишься на многотысячноразно прославленный Нотр-Дам, и рюкзак на земле, но это уже неважно, и химеры плывут у тебя перед глазами, и ты понимаешь остатками — не мозгов, но воли: перегрев, перебор с нагрузкой, и сердце начинает готовиться к приступу, и вспоминается, как это будет по-французски, о мон дьё, парблё, чертовски красиво, attaque cordial, тебя атакует твое же сердце, да нет, конечно, это оно будет атаковано, осадные машины приведены в действие, унылая тупая морда тарана обращена к выщербленным уже воротам, камни, словно кладки доисторических яиц — эпиорнисов или фороракосов, — лежат у катапульт, а сердце, поседевший верный комендант крепости, спокойно и негромко предупреждает: «Пока держусь… как могу… но, монсеньор, до начала приступа осталось… шесть… пять… четыре… три…»

Ты стоишь, красная, взмокшая, взъерошенная, с безумными глазами, чуть покачиваясь, в экс-Юнион-Совьетик тебя точно приняли бы за наркоманку и бросили бы на асфальт отработанным четким ударом дубинки, с такими и разбираться не будут, а тут лето, и Сена, и Нотр-Дам, и ты еще держишься. Как можешь.

«…два…» — говорит сердце.

А мимо проходит парень, веселый до озорной звонкости, как двухтысячелетий юный Париж-Парис, за которым любой Елене

забыть обо всем, и волосы рыже-золотые на ветру, и глаза зеленоватые, и любви да солнца в нем через край, шаги размашистые, и он глядит на тебя, и приостанавливается, и улыбается, и говорит искренне: «Vous êtes très belle», и легко дальше уходит, и ты замираешь, не доверяя плохому своему французскому: это я очень красива? сейчас-то? — и только успеваешь в спину, на выдохе пискнуть: «Merci!»

И вдруг понимаешь, что сердечного приступа — не будет.

* * *

Фффф, что ж тебя тянет на черт-те что, вот это пластмассовое ядрено-ядовито-зеленое, ты откуда… гм, м-да, сколько всякого хлама, оказывается, есть на полках. Все-таки до дрожи железнодорожное, хоть и не так в лоб, как подстаканный звон, систола-диастола от стыков, — но то, что кидают в сумку, когда лень собираться или бежать на поезд через три минуты, через четыре уже опоздаешь, а что тут ручка, например, сломается, ну так и не жалко, все равно цена этому убожеству пятачок пучок в базарный день, как взялось дома, еще вспомнить бы, а, да, кто-то из мелком вписывавшихся на ночь позабыл, а потом и рукой махнул, решив, что в крайнем случае хозяева сами выкинут, до мусоропровода пол-этажа, в конце концов, если не пригодится уж совсем и неудачно подвернется во время генеральной — то есть больше, чем сдвинуть грязную посуду на столе, — уборки. Попалось раньше, то есть вовремя, в сумку и бегом, через три ступеньки, в несколько прыжков на автобус, ну давай же, а, ч-черрррт, красный свет, ну же, ну, ползи, грёбаная улитка, по склону Фудзи, семь минут до отхода, два перекрестка, вокзал, пятнадцатый путь, а-а-а-а, зараза, кого сбиваю — я всем прощаю, уже тронулся, последний рывок, уф. Вдоль состава до нужного вагона, ну и можно передохнуть, да, билеты вот, да, надо заранее, ага, конечно, в следующий раз, как говорит дедушка, «чтоб я был такой умный до, как моя жена после», нет, газет не надо, без календарей с голыми красавицами системы «доска-два-соска» я тоже проживу, о, кстати, очень вовремя тетка с корзинкой, поужинать дома все равно ведь не было шансов, восполним, с чем у вас там пирожки, с капустой, луком-яйцами и повидлом? Давайте по два, нет, которые с повидлом, тех три. Пакетик чая, который одни называют «утопленником», а другие «тампаксом», в общем, понятно, что труха для окраски воды, но сгодится, а пирожки очень даже ничего, конечно, когда с утра не жрамши, тут и

жареные гвозди сойдут за деликатес. А все равно хорошо. Благодушно. И вагон симпатичный попался, тихий, даром что плацкарта. Только в конце вагона какая-то компашка с гитарой, но тоже вроде не орут. Что поют-то хоть, прислушаться…

…И кубики льда в стакане звякнут легко и ломко,
И странный узор на скатерти пойдет рисовать рука,
И будет бренчать гитара, и будет крутиться пленка,
И в дальний путь к Абакану отправятся облака… [2]

Ядовито-зеленое пластмассовое черт-те что с отломанной ручкой

Вода

Проснуться — ночью, резко, будто выдернули за уши и встряхнули. Сна как не бывало. Вообще. Ни в одном глазу. Хотя просыпаешься обычно тяжело, еще с полчаса, а то час тормозишь, и не помогает ни чай-кофе-и-покреггче, ни холодный душ, ни утренний ветер с дождем в лицо, если все-таки проспал и выбегать уже вот прямо пятнадцать минут назад.

Что за черт? Середина ночи. Сколько там — три часа, четыре? Лезть за мобильником — наручные часы на тебе долго не живут — лень. Поезд как поезд, Москва — Ульяновск, вроде не холодно, от окна в голову не сквозит, хоть и по зимнему времени (согласно прогнозу, если верить синоптикам, минус десять. Если не верить — минус пятнадцать) укутаться невредно. И вправду вполне пристойный вагон. Чего б не отсыпаться, спрашивается?

Дрыхнуть, однако, больше не хочется. Но и глаза открывать не хочется.

Какая-то станция. Стоим. Долго стоим.

Ладно, потянуться, немного поежиться и встать. Любопытно же. Может, что интересное продают, как в Гусе-Хрустальном, например, хотя это в середине ночи вряд ли. Таких сумасшедших полуночников — что увидишь в зеркале — мало.

Сугробы слева. Справа — довольно ухоженная станция. Свежевыкрашенный вокзальчик. Молочно-белые фонари — снег

от их света синий. И табличка станционная, тоже свежевыкрашенная, аккуратными белыми буквами по синему:

ПОТЬМА

И с удивлением узнать в услышанном сдавленном хрипе — свое дыхание.

Обрушилось — контекст, ассоциации, как угодно филологически правильно-безупречно назови, — но словно непрочная стена от удара, и бьют осыпающиеся — замедленная съемка — обломки, и вдыхаешь, закашлявшись, тяжелую, ранящую цементную пыль. Читаное — да, книжные дети, не знавшие битв, но дети перестройки, времени, когда написанное впрок взламывало лед, прорастало по живому, сквозь дендриты и аксоны, хорошо направленным пинком заставляло — хочешь того или не хочешь — соотноситься и думать о судьбе, можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, а ведь не пробовал, адреналин и тахикардия под горло, счастье и немыслимая хинная горечь открытия, Шаламов ли, Солженицын ли, Керсновская, и это вот, напрямую:

…Медною всей плотью
Пой про мою Потьму,
Пой о моем брате —
Там, в ледяной пади…[3]

И вот она, эта Потьма, вживую, не из строчек, а, как на открытке рождественской, аккуратненькая, чуть не вылизанная, такое в Германии или Голландии ожидаемо было бы, но не посреди России и ночи, и свежевыкрашенная, и пергидрольно-беспамятная, и никому не сказать, не встряхнуть, только тебя так из сна выдрали да носом в стекло до крови ткнули, а рядом кто-то, с кем схожие серебряные кольца на безымянных пальцах, но только тоже — не выдернуть, не поймет, ничего она не поймет, только пальцем у виска покрутит и на другой бок перевернется, и ясно, что зря эти кольца, разомкнутые звенья, не связалось, не сплелось, да и не должно было, и не могло, если подумать, а свет от снега сквозь изморозь на стекле синий-синий, а ведь когда они умирали, то последнее, что видели, — вот этот нечеловечески синий цвет, луч сквозь глаза, красота, которой не нужно быть живой, последнего выдоха луч, как же холодно, до озноба костного, словно синева пронзительная эта — уже вдоль позвоночника, так Мандельштам умирал, пусть не здесь, но так

же, и сотни, тысячи, десятки тысяч умирали, и с каждым — их щеглы-да-скворцы-без-орехового-пирога, нереиды-у-Черного-моря, звездный-луч-как-соль-на-топоре, вот он, этот луч, сапфировый небесный ли, рукотворный ли лазер, плачь не плачь, а ведь и слезы замерзнут, потом только по весне вспомнят «подснежника», если повезет, а то и нет, и будет ли весна, но ведь была же, потому и жив ты, хоть и смотришь на смертельной красоты луч этот, — смотри же, внимательно, не отрываясь, сквозь резь в глазах, за всех тех, кто досмотреть не смог, и плакать — не смей!

И вопреки всей физике, школьной программе, вопреки прогнозам синоптиков и сугробам, изморозь — именно в том месте, сквозь которое взгляд уходит в снега, — тает. Сворачивается из кристалликов, ясная, прозрачности горькой.

Одна-единственная большая капля на вагонном стекле. Медленно-медленно скатывается вниз. Пронизывающей сапфирной синевы — слеза. О тех, кто.

А на столике плацкартном — где серо-белый поцарапанный пластик, присохшие пятна пива, упаковки от чипсов и скомканное тряпчатое вагонное полотенце в углу — лежит кусок пирога. Конечно же орехового. Откуда другому взяться.

Покормить бы щеглов да скворцов, право слово.
Да нету их.
Совсем нету.
Зима.

* * *

Да, вот, и последнее, больше пяти нельзя, так уж заведено, шесть — это уже грани костей, другая игра, а пятую — бери-выбирай, ведь уже понятно, что на самом-то деле выбираешь, к чему рука тянется, голова клонится да сердце успокоится, пятая чашка — она обычно разнотравная, медуница, васильки, дикая гвоздика, кипрей, ковыль, мышиный горошек, мелодия в несколько глиняных дырочек, лютик, ландыш ли, белладонна, ядовитое волшебство, — мы давно не бывали дома, и уже не войдем в него, и уже не сыщем причины повернуть облакам навстречь, и повытерлась та овчина, от которой золото — речь, а потом обрыв мелодии, то ли ветер некстати налетел, зашуршал, то ли облако накрыло, то ли где-то — далеко-далеко — торопливый поезд

перебил, а о худшем и не думать, нет, не будет худшего в ласково-доверчивом разнотравье, вот хоть ромашку спроси, как она раскрывается в солнце, вот хоть у одуванчика легкости поучиться, а мелодия — что мелодия, не исчезнет же вовсе, не развеется утренним клочковатым серо-розовым туманом, переменится ветер — и еще услышим, а не услышим — так допишем сами, впервой, что ли, мы давно детьми не бывали, камень-ножницы, ты ответь, повзрослеть случится едва ли, вероятнее умереть, но живем, полыхаем, любим, чертим свой маршрут от руки, белладонна, ландыш ли, лютик — лепестки летят, лепестки… Лепестковый, цветочных крыльев чай и бери, густо-ароматный, травный, травление — это ведь такое выжигание по сердцу, когда само сердце потом — произведение искусства, а что больно немного, так это такой вот множитель, иначе не бывать произведению, любая жемчужница подтвердит, все равно что-то прорастет да зацепит, как бы ласково ни касались крылья-лепестки, все равно — будет ветер, все равно подниматься и закладывать вираж, все равно, по большому-то счету, каждому быть там, в чуть белесой вышней синеве, — одному. А иного счета, кроме большого, тут не придумано, и не надо.

Большая цветастая кружка, обливная керамика, гладко-выпуклый рисунок, двумя руками крепко держать, за деревянным столом сидеть, ногами болтать, потом под лавкой искать свалившийся светло-коричневый сандаль с наполовину порванным ремешком, а вообще хорошо и дремотно немного, разве что пару комаров схлопнуть между ладонями, успеешь не успеешь, ускользнули, снова прилетят. А потом на лампу много кто прилетит ввечеру: и врезающиеся в стену глупые майские жуки, и прозрачно-хризолитовые изящные златоглазки, и упитанные бабочки-бражники, увесистые, как мини-бомбардировщики, и называются похоже и жутковато — «мертвая голова»…

Цветастая керамическая кружка

Земля

И почувствовать откуда-то с улицы головокружительный аромат печеных яблок с корицей — будто совсем рядом. От соседей справа, наверное, там к Эвелине Бернардовне внучки приехали, она и старается…

…И вспомнить, по запаху в прошлое пройти, как по коридору,

шесть лет, а подруге Эльке восемь, она совсем взрослая и твоя подруга, и с ней можно сбежать в лес на Черную речку, не ту, про которую в книжке у Максима, брат объяснял, что Пушкина совсем не тут убили, а возле метро в самом Ленинграде, до которого ехать через Ломоносов / Ораниенбаум, и еще далеко потом, а черная речка от торфа, то есть давно бывшего и сгнившего леса, зайти в воду — мягко и словно легкая пыль в воде, но это только там, где вода чистая, а есть еще такие места, где совсем болото, и непрозрачная уже-не-вода, и вязкие пузыри. Там, если сорвешься с полузатопленного бревна, надо сразу падать на спину в грязь, как бы ни было жалко платья, и руки-ноги растопырить, точнее, сначала руки, и потом подгребать ими, чтобы вытащить ноги, а потом к ближайшему дереву или бревну, которое прочно, и медленно-медленно двигаться, и ни в коем случае не бояться, а иначе засосет болото, как всех не умеющих. Ты один раз уже срывалась так, это нисколечки не страшно, если знаешь что делать, только потом очень долго в чистой воде отмывать и платье, и волосы, чтобы бабушка не узнала, — иначе не яблоки с корицей и капелькой меда внутри, а в угол, и надолго, и противный запах валокордина по комнате.

То есть ты, конечно, знаешь, что сбежать на день вот так вот — это тоже в угол. Но, во-первых, ты с Элькой, а она взрослая, и с вами точно ничего не случится, а в страшилки про сбежавших из части солдат, которые кого-то там убили, ты не веришь, да и вообще ни привидений, ни мышей не боишься. Мышей — совсем взаправду не боишься, они забавные и щекотные. А во-вторых — ну очень хочется, и не на те острова, куда вы обычно бегали, с котелком и пачкой маргарина, потому что полно маслят и лисичек, а есть хочется, а там только развести костер и поставить котелок, можно и сварить, но пожарить вкуснее, а разводить костер тебя уже год как научили, и готовить тоже, ты ведь уже почти взрослая. Нет, сегодня — на дальние огороды, где голубика в ваш рост и сизая от ягод, где можно утащить немного картошек (все равно хозяева не видят, ну а если бы знали — что им, куста жалко, что ли? Одного куста хватит? Ритка, давай два, картошка совсем еще маленькая, ранняя) и где вы еще не бывали, вот что главное.

А над огородами — солнце, какого никогда не бывает в лесу, там его глушит хвоя, там всегда полумрак, и ты точно знаешь, во-первых, что если Баба-яга где и будет жить, то в ельнике, и над ее дверью будет толстая пыльная паутина, а крыльцо — чуть подгнившее и с опятами по краям, чтобы недалеко ходить, если

есть захочется, потому что, конечно, белки орехов принесут, но супа-то на орехах не сварить, а без супа или рыбы вечером в лесу прохладно даже летом, а чтобы рыбу ловить, надо копать червей, а Баба-яга для этого все-таки старенькая. Хотя крот накопать может, но кротов в ельнике что-то тебе не встречалось. Это ни о чем не говорит, правда.

Ты знаешь, что в ельнике ты не умрешь. Ты даже сон видела: когда тебя расстреливают, как в кино, и сквозь сон даже больно, и ты сползаешь на лапы большой ели, как на руки, и расстрелявшие уходят, а чего им оставаться, а тебя обступают ели и качают на огромных лапах, как в гамаке на даче у дяди Валеры, и вот уже вместо крови у тебя в жилах золотисто-зеленый сок пополам со смолой, и ты встаешь, раны затягиваются, а ты смеешься — вот же, придумали: расстреливать в ельнике — и меня; и гладишь еловые ветви, а они говорят, что если будет беда — ты приходи, мы вместе уж как-нибудь справимся.

Да, при этом ты — совсем не Баба-яга. Даже и не в будущем. Потому что оно, конечно, хорошо, когда вокруг лес и белки приносят орехи, но вот что делать зимой? Можно, конечно, валяться в снегу, а потом смотреть сквозь морозные узоры. Но когда одна — это быстро надоедает. И вообще одной — это Баба-яга плохо придумала. А ты будешь космонавтом и в блестящем скафандре бродить по неизвестным планетам. Можно, например, начать с Марса — хорошая идея, ты знаешь, как он выглядит, видела в фильме: там красная вода в каналах и багровые деревья, похожие на наши плакучие ивы. А потом можно — и нужно — дальше. Может быть, какую-нибудь из звезд даже назовут твоим именем — как раньше острова. Или Элькиным, если она тоже с тобой полетит. Или лучше сначала твоим, потом Элькиным. Правда, она хочет быть балериной или продавщицей, но можно сначала одним, потом другим. Ты тоже раньше хотела работать дворником, и даже спросила у дворничихи тети Марины, какой для этого надо заканчивать институт. Она посмеялась и сказала, что школы достаточно, но вот школу надо закончить обязательно. Элька уже в школе, а ты еще нет. Но если школы достаточно, можно побыть сначала дворником, а потом еще что-нибудь закончить — и в космонавты.

А над огородами — марево и запах трав, часть из них ты знаешь и называешь вперебивку: пижма, лисохвост, львиный зев, лебеда, клевер, полынь, — а многие остаются еще неназванными, и густо гудящие солидные шмели, и птичий перекрик-переклик-

перещелк, а спуститься к реке (не Черной, — ты не знаешь, как эту зовут, и оттого немного неловко, как в чужой дом без спросу, хоть и болтается туда-сюда на сквозняке дверь), сквозь камыши, — там скользкая розовато-рыжая глина, а не торф, и вода чище и холоднее, а потом подниматься по склону и наткнуться на гадюку, и Элька убивает ее палкой, Элька ведь очень смелая, замечательная подруга, ты все понимаешь, но немного жалко, змеи — они же такие красивые, когда живые, но вы решаете, что убитая змея — это добыча и все равно собирались сейчас уже поесть, так что и гадюку в глину, и картошку в глину и в костер под угли, и не щиплющий глаза добрый дым, а над рекой уже закат, долгий день, хороший день, а домой надо уже совсем быстро, потому что — а вдруг все-таки не в угол, вдруг у них дела там и еще не волновались и будет просто «садись есть», и неважные взрослые разговоры, и чай с липовым цветом и душицей…

…Маргарита Арсеньевна — невысокая, худощавая, совсем еще не старая женщина — улыбается задумчиво, далеко и светло, и идет на кухню. Мимо фотографии брата Максима, что когда-то сбежал из армии, долго прятался, а потом смог добраться аж до Венесуэлы, и теперь у его детей красивые испанские имена. Печь яблоки с корицей — вечером обещал приехать сын. Может, один, а лучше бы с девушкой своей. Славная девушка Василиса, Маргарите Арсеньевне нравится. И когда уже поженятся? У Эльки вон два года как внучки есть. Но Элька — она всегда была старше, да.

* * *

Странный выбор все-таки — но твой, твой. Круг-звезда замкнут. А на полке — нетронутыми, незазвучавшими — остались и гайвань с танцующими журавлями, выгибающими изысканные, любовно выписанные художником — перышко к перышку — шеи; и тончайшая, чуть-чуть лишь с надтрещинкой по краю возле ручки крохотная чашечка севрского фарфора, где пастушок играет пастушке что-то на флейте — возможно, о бренности бытия, возможно, об алых кленовых листьях, уже остро врезанных в небо, а вернее всего — что-то немудреное в семь-восемь нот, просто чтобы не сразу коснуться-обнажить, а дуновение теплого ветра продлить; и вот это стеклянно-прозрачное из Азербайджана, вечно-забываю-как-называется-с-блюдечком, но то, из чего пьют небольшими глотками чай на берегу Каспия, и слушают волны

моря не моря, недобрых и сильных, раз от разу меняющихся течений, и крупные лепестки бордовых и белых роз запутываются в непослушных волосах; и рыжая глиняная плошка, простая да безыскусная, единственными узорами — от пальцев усталого гончара, в которую то ли жасминовую чуть прозелень, то ли сливовое вино, то ли время по каплям…

Ты приходи. Еще посидим, чайку попьем.

КАК ОВЕЩЕСТВИТЬ ЭТОТ ТЕКСТ

ВСТУПЛЕНИЕ
Мороженое с шоколадной крошкой

Взять 5 яиц, отделить белки, к желткам добавить 5 столовых ложек какао (не какао-смеси, а чистого) и 10 столовых ложек сахарной пудры. Растереть до равномерного состояния. Если нет пудры — можно и 11–12 ложек сахара, но растирать придется дольше.

Белки крепко взбить и смешать с холодными сливками (жирностью не менее 20 %, а лучше больше). Сливок взять примерно 250 граммов, сиречь небольшую упаковку. Добавить еще немного ванильного сахара или мелко наструганной ванили.

Взять горькую шоколадину, натереть на мелкой терке, вмешать туда же.

Засунуть в морозилку на час-полтора до застывания. Украсить чем угодно.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПИАЛА
Чурчхела с грецкими орехами

Это южная еда — трудоемкая и медитативная.

Два литра свежевыжатого виноградного сока (например, «изабеллы») заливаются в кастрюлю и увариваются на очень медленном огне часа два — два с половиной. Пену надо снимать, сахар понемногу подсыпать (в итоге сахара должно уйти от полустакана до стакана, в зависимости от сладости исходного винограда).

В это время стоит заняться рукоделием: половинки грецких орехов нанизываются на суровую нитку, где внизу вместо узелка — спичка с отломанной головкой, а вверху завязывается петелька или крепится скрепка,

чтобы потом повесить сушиться всю эту красоту оптом (не в зубах же держать). Связки не должны быть очень длинными, сантиметров 20–30. Орехов (очищенных) уйдет стакана два — два с половиной.

когда сок уварился, его остужают до температуры чуть более высокой, чем температура человеческого тела, и очень аккуратно, сразу размешивая, всыпают чуть меньше полутора стаканов муки (пшеничной или кукурузной). Сразу растирают до полного отсутствия даже намека на комки и снова ставят на маленький огонь, пока смесь (именуемая грамотно татарой, а неграмотно — киселем) не станет по консистенции напоминать густой кисель, к этому времени вы увидите, что 2 литра сока — это очень мало (уварится в 3,5–4 раза), в следующий раз будете умнее и сделаете больше — скажем, на 4 литра.

Когда ждать уже осточертеет и кисель-татара будет достаточно киселем, надо взять связки и окунуть каждую в экс-виноградный сок по 2–3 раза с промежутками минут в 15–30. Подождать, пока в кастрюлю стечет лишнее, и повесить сушиться на солнце (не забывая, что, во-первых, оно все еще может капать, а во-вторых, что с мухами и осами мы делиться все-таки не хотим), а потом (когда перестанет липнуть к рукам) — завернуть в ткань и перенести в тень. Правильные люди ждут созревания чурчхелы 2–3 месяца. Неправильные… ну, вы понимаете меня, да?

ЖЕСТЯНАЯ КРУЖКА

Лапсанг сушонг с можжевельником

Несколько ягод можжевельника раздавливаются пальцами и кидаются в чайничек. Туда же засыпается чай лапсанг сушонг (из расчета одна чайная ложка на чашку, а впрочем — по вкусу) и заливается крутым кипятком. Настаивается несколько минут, желательно — над греющей свечкой.

Совсем хорошо будет, если потом, когда чай настоится, помешать его немного смолистой еловой веточкой и только потом разливать по чашкам.

Вареная сгущенка

Можно, конечно, и магазинную вареную сгущенку

купить, но это неспортивно. Кроме того, своя обычно все же вкуснее.

Тут все просто, как мычание: берется банка хорошей сгущенки (без всяких там примесей масла), ставится в неэмалированную кастрюлю, заливается водой (чтобы банка была закрыта полностью) и — на маленький огонь на 2 часа. Время от времени придется поглядывать на воду и доливать, ежели выкипает, потому что иначе банка может взорваться, а кухню это не украсит.

После того как сгущенка сварится, банку стоит залить холодной водой — во избежание ожогов. И пусть постоит, охладится.

ЧАШКА ИЗ БУТЫЛОЧНО-ЗЕЛЕНОГО СТЕКЛА

Каркаде

Пара ложек собственно каркаде — сухих цветов суданской розы, она же гибискус, — положить в чайник и залить кипятком. Чайник ставится на греющую свечку и там греется минут пять. Дальше, если есть мед — его можно добавить в чашку, а можно и сразу в чайник, но тогда хорошо размешать, чтобы не пригорел ко дну. Можно пить и с сахаром, но это не так интересно.

Блины-крепы с каштановым кремом

Это тоже по-своему медитативная штука, для двоих. Что укладывается в общую идеологию Парижа, конечно.

Берется пшеничная мука и каштановая мука — по полстакана каждой. Где взять каштановую муку? Хммм… ладно, полстакана пшеничной и полстакана гречневой. Два яйца, чуть больше стакана молока (нормальной жирности), столовая ложка растопленного сливочного масла, чуть-чуть соли, пара ложек сахара или сахарной пудры, ложка светлого пива. Взбивается миксером, блендером или венчиком, если вышло слишком густо, можно добавить пару-тройку ложек воды. Тесто следует оставить на час-полтора под тканевой салфеткой, дабы оно подумало о звездном небе над головой и нравственном законе внутри нас. Потом наливать тонким слоем и жарить блины на тонкой, хорошо разогретой (но не перекаленной) сковороде.

Этим занимается один человек. Второму тоже найдется дело: крем.

Четыре яйца разделить на желтки направо, белки налево, взбить и те и другие, к белкам постепенно прибавить примерно треть стакана сахарной пудры. Поставить печься полкило каштанов, когда первый лопнет — сразу вытаскивать, очищать от кожуры и засовывать в агрегат, способный это перемолоть.

Столовую ложку муки разболтать в двух стаканах холодного молока, чтобы равномерно и без комков. Добавить взбитые желтки, стакан сахара — и на медленный огонь, помешивая, пока не начнут появляться первые пузыри.

Тем временем развести в чуть-чуть холодной воды пару столовых ложек желатина — чтобы крем не разбредался по собственному желанию. В снятый с огня полуфабрикат влить желатин, потом влить смесь в каштановое пюре, перемешать. Добавить белки — не зря же мы старались, взбивали их с сахарной пудрой.

После чего крепы нужно свернуть конвертиком, а крем положить внутрь. Ну или ничего не сворачивать, а просто есть как придется.

ЯДОВИТО-ЗЕЛЕНОЕ ПЛАСТМАССОВОЕ ЧЕРТ-ТЕ ЧТО

Пирожки с капустой и луком-яйцами

Полторы пачки сливочного масла разогреть в кастрюльке; когда растопится, добавить два стакана молока, немного соли, треть стакана сахара. Остудить, вбить четыре яйца. Смешать 7 стаканов муки и пакетик сухих дрожжей, влить туда разогретую смесь, замесить тесто, поставить в теплое место подниматься под тканевой салфеткой.

Тем временем сделать две начинки.

Первая начинка. Вилок капусты средних размеров натереть на терке и слегка отжать. Положить на умеренно разогретую сковородку в подсолнечное или сливочное масло, добавить молотого черного перца и кориандра, мелко нарезать пучок укропа, закинуть туда же, перемешать, выключить.

Вторая начинка. Четыре пучка зеленого лука измельчаются и немного разминаются. Четыре яйца варятся вкрутую и режутся туда же. Добавляется пара ложек растопленного сливочного масла.

Тесто раскатать в пласт, чашкой или стаканом

разрезать на кружки. Фарш — внутрь, по краям защипнуть, класть на смазанный маслом противень, смазать яйцом сверху — и в духовку, где пирожки должны оставаться до появления румяного загара.

Пирожки с повидлом

В стакане молока растворить треть пачки дрожжей и столовую ложку сахара. Влить в полкило муки, туда же — полпачки масла, нарезанного кусочками, два яйца, немного молотой корицы и лимонной и/или апельсиновой цедры. Замесить, отставить на час подниматься, потом раскатать, разрезать на квадратики, положить в центр каждого квадратика густое яблочное повидло, защипнуть. Далее смотри выше — сиречь на смазанный маслом противень, смазать яйцом сверху и — в духовку.

Когда пирожки испекутся, можно посыпать сахарной пудрой с небольшим количеством ванильного сахара.

Ореховый пирог

Пачка сливочного масла растирается с половиной стакана сахара, туда же вмешиваются два яйца, две столовые ложки погашенной соды; вмешательство продолжается двумя с половиной стаканами муки. Это — тесто, его пока прячем в холодильник.

Три стакана орехов — какие под руку попались и убежать не успели — измельчаются любым удобным способом, главное, чтобы не сильно мелко (в кофемолку совать не надо, я так уже пробовала — плохая идея. Кроме всего прочего, кофемолку очень трудно отмыть от орехового масла), например, можно положить орехи на доску и прокатать скалкой. Или в ступку — и вообразить себя Бабой-ягой, в общем, как получится.

Стакан сахара без горки высыпается на сухую сковороду и нагревается на небольшом огне до расплавленного коричневого состояния. При этом стоит наблюдать за процессом и помешивать сахар, чтобы не пережечь. Когда он станет цвета темного янтаря, влить в сковородку стакан жирных (свыше 30 %) сливок, перемешать, нагреть почти до кипения, всыпать орехи, операцию «нагреть почти до кипения» повторить, до кипения не доводить, с огня снять, на подоконник

остужаться поставить. Это, как понятно, начинка.

Тесто делится пополам и раскатывается, одна часть выстилает собой форму (лучше сделать «бортики» из теста повыше), кладем начинку, сверху — вторую половину теста, края надо как следует защипнуть. Ставим пирог на полчаса в духовку.

После чего можно просто посыпать пирог сахарной пудрой, а можно выпендриться и сделать крем из сливок с ванильным сахаром и распаренным измельченным черносливом.

ЦВЕТАСТАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ КРУЖКА

Травяной чай с липовым цветом и душицей

Принцип заварки травяного чая напоминает правило сбора букетов из полевых цветов — руководствоваться вкусом и здравым смыслом, а отдельные элементы не так важны. Здравый смысл — для того, допустим, чтобы не помешивать заварку в котелке багульником или не добавлять растение-аллерген, если у кого-то из компании к нему непереносимость. В остальном же травяной чай должен напоминать палитру художника после продуктивного трудового дня. Иван-чай, мята, лепестки и плоды шиповника, ромашка, смородиновый лист, цветы василька — словом, что угодно. Ну и липовый цвет с душицей, раз уж о них речь зашла.

После того как вы вытряхнули в чайник / котелок ваш гербарий, залейте его кипятком и настаивайте несколько минут. Пить травяной чай хорошо с медом — липовым или акациевым, а то и гречишным, по вкусу.

Печеные яблоки с корицей

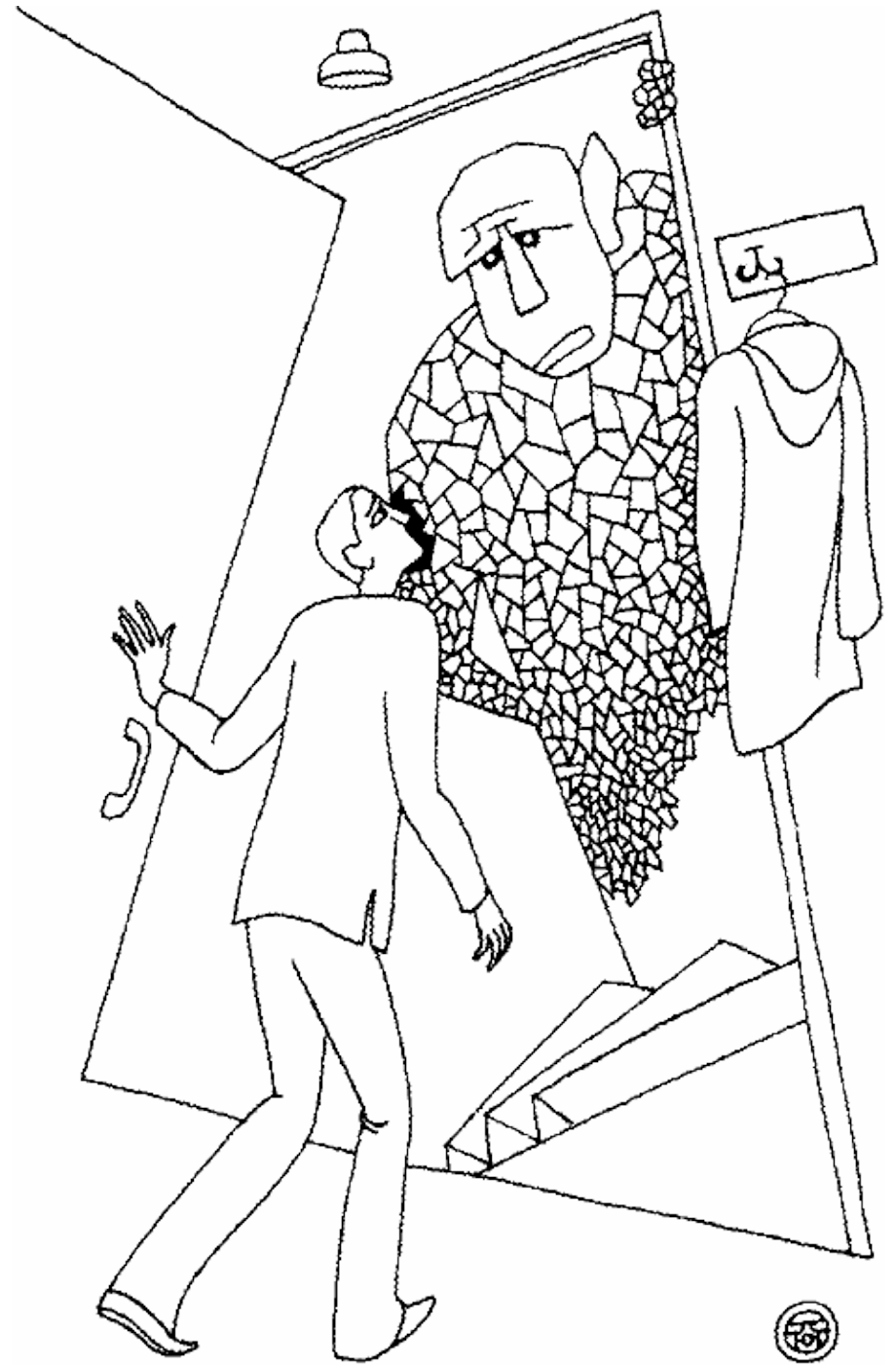
Яблоки разрезать пополам, удалить сердцевинку. в образовавшееся углубление капнуть немного меда. Посыпать корицей. Потом половинки можно сложить в целое яблоко и втиснуть в сравнительно тесную форму, а можно просто положить их друг на друга. Сверху хорошо бы капнуть немного растопленного сливочного масла, поставить в духовку, запечь до мягкости, вынуть, слегка присыпать сахарной пудрой.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Жасминовый чай

Чайник обдать кипятком, засыпать чай (не очень много, это тот редкий случай, когда лучше пожадничать) и залить его закипающей (но еще не закипевшей) водой. Чем мягче вода, тем вкуснее будет чай. Знатоки говорят, что через минуту воду надо слить и залить новую. Очень может быть, но я так не делаю (и еще ни один слон не упал со спины мировой черепахи), а просто жду пару минут. Три-четыре заварки — штатный расклад для жасминового чая, только ждать каждый раз придется чуть дольше, так что у вас будет время для неспешной беседы под аромат жасмина. Что, собственно, и требуется.

Ольга Морозова



Поющий тропы

За дверью стоял тролль. Крупный, косая сажень в клыках. Николай тупо уставился на визитера. Тролль глубокомысленно сказал:

— Хум-хум.

Голос у него был низкий и неожиданно приятный.

— А? — растерянно переспросил Николай.

— Давай ты умрешь, — предложил тролль.

— М-м-м… нет, спасибо, — испугался Николай.

— Ладно, — тролль покладисто кивнул, развернулся и пошел вниз по лестнице. На нем была старая шапка с птичьим пером и теплая грязная шуба.

Николай закрыл дверь, повернул оба замка и только теперь поежился.

— Ничего не понимаю.

Чего он в шубе-то? Жара же.

* * *

Николай мечтал, что придет домой и придумает наконец добротную героиню. Хорошую, крепкую, с талией пятьдесят восемь. Назовет ее Викторией Тимофеевой и, когда станет отпиваться от творческого кризиса между девятнадцатой и двадцатой главой, будет смотреть сурово в воображаемые голубые глаза и веско говорить: «Ну что же ты, Виктимочка…» И не будет обращать внимания на вопли завистников о неестественной природе героини. Мол, слишком супергерл. А как? Как вы себе представляете женщину, которая коня на скаку не то что остановит, а еще и накормит, и причешет, и спать уложит? Она и должна быть супер. Блондинка. Сильная. Ясные голубые. Талия. И много-много способностей. «Не выжить иначе бабе в жестоком мире», — сосредоточенно думал Николай, отодвигая чашку с остывающим чаем и аккуратно постукивая по клавишам. «Да и мужику…» Но героиня рождаться не желала. Видимо, и правда — не могла стать реальностью. Жалко.

Николай любил фантастику. Он ее, можно сказать, ел. Почти каждый день. Периодически на обед были классики американской и европейской школы. Николай слегка презирал критиков с их холодным умом, поэтому относился к чтению принципиально бесхитростно: классики — это солидное, идеальное чтение, не сулящее огорчений. Это можно перечитывать. Здесь он ценил

умение авторов конструировать взвешенную, проработанную, правдоподобную вторую реальность, а затем неуловимым движением делать эту реальность первой. Когда хотелось легкости, он брался за книги латиноамериканской школы. Жизнь — это сон, сон — это жизнь, а реальность — что реальность? Может, и нет ее никакой. Примерно так формулировалась в сознании Николая эта школа. Ее он любил реже. А вошедший в моду и успевший уже слегка состариться постмодернизм принимал с иронической улыбкой и за редким исключением считал, скорее, литературной игрой, чем собственно литературой. Но иногда хочется и такой еды, еды-забавы.

Сам Николай писал неизвестно что. Так и говорил себе: неизвестно что я пишу, пусть критики разбираются, у них работа такая. Но втайне надеялся, что его тексты относятся… Впрочем, он старался не формулировать эти свои надежды.

А еще он не собирался мучить текст. Нет! Писать нужно тогда, когда пишется. Поэтому Николай решительно встал из-за компьютера и пошел курить. На середине сигареты ему стало скучно. Виктимочка создаваться не желала. На мониторе болталось несколько жалких строчек. А в работе был дурацкий перерыв, совершенно незапланированный и оттого — раздражающий. Николай работал пиарщиком и предпочитал так называемую активную занятость — когда в сутках внезапно обнаруживается часов тридцать, глаза вылезают из орбит, все горит, ничего не сгорает и заканчивается фейерверком. В такой обстановке писать рассказы гораздо легче. В промежутке между ужасом и авралом. Гораздо.

И в эту минуту в дверь позвонил тролль.

* * *

Николай и не думал, как это. То есть как такое вообще может случиться. Живешь ведь в самом большом городе страны. Люди у тебя есть — друзья и всякие знакомые. И телефон с интернетом. А потом кто-то умирает, кто-то сходит с ума, кто-то тоже — за границу уезжает насовсем или женится. А потом глядь — а нет никого. Только двое и остались: ты и безвозможное одиночество. Нет, не невозможное. Это бы еще ничего, это бы означало, что нет его и быть не может. Самое настоящее безвозможное. Не смутишь, не убьешь, не уберешь на полку, если жалко. Николаю очень было его жалко. И себя.

Сначала он не знал, что делать. А потом стал писать рассказы

— специально для нового собеседника, будто боль заговаривал. Поначалу боязно было, а потом привык, втянулся. Говорят, это называется «сдвиг мотива на цель». Стали ему интересны сами по себе рассказы, а потом — и сами по себе герои. Они у него были разные: взрослые, детские, животные, никакие. И вот теперь он решил придумать Виктимочку, потому что это было интересно. Но она что-то никак не выходила. Вместо нее явился тролль и предложил Николаю смерть. С легкостью принял отказ и удалился.

Николай уже жалел, что тролль ушел. Но не соглашаться же было? Он решительно вернулся за компьютер и бодро застучал по клавишам. Теперь он знал, как продолжить первые строчки, которые пришли ему на ум полчаса назад:

«Есть депрессия действия, а есть депрессия покоя. Это как усталость. Беспросвет. Только в одном случае это редкие тупые толчки в висках и иногда сильные — под дых. А в другом — трясина ровная, ждущая, манящая сладковатым запахом разложения. Трудно выбираться, да и противно. Отключаешься, чтобы пережить, перетерпеть… и не замечаешь, как затягивает. Безболезненно. Никак. Так, может, не отключаться? Чувствуя всей кожей, всеми органами чувств, включая шестое, но двигаясь вперед, сначала рывками, а дальше уже все ровнее, спокойнее вышагивая из болота повседневности. И однажды, кто знает, в ваши двери постучится тролль и предложит вам смерть. И если вы откажетесь, он уйдет. А если согласитесь — на некоторое время у вас появится достойный собеседник. И тогда, быть может, вам и вовсе не придется умирать».

Николай остановился и перечитал написанное. Да, это было то, что нужно. И отправился на перекур. Но долго отсиживаться ему не дали: зазвонил телефон. Николай не глядя нашарил на столе трубку.

— Алло?

— Здравствуйте, — прозвучал в трубке далекий невнятный голос. — Заказы принимаете?

— Какие заказы?

— Обыкновенные.

— Даже не знаю, — развеселился Николай. Голос был, кажется, женский, и это почему-то обнадеживало.

— Так да или нет? Вы сейчас свободны? Николай оглядел чашку с недопитым чаем и недокуренную сигарету.

— Ну, более-менее.

— Тогда записывайте: депрессия, тролль, смерть, дорога… Записали?

— Д-да, — недоуменно проговорил Николай. Ничего он не

записал.

— Начните с этого. Дальше посмотрим. Присылайте на мой электронный адрес. Хорошо?

— И какой адрес? — нахмурился Николай.

— Виктория — собака — Тимофеева — ру. Завтра жду. До свидания.

Послышались короткие гудки.

Николай с мукой поглядел на трубку и тихо сказал: «Ну что же ты, Виктимочка…»

* * *

Он грыз карандаш. Наверное, со стороны это выглядело глупо: сидит человек за компьютером, грызет карандаш. Но обычно это помогало думать. Сейчас, впрочем, не так чтобы очень.

В уже написанном тексте было почти все, что заказывал голос в трубке. Кроме дороги. Это раздражало. Ну почему — такое удачное совпадение и не полное? Совпадению Николай не удивлялся, как не удивился и троллю, звонящему в дверь. У него что-то переклинило в мозгу, — наверное, это и был центр удивления. От бессонницы, что ли? Или от духоты. Стояла жара и недовольство, спал он плохо. Теперь от недовольства не осталось и следа. Николай очень хотел выполнить таинственный заказ. Было одно проверенное средство…

Он решительно встал, сунул сигареты и ключи в карман, обулся и вышел из дому. Если чудеса решили навестить тебя сами, это еще не значит, что ты не можешь пойти к ним навстречу. Можешь. И Николай, не желая быть лежачим камнем, решительно отправился в ближайший сквер. По дороге никого особенного не встретив, он прошел по аллее, сел на лавочку и решительно откинулся на спинку. Посидел минуты три просто так и достал сигареты. «Много курю», — мелькнула привычная мысль.

— Много курите, — эхом прозвучал чей-то голос.

Николай, не торопясь, повернул голову. Рядом с ним на скамейке сидел воробей. Обычный, московский, серый. Воробей смотрел на него круглым глазом.

— Да, — неопределенно кивнул Николай.

— Он не говорящий, — насмешливо заявил голос. — Зато я — вполне.

Николай осмотрелся. Кроме воробья, никого вокруг не было, только в конце аллеи маячила мамочка с коляской.

— А где вы? — осведомился Николай. — Простите, но я вас не вижу.

— Неудивительно, — проворчал голос. — Вы вообще обычно ничего не видите. Сидите дома, компьютер да телефон. Даже не знаете, как соседей ваших зовут.

— Не знаю, — покаялся Николай и почему-то решил пояснить: — Квартира съемная.

— Да какая разница? — возмутился голос. — Соседи тоже съемные?

— Да нет, обыкновенные соседи, — смутился Николай, припомнив толстую тетку, с которой столкнулся у лифта месяца два назад, и бодрого старичка, выходящего из квартиры напротив буквально сегодня, когда Николай вернулся из магазина домой и ковырялся ключом в замке, пытаясь открыть дверь, не выпуская из рук многочисленные пакеты с будущей едой.

— Вот и мотайте на ус, — наставительно заметил голос.

— А вы не покажетесь? — робко спросил Николай, но ему никто не ответил.

Он еще немного посидел, но больше ничего не происходило. Тогда он пошел домой.

* * *

Бодро жуя сосиску, Николай думал. В сущности, все неплохо. Время есть. Голос дал подсказку: соседи. К толстой тетке идти не хотелось, а вот старичок Николаю понравился, почему бы не зайти по-соседски? Только вот повод, повод…

Так ничего и не придумав, Николай решил — была не была. Попробуем просто. И решительно зашагал в дальнюю даль, в соседнюю квартиру. Старичок был дома. Он совсем не удивился визиту, не побоялся распахивать дверь перед малознакомой физиономией, кивнул и выразительно махнул — проходи, мол. Николай несмело зашел. В квартире было тихо и пахло книгами. Да они и были везде. По крайней мере, коридор, в котором положено держать всякую верхнюю одежду, был весь заставлен полками. Приободрившись, Николай начал:

— Вы простите меня, пожалуйста, но я тут…

Старичок снова выразительно махнул рукой — на этот раз жест означал: «Пустяки, не смущайся». И пошел на кухню, так и не произнеся ни слова. Николай отправился за ним. На кухне закипал чайник. Обычный, на плите. Старик ткнул пальцем в сторону дивана, не спеша заварил чай, щедро сыпанув в заварку смесь каких-то трав из банки, расставил чашки, откуда-то выудил

вазочку с вареньем. Николай освоился. Придвинул к себе чашку, и некоторое время они уютно молчали. Окно было занавешено тяжелыми коричневыми шторами, и оттого казалось, что уже почти прохладно.

Откуда-то из глубин квартиры вышел кот. Он был хорош. Крупный, рыжий, с толстым плавным хвостом. Кот серьезно поглядел на визитера медовыми очами и прошествовал к миске, в которой его дожидался корм. Николай полюбовался на рыжий солнечный холм и повернулся к старику.

— Вы знаете, меня сегодня упрекнули, что я даже с соседями не знаком, хотя живу тут уже год, — он решил говорить правду. Не обязательно же всю.

Старик кивнул. «Непробиваемая личность», — восхищенно подумал Николай и продолжил:

— Вот я и решил зайти.

Сосед кивнул еще раз. Николай пожал плечами и попробовал варенье. Вкусное, домашнее, а из чего — не угадать.

— Ореховое? — полюбопытствовал он.

Старичок отрицательно мотнул головой.

— А какое? — Николай решил переть напролом. Это же невинные вещи! Почему бы и не попереть?

— Вуршни.

— Что, простите? — Николай даже растерялся, услышав голос старика. Нормальный голос.

— Варенье из вуршни.

— А-а, — Николай решил пока не уточнять, что это такое. Многие знания в данном случае его не устраивали: варенье было вкусным, и он вовсе не жаждал разочароваться, узнав, что «вуршни» — это какая-нибудь гадость.

В полном молчании они допили чай. Но это не было ни тяжелое, ни смущенное молчание. А после чая Николай задумался, как теперь перейти к главному. За окном вечерело. Кот вышел на середину кухни и благожелательно уставился на гостя. Старичок отставил в сторону опустевшую чашку и тоже поднял глаза.

— Не беспокойтесь, — наконец сказал он. — Все будет хорошо.

— Да?

— Да. Кстати, меня зовут Атанас Осипович.

— А меня — Николай.

— Ну вот и познакомились. Вы заходите, если что.

Рассудив, что на этом визит явно пора заканчивать, Николай встал, неловко кивнул и направился к выходу. До двери его провожал кот.

— До свидания, — сказал Николай обоим.

Ни кот, ни старичок не ответили.

* * *

Уютный Атанас Осипович нисколько не приблизил Николая к решению проблемы. По крайней мере, когда он вернулся к компьютеру, дорога в тексте не появилась. Что ж, придется навестить вторых соседей. Из воспоминания о коротком разговоре у лифта он выудил номер квартиры. Выходило, что соседка обитает прямо рядом с ним. Глянув на часы — нет, вроде не поздно, — Николай решительно отправился во вторые на сегодня гости. С ума сойти, обычно он целыми днями просиживал дома, а сегодня то и дело шастает туда и сюда.

Соседка тоже открыла сразу. У нее в доме было громко. Играла музыка — странно, что ее совсем не слышно у Николая за стенкой. Что-то средневековое. Соседка у порога выслушала речь о том, как важно знакомиться с соседями, рассмеялась и представилась. Ее звали Марьей. И лет ей было — Николай пригляделся — лет сорок пять. Тогда, у лифта, он решил, что она постарше, но сейчас понял, что это из-за полноты. Здоровой такой полноты, вообще-то, румяной и улыбчивой. Они пообщались минут десять на светские темы, сошлись на том, что нынче лето жаркое, да все равно дожди, так что скоро тропические лианы в окна полезут. Тогда Николай, не придумав темы интереснее, спросил, что у нее играет. Оказалось — сборник средневековой музыки, угадал. Соседка Марья тут же засыпала Николая кучей ценных сведений о том, какая вообще бывает средневековая музыка да почему она такая прекрасная. Через некоторое время он начал тонуть в терминах и даже почти задремал, поскольку Марья, увлекшись, перестала нуждаться в собеседнике, но очнулся, когда она рассказывала, откуда взялось слово «трубадур». Оказывается, мнения историков и филологов расходились: половина считала, что это от провансальского troubar — сочинять, находить, а вторая половина — что от латыни: tropare — петь тропы.

Марья перешла к таинственным труверам и миннезингерам, а Николай все сидел и повторял про себя: «Петь тропы». Кажется, вот оно. Дождавшись очередной паузы, он встал и, решительно соврав, что совсем заболтал бедную женщину, попрощался и рванул домой.

* * *

Петь тропы! В этом что-то было, но Николай пока не мог понять что. Тогда он решил отвлечься. Это тоже было проверенное средство — примерно как погрыз карандаша. Отвлекаясь, он пошелестел ежедневником и выяснил, что за всеми этими чудесами забыл, что ему завтра сдавать не только заказ таинственной незнакомки, но и самую обыкновенную работу. Вернее, подработку. Небольшую, но обещанную.

Поохав, Николай собрался писать — короткую, но емкую статью о праздниках и прочих радостных и печальных событиях, которые отмечались завтра. И эти события следовало найти в сети или, на худой конец, придумать.

Сеть предательски молчала. Ни-че-го. Николай, привыкший, что в любой день любого года что-нибудь да отмечается, нахмурился и стал рыть активнее. Нашел. В этот день в двенадцатом-тринадцатом веках на юге и западе современной Франции отмечали День духов неудержимых. Этот день сулил неудачи в работе, общаться рекомендовалось с людьми сплошь знакомыми, зато разрешалось наблюдать видения и спасаться от духовых проявлений. Предсказывались грозы. Быстро накатав требуемые полстраницы текста, Николай удовлетворенно перечитал получившееся, исправил пару опечаток и отправил статью редактору. Все, теперь можно сосредоточиться на главном.

* * *

Поразмышляв на заданную тему, Николай решил, что День духов — это, как ни крути, хороший повод для появления всякой нечисти. А чего ж они тогда сегодня разрезвились? Не поймешь. Зато с соседями он уже познакомился, так что к завтрашнему дню более-менее готов. Но дорога… Неужели опять придется вылезать из дома? Николай глянул за окно. Стемнело, между прочим.

Компромисс был возможен. Отправляться затемно куда-то там необязательно, можно притвориться обычной московской бабкой и посидеть на лавочке у подъезда. Заодно и проветриться — весь день парило, а дождь так и не полил.

На улице было куда лучше, чем в квартире. Николай сидел на высокой лавочке и болтал ногами. Так, конечно, бабки не делают. Хотя, с другой стороны, мало ли чем они занимаются, когда их никто не видит? С удовольствием закурив, Николай прикрыл глаза. А когда открыл снова — с неба на него шла тьма. Тучи были черны, занимали полнеба и обещали скорую грозу. Прогрохотало, рывком дунул ветер, и с неба вдруг полило, да так, что юркнувший под козырек подъезда Николай успел вымокнуть

— ну, не до нитки, но вполне ощутимо.

Гроза схлынула скоро, оставила после себя лужи и запах свежести, заглушивший аромат вечернего бензинного выхлопа, от которого в городе никуда не деться. Николай еще подышал и вернулся домой, где махнул на все рукой и лег спать.

* * *

С утра он изволил сердиться. Что за дамы? Что за заказы? Издеваться удумали над бедным писателем. Но с реальной Виктимочкой познакомиться хотелось. И Николай отправил текст как есть — без всякой дороги. Ответ пришел почти сразу: «Вы большой молодец, продолжайте в том же духе». В каком «том же»?! Николай взвыл.

* * *

Весь день царила полная тишь. Ни гроз, ни духов не случалось больше с Николаем. А при попытке послать письмо с рядом вопросов по известному адресу Николай получил только автоматический ответ, что данный ящик, простите, не существует.

К ночи ничего не изменилось. Тупо уставившись на календарь, висящий над столом, Николай грыз карандаш. Минут через десять такого времяпрепровождения глаза у него наконец сфокусировались на дате. И тут он подпрыгнул! И мысли его тоже подпрыгнули. Вчера, пока писал статью, он был совершенно уверен, что сегодня — это сегодня! А оказалось, что сегодня — вчера! Николай заставил себя сесть нормально. Короче, День духов каких-то был вчера. Вот тебе и неудача в работе. И гроза. И, собственно, духи. Неудобно было перед редактором, но он все равно проверять не станет, черт с ним. Осталось понять, с чего бы духам делать таинственный заказ и принимать его недоделанным. Помаявшись некоторое время, а потом еще некоторое, Николай демонстративно завалился на диван с книжкой. Мол, хватит, чукча сегодня читатель. Невозмутимый читатель. Открыв роман, наугад взятый с полки, Николай прочел эпиграф, вынесенный в середину чистого первого листа:

> …и дорога к Граалю есть сам Грааль, и человек, поющий тропы, есть странник на пути к нему.

И Николай перевернул страницу.

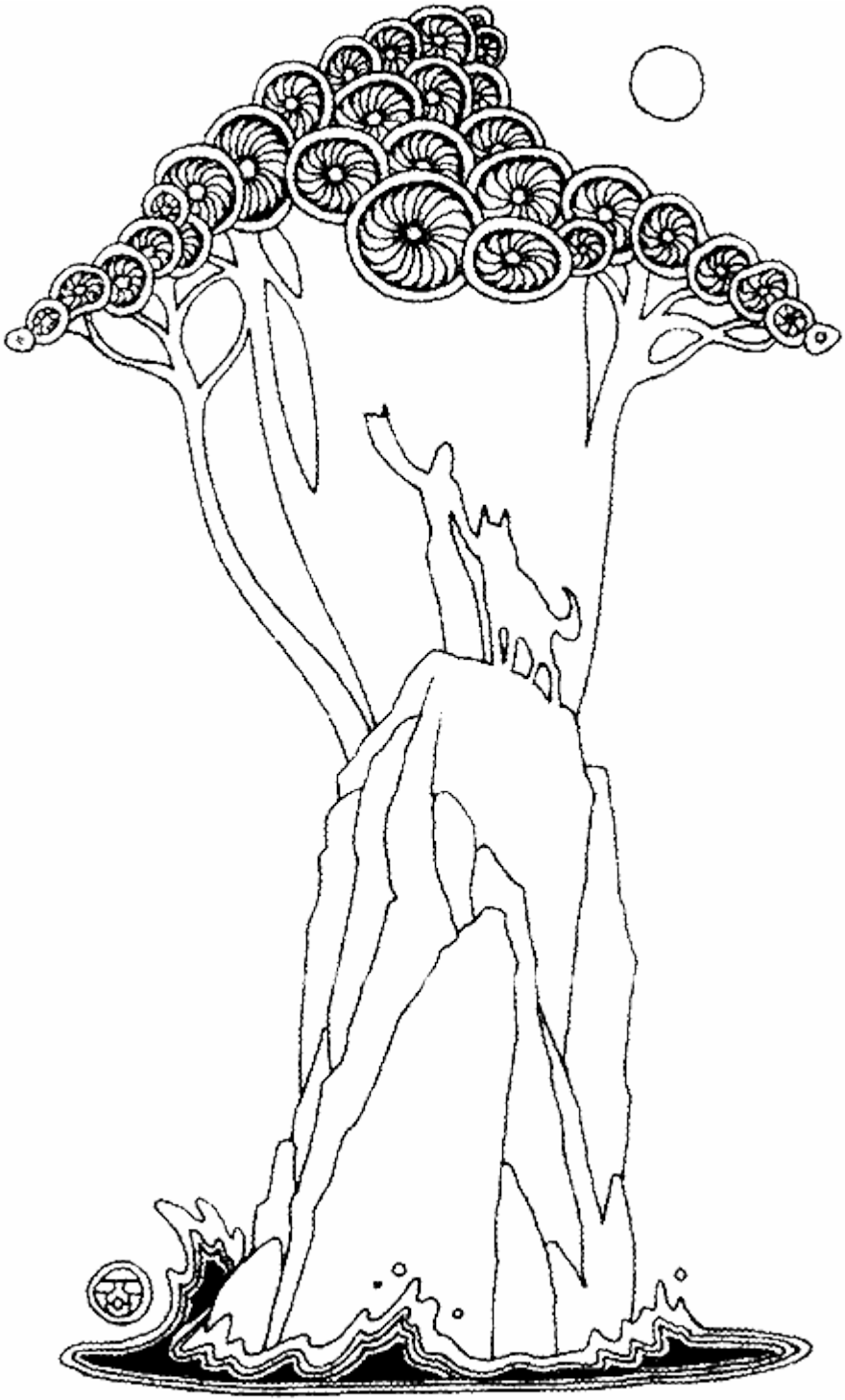
Чай семнадцати трав
(Рецепт Атанаса Осиповича)

Еще не раз Николай заходил к соседу на чай. И однажды отважился расспросить старичка о рецепте. Атанас Осипович уютно помолчал, потом кивнул и достал темную стеклянную банку с любимой смесью. Вот что в ней оказалось:

1. Лепестки розы
2. Душица
3. Лист малины
4. Шиповник
5. Боярышник
6. Цветки липы
7. Шалфей мускатный
8. Чабрец
9. Ежевика
10. Земляника
11. Лимонник
12. Мелисса
13. Ромашка
14. Цвет бузины
15. Жасмин
16. Ягоды можжевельника
17. Белая акация

Идущему по стопам Атанаса Осиповича следовало смешать семнадцать трав в равной пропорции и хранить в плотно закрытой банке — лучше стеклянной, темной. Заваривать все это нужно прямо перед употреблением, смешав с парой щепотей черного чая. Листья желательно брать из китайской провинции Юньнань — тогда напиток будет отличаться чуть дымным ароматом и привкусом чернослива. После заливания кипятка не стоит засиживаться, отвлекаясь на посторонние мысли: если к чудесной заварке не проявлено должное уважение, она темнеет и начинает горчить. Смиренно выждав три-пять минут, не больше, можно начинать наслаждаться. Летом в чай следует добавить немного очень холодной воды. И не забыть про варенье! Если вы незнакомы с волшебными ягодами вуршни, сойдет обыкновенная ирга или тутовник.

Светлана Дильдина



Остров белого пса

— Что за… — Олег крутанул руль — избежать столкновения. В груди колотились по меньшей мере два сердца. Испугаешься тут, когда невесть откуда возникает перед тобой псина.

В свете фар Олег едва ли не каждую шерстинку ее разглядел. Еще говорят, время течет одинаково.

— Сбил? — шепотом спросила Маринка, прижав к горлу ладонь.

— Вроде нет, удара не было. Здоровая зверюга…

— Пошли посмотрим.

Они выбрались из машины. Кузнечик только высунул голову, провожая их взглядом.

Парень и девушка обошли кругом автомобиль, удивленно переглянулись.

— Ну, убежала, наверное.

— Или почудилось?

— Двоим сразу? Вряд ли.

— Белая такая, лохматая?

— Ну да. Больше овчарки.

— Мы тут ночевать останемся? — буркнул Кузнечик. — Или поедем?

— Видел? — спросила его Маринка. — Пса?

— Делать мне больше нечего, глюки ловить, — сказал тот, позевывая. Он единственный из троих был спокойным, как дохлый слон.

Небо, чистое, угольно-черное, усыпали звезды. Полная луна покачивалась на единственном облаке, будто на надувном матрасе. Путешественники осмотрелись. Рядом с дорогой топорщился невысокий кустарник, справа за ним виднелись деревья вроде кленов, насколько можно было судить в темноте, дальше тянулись к небу шеренги сосен.

С этой стороны гора довольно круто поднималась вверх, с другой — склон полого уходил вниз… и метров через десять обрывался.

— Ого. Полетели бы… птичкой, — сказал Олег.

— Смотри, — откликнулась Маринка.

Позади них, у самого склона, белел памятник. Густые тени плясали на прямоугольном камне и подле него, танец белых и черных пятен вызывал неприятное чувство.

— Поехали отсюда, на фиг. — Олег забрался в машину.

Маринка застегнула кофточку на все пуговицы и руки сунула в рукава, чувствуя, что ее начинает бить озноб. Машина завелась, громкий звук испугал Маринку, — казалось, тишина должна царить тут безраздельно.

Но автомобиль тронулся, и страх понемногу прошел.

Здесь, на северном море, острова были как близнецы — высокие, скалистые, поросшие темным ельником и мощными соснами. Кузнечик, двоюродный брат Маринки, родился и вырос на одном из таких островов, Олег жил на севере уже восемь лет, а сама девушка недавно приехала из земель куда более южных.

Сюда их притащил Кузнечик — показать причудливую скалу в форме раскрытой ладони.

Маринка опасалась — тут не продохнуть будет от туристов, таких же любителей работы моря и ветра, но местечко оказалось довольно глухим.

Гостевой домик уютом не поражал: две крохотные комнаты, диван и стулья, обтянутые красной шерстью, холодильник и радио. До ближайшего телефона идти с полкилометра. Зато люди приветливые и, как на подбор, — темнолицые, крепкие, будто постоянный ветер и штормы добавили им сил и умения твердо стоять на земле.

Кузнечик в первый же день потащил друзей на ту самую скалу. Она в самом деле оказалась весьма похожей на руку, причем левую. Над ней кружили крачки и чайки, вопили пронзительно. Кузнечик порывался забраться на причудливый, обточенный ветром утес, но его ждало разочарование: между скалой и берегом обнаружился довольно широкий пролив, а море вело себя неспокойно.

— В прошлый раз тут не было столько воды, — ворчал неудавшийся скалолаз на обратной дороге.

Маринке же не давал покоя вчерашний памятник. Все-таки… Сами вчера едва не погибли на том же месте.

— Поедем посмотрим! — затеребила она Олега.

— Я на эту чертову дорогу больше не сунусь!

— Так днем же.

— Какая разница! Ты что, памятников не видела?

— У тебя склонность к некрофилии? — радостно подключился Кузнечик. Маринка отвесила братцу подзатыльник. Она старше, ей можно.

Днем дорога выглядела безобидной. Неожиданных поворотов, осыпей — ничего этого не было. Два автомобиля могли разойтись свободно — Олег на своем веку встречал куда более опасные трассы. Он пожалел, что поддался на уговоры Маринки: в самом деле, ну что за детсад?

А собака… бывает. Никто не пострадал, и хватит об этом.

Памятник днем тоже не таил в себе ничего зловещего. К нему, видно, давно не приходили, на фотографиях были потеки грязи, тропка — всего пара шагов длиной — заросла кострецом и репейником.

Два лица улыбались с черно-белой керамики. Мужчина и женщина, обоим по тридцать, фамилия одинаковая.

— Семейная пара, — сказал Олег.

— Мда… — даже Кузнечика проняло. Он был слишком живым, чтобы думать о смерти, и все, что о ней напоминало, давило тяжелым грузом.

Повар, готовящий для гостевых домиков, чистил рыбу — и с руками, облепленными чешуей, трубкой в углу рта и темным, будто просмоленным лицом смахивал скорее на морского капитана. Маринка рассказала ему про событие давешнее возле обрыва, и он важно кивал, в такт взблескам ножа:

— Нехорошая дорога, опасная. Там часто бьются.

— Мы видели памятник.

— Да… Ну не всегда насмерть. Но бывает, бывает. Раз в год, может, или вроде того — кто-нибудь обязательно угробится. Вот же местечко…

— Что ж вы не примете мер? — недоуменно спросил Олег.

— А как? Денег нет хорошее ограждение ставить. А прутиками отгородить — ничем не поможет. Знак висит, только по темноте на него и не смотрят.

— А те, кому памятник, — вы их помните? Всего три года прошло, — спросила Маринка.

— Самих-то я и не знал никогда. Не успел. А случай — помню, само собой.

— У них не было… пса? — В груди замерло, неожиданно для самой девушки.

— Оп-па… — Тот прищурился, посмотрел на молодых людей очень внимательно. — Видели, значит, собачку?

— Э… да, — растерялся Олег. — То есть это нам не почудилось?

— Кто ж его знает, — речь повара стала медленной, протяжной, будто старик пробовал слова на вкус. — Только не вам одним.

Полицейский участок располагался на другом конце острова, и Олег не хотел тащиться туда — привык, что блюстители порядка не больно-то разговорчивы, а зачастую совсем не дружелюбно настроены. Но ошибся: полицейский попался просто

душа человек.

Водя узловатым темным пальцем по журналу происшествий, вслух считал случаи, когда водители попадали в беду на искомом участке пути.

На этой дороге всегда было довольно спокойно. А последний десяток лет — будто судьба с цепи сорвалась, одна-две аварии в месяц, восемь упавших с обрыва машин. И погибшие…

— Вот тебе и дорога, вот тебе и собачка, — пробормотал Кузнечик, когда возвращались домой.

Домик, поначалу не впечатливший, успел стать родным и уютным. Кружевные занавески на окнах, пучок душицы — Маринка насобирала, радио мурлычет эстрадные песенки…

Кузнечик прихлебывал чай — сразу с огня; как он ухитрялся глотать кипяток, ни Олег, ни Маринка понять не могли. Чай очень крепкий, заваренный с мятой, щепотью имбиря и перцем, — вдыхать его аромат было приятно, пить — боязно: как желудок воспримет такую смесь?

— Я думаю, кто-то несколько лет назад сбил эту собаку.

— И что же, теперь пес мстит окружающим за свою смерть?

— Почему бы и нет? Если, конечно, это не мираж на дороге. Ну, свет так падает, от скалы отражается… Олег, ты заметил — когда мы приехали, полнолуние было. Мало ли какие выкрутасы зрения возможны.

— Хорошенький мираж! Я чуть не каждую шерстинку у него разглядел!

Все трое неожиданно для себя сошлись на том, что на дороге, несомненно, был пес. А не «собака женского пола».

Жители поселка на расспросы пожимали плечами и травить байки особо не стремились. Маринка так и не поняла, опасаются или просто все люди занятые, пустые слухи не любят. Повар над ней сжалился, указал нужного человека:

— Про пса Анге знает. Она сюда за молоком приезжает каждое утро, у нее у самой зверюга — в пол вашего роста. Я на этот край острова перебрался не так давно, а она мне рассказывала…

Знакомство с Анге началось со звонка велосипеда. Он так заливисто тренькнул, что Маринка заранее почувствовала симпатию к неведомой женщине и поспешила к дороге, чтобы увидеть ее. Картина взору предстала неожиданная: мальчик-подросток лихо крутил педали, на голове красовалась алая кепка назад козырьком, глаза прикрывали огромные солнцезащитные

очки. Рядом с велосипедом бежал огромный серый волкодав с жесткой даже на вид шерстью и добродушной мордой.

— Анге! — окликнула подростка молочница, и Маринка чуть не протерла глаза: это — женщина?

Именно женщиной велосипедист и оказался. Лет тридцати уже, худенькая, коротко стриженная. Дружелюбная, как все на острове, и разговорчивая.

Маринка, после нескольких общих фраз, в лоб задала ей вопрос про пса. Про дорогу умолчала на всякий случай, издалека зашла — так, мол, интересуемся, не помните ли эдакую животину…

— Ну, конечно, — женщина улыбнулась. — Я его помню. Всегда любила больших собак.

Маринка невольно перевела взгляд на полянку, где бегал огромный волкодав.

— И что это был за пес?

— Беспородный, похож на пиренейскую горную. Красивый, ухоженный зверь. Девушка души в нем не чаяла.

— Девушка? — У Маринки разве что уши торчком не стали.

— Да. Около пятнадцати лет назад она сорвалась со скалы… С ее псом тоже произошло несчастье, кажется. Хотя в этом я не уверена, — понимаете, если погиб человек, мало кому есть дело до собаки.

Маринка сидела на траве, обхватив колени руками, и слушала Анге. Та по-мальчишечьи устроилась на козлах для пиления дров, ногой придерживала и покачивала велосипед.

— Они приехали вчетвером: родители, сын и дочь, эта девочка. Я запомнила ее из-за собаки… Не помню, как девушку звали, мы толком не познакомились, хотя были почти ровесницами. Она все больше молчала, бродила по лесам в одиночестве, не считая пса.

— Родители отпускали?

— С таким зверем ничего не страшно, — Анге улыбнулась.

— Но девушка-то погибла.

— Это несчастный случай. Видимо, оступилась и сорвалась. Не со скалы, с обрыва, скорее. С другой-то стороны там сносный подъем.

— Тело нашли?

— Нет. Клочок ткани зацепился за камень, когда она падала, да разорванную нитку бус выбросило на берег.

— Где это было?

Ответ ее не удивил.

— А призрака на дороге — люди встречали? — почти прошептала Маринка.

— Призрак белого пса, — медленно сказала Анге. Посмотрела на собеседницу — и кивнула.

На сей раз Кузнечик превзошел себя самого: в кипяток он накидал сосновых игл, а после всыпал полную горсть чайной заварки. Ершился, доказывал, что чай с хвоей продлевает жизнь на добрый десяток лет. Маринка с Олегом вежливо отказались пробовать его пойло.

Маринка все не могла выбросить из головы разговор с Анге. Ей представлялась неведомая девушка. Наверное, симпатичная, скорее всего светловолосая. Здесь, на севере, у многих женщин светлые волосы.

— Красивая бы вышла легенда, — заявил Кузнечик. — Надо поставить памятник на скале — девушка и пес! Вот была бы для туристов приманка!

— Дурак ты, что ли?

— А чего? — Он возмущенно привстал. — Не знаешь, как люди валом валят в места, где что-нибудь эдакое произошло? Да вся мировая литература — о том, как кто-то красиво умер! Ну, половина… Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта, Принц и Русалочка. А истории разных замков? Это уже не личные драмы, это — культурное достояние!

— Все же дурак, — вздохнул Олег.

Кузнечик надулся.

— Ребята, сказки, конечно, сказками, только собаку-то видят. И машины бьются.

— Его хозяйка здесь погибла. Этого он не может простить? — предположил Кузнечик, вновь преисполнившийся азарта.

— Похоже на то.

Олег потер лоб.

— Мы ненормальные. Обсуждаем привидений на полном серьезе.

— Хорошенькое привидение, машина с ним едва не столкнулась!

— Так не столкнулась же. Удара не было!

— А отчего остальные машины слетали с дороги? Там туша — килограммов семьдесят.

— Думаешь, от удара? Или все-таки не справлялись с управлением?

— Кто его знает. Но ты сам статистику видел. Как раз по годам подходит.

— А если старик наврал? Выдумал байку о призраке, а вы ухи

развесили! — ухмыльнулся Кузнечик.

— И Анге?

— А почему нет? Он на нее и навел…

— Надо поспрашивать других местных. Эти — как партизаны…

— А если у них круговая порука? Туристов за нос водить? Одним — одно рассказали, другим — другое.

— Там видно будет. — Олег поднялся.

Два следующих дня они старательно расспрашивали здешних жителей. Особенно усердствовали Маринка и Кузнечик, Олег же чувствовал себя полным кретином.

— Итак, подведем итоги. — Вечером, после ужина, Кузнечик разложил на столе записи. — Четверо у меня, трое у Маринки, у Олега один. И один сомневается. С разных сторон острова. Не самый плохой улов… говорят все одно и то же. Белый, очень большой пес, и видят его только водители. И не только ночью.

— Похоже, собака в самом деле погибла под колесами, — грустно сказала Маринка.

— Вот что неясно, — вмешался Олег. — Допустим, мы не сошли с ума. Есть одна мелочь. Пес бежал наперерез, ровно через дорогу. И кажется, очень быстро. Куда он бежал? Вверх по склону? Там заросли и камни! С чего нормальная собака понесется на гору как ненормальная?

— Нехило загнул. Может, и впрямь бешеная?

— Вспомни, что говорила Анге! Сам ты бешеный. — Маринке стало обидно за неведомого пса.

За домиком повара девушка обнаружила сооружение, похожее на собачью будку, но с отверстием в крыше. Со стены будки свисал бронзовый колокольчик, позеленевший от времени.

— Это от прежнего владельца осталось, — сообщил повар. — Чудной был мужик. Сгинул невесть где.

— Чудной?

— Полоумный. Ходил, сам с собой бормотал, иногда озирался, будто кто за ним следует, иногда палку возьмет — и давай отмахиваться невесть от кого. Кричать начинал. Но если под руку не лезть, никого не обижал вроде.

— А он куда делся?

— Сгинул, похоже. — Старик выдохнул плотный клуб дыма. — Ушел и не вернулся. Он порой пропадал на несколько дней, только являлся домой рано или поздно. А в тот раз — с концами. Вроде башмак его нашли на скале, может, полез и сорвался.

— На какой скале?

— Там, — махнул рукой повар. — Недалеко от места, где вы пса повстречали.

— А когда он пропал? — замерев, спросила Маринка.

— Помнить бы… лет десять точно прошло, а то и больше. В наши-то годы время летит, а не тянется…

В полицейский участок Маринка ворвалась, будто за ней гнался табун маньяков. На ее счастье, блюститель порядка был тот же самый — не пришлось улыбаться и говорить о погоде, налаживая взаимное понимание.

— Скажите, та девушка, упавшая со скалы четырнадцать лет назад… Это ведь был несчастный случай?

— Видимо, так.

— Когда? Зимой, весной, летом?

— В начале лета, кажется… — Он долго рылся в записях, наконец утвердительно мотнул головой: — В июне.

— А человек, которого звали… — Маринка порылась в сумке и положила на стол перед полицейским записку: — Вот так.

— Вроде был такой, припоминаю. Местный сумасшедший или типа того.

— Когда его в последний раз видели?

— Да кто ж тебе это скажет, девушка? У него, помнится, старшая сестрица была. К ней бы вам съездить. Она брата и не искала… сразу переехала в другую часть острова, только уверились, что он не вернется. Адресок… сейчас.

Маринка ожидала увидеть женщину средних лет со странностями, немного смахивающую на ведьму. Но высокая старуха с волосами, в которых почти не было седых нитей, больше походила на прокурора — настолько суровый был у нее взгляд и гордая осанка.

— Брат мой пропал четырнадцать лет назад. Говорить я о нем не собираюсь, понятно? Крови он мне довольно попортил. Вечно ему враги мерещились, раз меня порывался убить. Довольно с меня, помнить не хочу. Всю молодость мою испоганил…

— Чем? — испуганно спросила Маринка. В присутствии этой старухи хотелось стоять навытяжку.

— На твоих бы женихов — с палкой! А я красивая была… Говорили, мухи он не обидит, — как же! Когда мозги набекрень вставали совсем, лучше не стоять на пути… Все, ступайте, некогда мне. — Женщина повернулась к ним спиной.

— Скажите только месяц, когда его последний раз видели.

Старуха бросила небрежно:

— Июнь.

Олег задумчиво разглядывал верхушки сосен. Вниз смотреть не хотелось: высота была метров сорок, если не больше, и волны внизу пенились, кружась водоворотами среди камней.

— Думаешь, это он скинул девушку?

— Может быть.

— А сам куда делся?

— Ну, со скалы прыгнул — испугался, чего натворил. А может, просто сорвался, полез куда не стоило.

— Ага. Он же того… двинутый был. Надо в полиции рассказать, — предложил Кузнечик.

— Надо. Пусть разбираются.

— Вряд ли кто станет. Дело давно закрыто. Вообще неизвестно, жива ли ее семья.

— Хоть имена ее родных выяснить, написать…

— Зачем снова? Больно же будет. Они свое пережили…

— Ты не понимаешь, Маринка. Если это убийство, о нем должны знать.

— Экий ты… Убийцы все равно нет в живых. И он, между прочим, тоже упал со скалы.

— Равновесие, — пробормотал Кузнечик. — А пес продолжает мстить людям.

Маринка вскочила, дернувшись, будто ее шишкой по голове ударило.

— Да какие же вы! Это никакая не месть, — выдохнула, сжав руки. — Понимаете, он четырнадцать лет слышит зов. Днем и ночью. Отчаянный голос хозяйки. И бежит на помощь, не видя вокруг ничего. Под колеса. Это не месть, это любовь, понимаете?

Олег и Кузнечик не отозвались, лишь переглянулись. Потом Кузнечик озадаченно присвистнул, поднял камешек и запустил его с обрыва.

Катер опоздал, и почти стемнело.

— Доберемся, тут недалеко, — улыбнулся усатый капитан судна. — Темно, светло — мореходу опытному без разницы.

Уезжать не хотелось: всего месяц прошел, а будто много-много месяцев прожили, каждая травинка родная.

— Грустно как-то, — сказал Кузнечик. — Я даже поверил в это все. Будто видел их, что ли. Сам. Но все бессмысленно. Приехали, придумали себе сказку… И кому от этого толк?

— Я всего лишь человек, — сказала Маринка. — Мы все… человеки. Не больше. Но может, если подтвердится вся эта история, пес добежит?

— Куда? Добежит и прыгнет с обрыва? И как расследовать, даже если полиция нам поверит, — тела-то за четырнадцать лет превратились в морскую воду.

— Не знаю, — сникла Маринка. — Но вдруг? Что же, он так и будет всегда кидаться на зов и погибать под колесами? Это нечестно!

— Жизнь вообще штука нечестная. Погибшая девушка могла бы тебе рассказать.

Катер покачивался на слабых волнах, отходя дальше и дальше. Обогнул остров — и пошел мимо скалы, на которую когда-то пытался успеть белый пес.

Луна ярко высветила вершину. Всем троим показалось на миг, что над обрывом возникли два силуэта — женщины и собаки. Женская фигура помахала рукой.

Чай с имбирем и перцем

На три ложки черного чая — пол-литра воды, имбирь и перец в количестве разумном, чтобы в огнедышащего дракона не превратиться.

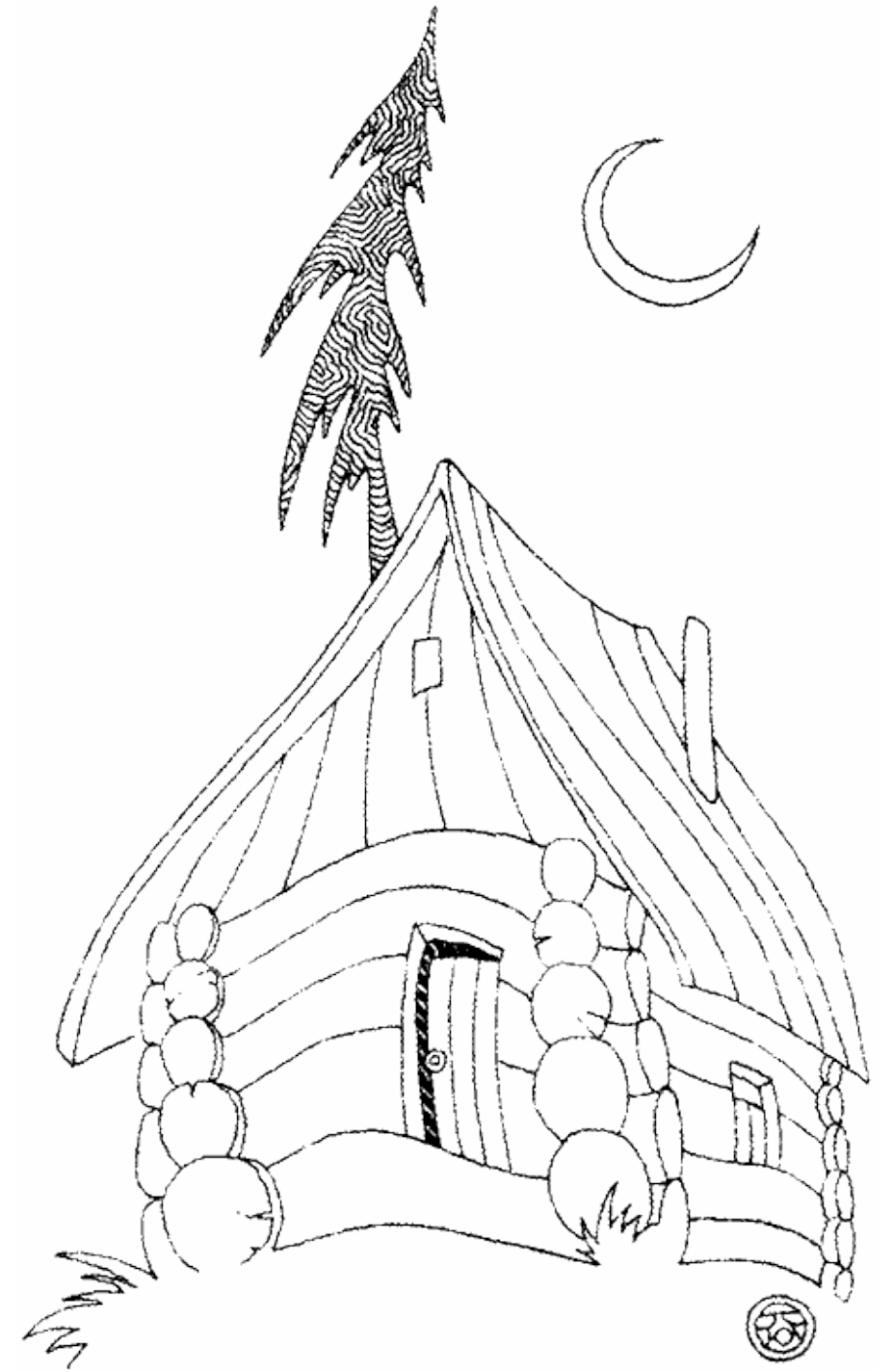
В разогретый заварник высыпать сухой черный чай. В кипящую воду всыпать имбирь и перец черный, размешать и водой имбирно-перечной залить чай в заварнике.

И оставить его в покое — пусть настаивается минут пять, а то и все десять.

Пить можно просто так или смешав с молоком, а то вкус резковат.

Приятного дня или вечера!

Алексей Толкачев



Бабушкина мята

Кружку Никита нашел прямо на столе. Это удачно вышло. Стояла там, посудинка кособокая, словно прямо с этим столом и выросла. А впрочем, как же иначе? И еще повезло: в печке котелок чугунный оказался. Дров, правда, у бабушки не нашлось, но это не беда. Вокруг со всех сторон лес. Далеко от избушки не отойдешь, да далеко и не требуется. Всего-то надо хворосту немного набрать, чтобы воду в котелке вскипятить. А зато какие заросли мяты у бабушки на заднем дворе! Да какая душистая! Нигде Никита не встречал такой мяты, как тут, у бабушки. Очень Никита уважал чаек с мятой. Но чая у бабушки, разумеется, не было. Кабы знал Никита, что здесь окажется, непременно захватил бы с собой узелочек с заваркой. Но кто ж мог знать! Впрочем, из одной только мяты тоже очень даже неплохой горячий напиток получился. Никита потягивал его мелкими глоточками и глядел в окно. Ни стульев, ни лавок в избушке не было, но тут как раз кстати пришелся ящик, который Никита притащил с собой. Он послужил вполне сносной заменой стулу, так что чаепитие, можно сказать, проходило с комфортом.

За окном темнел синий лес. В вечерних сумерках он выглядел таким таинственным, таким волшебным! Казалось, стоит лишь войти в этот лес — и тут же попадешь в сказку. Встретишь говорящих зверей, лешего, увидишь ходячие деревья, найдешь цветок папоротника и разрыв-траву… Наверху чем-то гремела бабушка, но Никита весь унесся мечтами в сказку и ни на что внимания не обращал. Представлялось ему, что где-то в лесной чаще он встретит бродячих скоморохов. А может, и разбойников. Может, даже не благородных (сказке ведь никак не обойтись без опасных приключений). Но все же разбойники будут не очень уж злые, и он с ними подружится. От них он узнает какую-нибудь жутко интересную тайну… И конечно, окажется, что лесная птица, живущая в ветвях над разбойничьим шалашом, — это на самом деле заколдованная красавица. И он найдет способ ее расколдовать, и у них будет любовь…

Эх, до чего же жаль, что сказки — это только сказки! А реальность прозаична и сурова… Грохот на крыше стал еще громче. А потом наступила тишина, и за оконным стеклом стала появляться бабушка. Она стекала с крыши вниз по окну и по стене тремя густыми ручейками. Это была еще очень молодая бабушка, скорее всего она еще даже не умела летать. А уж напасть на человека она не могла однозначно. Но она уже понимала, что в ее ловушку попался человек и что ей нужны его кости. А барьер создавать эти твари способны, похоже, с самого рождения. Во

всяком случае, эта бабушка барьер поставила, будьте благонадежны! Никита уже трижды обходил вокруг избушки, пробовал в разных местах — никаких шансов. По всему кругу примерно по кромке леса проходит упругая прозрачная стена. Глаза ее не видят, а пройти невозможно. То есть наружу, в лес, невозможно. А из леса сюда — милости просим. Вот Никита, дурень, и прошел. И сидит теперь тут. Так и кормятся молодые бабушки, которые еще без костей. То зверь какой забредет, то птица залетит. Обратно в лес выбраться не может, умирает от голода и становится бабушкиной добычей. Правда, говорят, птицы и звери редко приближаются к бабушкиным избушкам. Чутье у них какое-то есть природное. Людей же бог таким чутьем не наградил. А именно людские кости и нужны бабушкам больше всего.

Нет, Никита все по правилам делал, технику безопасности соблюдал. Выйдя к избушке, сразу не полез, обошел сзади, сказал, как положено: «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом». Никакой реакции. Стало быть, это не избушка на курьих ножках, а нормальный домик лесника. Тогда Никита и вошел. Да не из пустого любопытства, а просто ночь надвигалась. В доме-то куда лучше ночевать, чем в лесу под открытым небом. А вдруг дождь? У него, конечно, был с собой ящик, но в ящике спать тоже как-то неуютно. Как покойник во гробе… А лишь вошел Никита в дом, так сразу все и понял, да путь назад уже был отрезан. И ведь что оказалось: избушка яйца высиживает! А они, когда наседки, с места не встают и передом-задом не крутят. Вот так и обманулся Никита…

Нет, ну надо же какое злосчастье! Ведь уже, считай, полвека никто избушек с бабушками в здешних лесах не видел! Считалось, что все они уничтожены. Да и откуда бы им взяться, если ящеров и подавно всех давным-давно перебили. Оно ведь как в природе устроено: избушка время от времени сносит яйца, но яйца эти — диетические, из них никто не вылупляется, хоть избушка их и высиживает по велению инстинкта. А вот если эту избушку ящер потоптал — тогда из яиц появятся детеныши. Которые мужского полу — ящеры, которые женского — избушки. Сначала маленькие, потом постепенно вырастают, внутри у каждой какая-то утварь формируется: печка, мебель, посуда. Генетический интерьер. И обязательно — ступа, а в ступе, в свою очередь, зарождается бабушка. Они, бабушки эти, когда покрепче становятся и обретают возможность подниматься в воздух, часто прямо в этих ступах и летают. Говорят, старые избушки вообще практически невозможно отличить от нормального человеческого жилья: у них и занавески на окнах вырастают, и картинки на

стенах, и даже, бывает, игрушки детские на полу возникают. А бабушка, пока костей не нахватала, пребывает в состоянии студня. И может так жить очень-очень долго. Ставит вокруг избушки невидимый барьер, поджидает добычу. И когда рано или поздно удается ей поживиться костями, она из них начинает строить свой скелет. Вот тогда она уже превращается в реально опасного хищника. Костяные бабушки уже не в избушках добычу ждут — они ночами над лесом рыщут и нападают на все живое. С матерой костяной бабушкой ни орел справиться не может, ни медведь. Прилетают и к человеческому жилью, люди для них — добыча самая лакомая.

Полвека назад страшные дела творились! Чуть ли не каждую ночь все окрестные деревни бабушки штурмовали. Сколько народу похватали — вспомнить страшно! А уж о домашнем скоте и говорить нечего. Что делать? Мобилизовались мужики, стали днями лес прочесывать. В дневное время бабушки слабее, летать почти не могут, и с ними справиться можно, если вчетвером-впятером навалиться с вилами да с дубинами и все кости переломать. Только потом обязательно останки сжечь надо, а то через несколько дней снова все срастется и тварь оживет. Ради той карательной операции мужики даже прикупили на городской ярмарке двойе-изларца — штуку редкую и очень дорогую. Денег немалых это дело стоило, всем миром скидывались, кому, чтобы взнос сделать, пришлось корову свою продать, кому коня. Жаль до слез, но тоже и понимали люди: если с бабушками не покончить, все одно — скотину утащат рано или поздно. А двойе-изларца — это создание непобедимое! Ему что ни прикажешь — все сделает. Работу ли какую исполнить, поколотить ли кого, разыскать ли что-нибудь — всегда пожалуйста. Любой приказ выполнит, потом говорит: «Албибек!» — и в ящик ложится. И после того ему необходимо несколько часов в темном ящике полежать, отдохнуть, подзарядиться — это непременное условие. Что за создание это двойе-изларца — загадка природы. Вроде выглядит как человек, но не человек. И вообще скорее всего не живое существо. На ощупь — холодное. Но и не машина, потому как слова понимает и само разговаривает. (Да что там, мало ль у природы чудес! Двойе-изларца — это еще что, а вот, говорят, на крайнем юге, там, где только песок и никакой растительности, живут звери типа лошадей, только с двумя горбами, и могут эти звери месяц не есть и не пить. Вот это уж чудо так чудо, хотя, конечно, скорее всего неправда.) А этих двойе-изларца в здешних местах всех уже почти переловили и на службу людям определили. Дикие еще встречаются, но крайне редко. Вот удача-то тому, кто ничейного двойе-изларца встретит! Поймать его, как

рассказывают, не сложно. Надо лишь ящик иметь достаточного размера. Показываешь ему ящик и даешь какой-нибудь приказ, не важно, абы какой. Двойе-изларца приказ исполняет, произносит: «Албибек!» — и ложится в ящик. Все, он твой!

Так вот, значит, купили мужики двойе-изларца. Ему бабушку убить — раз плюнуть. В одиночку, безо всякой помощи. Недели две мужицкое воинство прочесывало леса. А избушек с бабушками нигде нет! Что за чертовщина? Откуда ж они каждую ночь к деревням слетаются в таких количествах?! Но однажды наткнулся один из крестьянских карательных отрядов на такое… Волосы дыбом встали у мужиков! Это было целое бабушкино гнездо! Не избушка, а дом каменный! О пяти этажах! И на каждом этаже по двадцать комнат! И почти в каждой — бабушка! От совсем юных, медузообразных, до самых матерых, твердых, таких, что костей больше, чем у ерша! Разве спасет тут дело двойе-изларца? Куда там! Ему ж после ликвидации каждой бабушки в ящике отдыхать надо. Максимум двоих за день успеет ликвидировать, а там и стемнеет… Пришлось народному ополчению своими силами за бабушек приниматься. Несколько дней бойня продолжалась. Да и ночей тоже: бабушки ответные визиты в деревни совершали! Немало народу полегло. Но справились. Победили. Извели тварей. Здание потом подожгли. Там внутри было чему гореть: занавески, полы паркетные, тряпки всякие. Деревянные перекрытия. А потом развалили, разнесли по кирпичикам. Что называется, камня на камне не оставили. Так и лежат сейчас на той поляне эти черные обгорелые кирпичи. Долгие годы после того регулярно туда с проверкой являлись: не зарождается ли проклятая жизнь на этих кирпичах? Не зарождалась… А про дом этот каких только баек старики-очевидцы не рассказывают! Говорят, куриные его ноги уходили глубоко в землю, и когда эта каменная пятиэтажная избушка хотя бы чуть-чуть шевелилась, все вокруг тряслось и лес ходил ходуном! А в комнатах — каких только не было диковинных и непонятных вещей! А над входом, говорят, вывеска красовалась: «Общежитие ткацкой фабрики имени Калинина». Из какого яйца вылупилась этакая громадина? Какая мать-несушка снесла его? И что за исполинский ящер послужил отцом? Вроде в этих-то лесах таких гигантских чудовищ не водится…

Так вот, с тех самых пор никто больше не видел бабушек в здешних краях. Люди стали ходить в лес без опаски. По грибы, по ягоды, на охоту. Ну а Никита в этот раз пошел ловить двойе-изларца. Над такими ловцами в народе смеялись еще больше, чем над кладоискателями, — настолько редкое это явление, дикие двойе-изларца. Никита и сам мало верил в успех своей вылазки.

Однако ж на прошлой неделе, когда он тут неподалеку ставил силки на зайцев, попался ему на глаза след… Отпечатки ботинок изрядного размера с характерным рисунком на подошве… Оно, конечно, мало ли что. Может, богач какой-нибудь ходил тут по каким-то неведомым делам со своим двойе-изларца. Только второго, человеческого, следа рядом не просматривалось. Да и владельцев двойе-изларца среди местного населения не было. Ну, в конце концов, кто-то мог просто где-то раздобыть или сделать себе ботинки с такой подошвой… Да все что угодно могло быть. Однако, однако… В общем, сколотил Никита ящик надлежащего размера и поперся с ним в лес. Ходил, бродил, замучился таскать этот чертов ящик, никаких таких следов нигде не встретил, проклял уже свою идиотскую идею, понял, что надо домой возвращаться, да далеко ушел. Солнце начало клониться к закату, и по всему выходило, что лучше заночевать в лесу, а уж завтра с утра — домой. И тут эта избушка!

Сзади послышался скрип дверных петель. Никита обернулся. Слегка приоткрыв дверь, через образовавшуюся щель в комнату вползала бабушка. Вот мерзкое существо! И ведь не убьешь ее никак, пока она в таком состоянии, без костей! Хоть ты ножом ее раздели на части — они снова вместе сползутся и сольются, как ни в чем не бывало. И в огне она не горит, пока живая и бескостная. Не берет ее, такую, огонь. Студенистое тело потихоньку направилось в сторону своей ступы. Ей торопиться некуда. Полежит, отдохнет, подождет несколько дней, а когда Никита от голода сознание потеряет, тут она на него и налезет… В комнате стоял душистый аромат мяты. В котелке была вода, в печке тлели угольки, на полу лежало еще достаточно хвороста. Но пить варево из мяты без чая больше не хотелось. И как Никита ни бодрился, в душу медленно, но верно вползал липкий ужас.

И тут за окном произошло какое-то движение. Что это там? Шевельнулся куст малины, росший неподалеку от избушки, но уже за пределами зоны, опоясанной бабушкиным барьером. Медведь, что ли, лакомится? Шел бы ты, Михайло Потапыч, подальше отсюда. А то не ровен час и тобой кое-кто тут полакомится. Но что это?! Не может быть… Никита боялся поверить своим глазам, но меж малиновых веток в лучах заходящего солнца явно блеснули темные очки! Никита вскочил и поволок ящик во двор. У двери чуть не упал, поскользнувшись на «хвосте» бабушки, еще не успевшем заползти в ступу. Во дворе поставил ящик на попа, замахал руками, закричал… Ветви раздвинулись, и во всей своей красе перед Никитой предстал двойе-изларца! От волнения Никита на какие-то мгновения лишился дара речи. Он постучал рукой по ящику… Перевел

дыхание… И наконец выкрикнул кодовую фразу:

— Эй, двойе-изларца! Оди-на! Ковых-слица!

У двойе-изларца своя особая манера двигаться, странная, на первый взгляд, неуклюжая пластика. Когда двойе-изларца поворачивается, голова его совсем не движется вокруг шеи, и поворот он делает всем своим могучим корпусом. Мужественное лицо, словно высеченное из камня. Непроницаемые черные очки.

— Убей бабушку! — крикнул Никита. Двойе-изларца медленно двинулся в сторону избушки.

Приблизившись к ступе, он вытянул вперед правую руку. Кисть руки словно расплавилась, превратившись в жидкий металл, который, казалось, вот-вот закапает на пол. Но вместо этого рука стала постепенно принимать форму штыка, длинного и острого. Штык все вытягивался, вытягивался вперед и наконец вонзился в студенистое тело бабушки, плескавшееся в ступе. Послышалось пронзительное шипение, повалил едкий фиолетовый дым. Через несколько минут все было кончено. Бабушка просто испарилась.

— Албибек! — сказал двойе-изларца и направился к ящику.

А Никита на дрожащих ногах пошел от избушки к лесу.

Сзади послышался грохот падающего ящика. Двойе-изларца укладывался на заслуженный отдых.

Невидимый барьер вокруг избушки исчез! Свобода!

И тут только Никита позволил себе осознать, как ему было все это время страшно!

Позже, лежа на спине прямо на дворе избушки и глядя в ночное небо, он прикидывал планы на ближайшее будущее. Завтра с утра двойе-изларца отнесет его (и ящик свой тоже, разумеется) в деревню. Там у него будет очередной «албибек». А Никита тем временем расскажет мужикам о своих находках. Потом они снарядят экспедицию, вернутся к этой избушке, сожгут ее и выкопают из земли все избушечьи яйца. За эти яйца они выручат кучу денег! Ведь известно, что их скорлупа надежно защищает от радиации, поэтому из них делают доспехи, в которых можно ходить в Пораженные земли.

А еще надо будет нарвать побольше этой мяты. Чай с мятой Никита о-о-очень уважает, а такой душистой мяты, как у этой бабушки, он нигде не встречал!

Чай с мятой, а может, и не с мятой

Дача. Ночь. Хочется выпить чайку, причем с мятой. А мята в огороде растет.

И не только мята, там и мелисса лимонная, и котовник. А еще рядом — смородина, ее тоже в чай хорошо.

Только темно на улице. Не видно, где что растет. Ну так что же!

Ведь замечательная игра — пойти сорвать что-нибудь в темноте, а там уж как повезет.

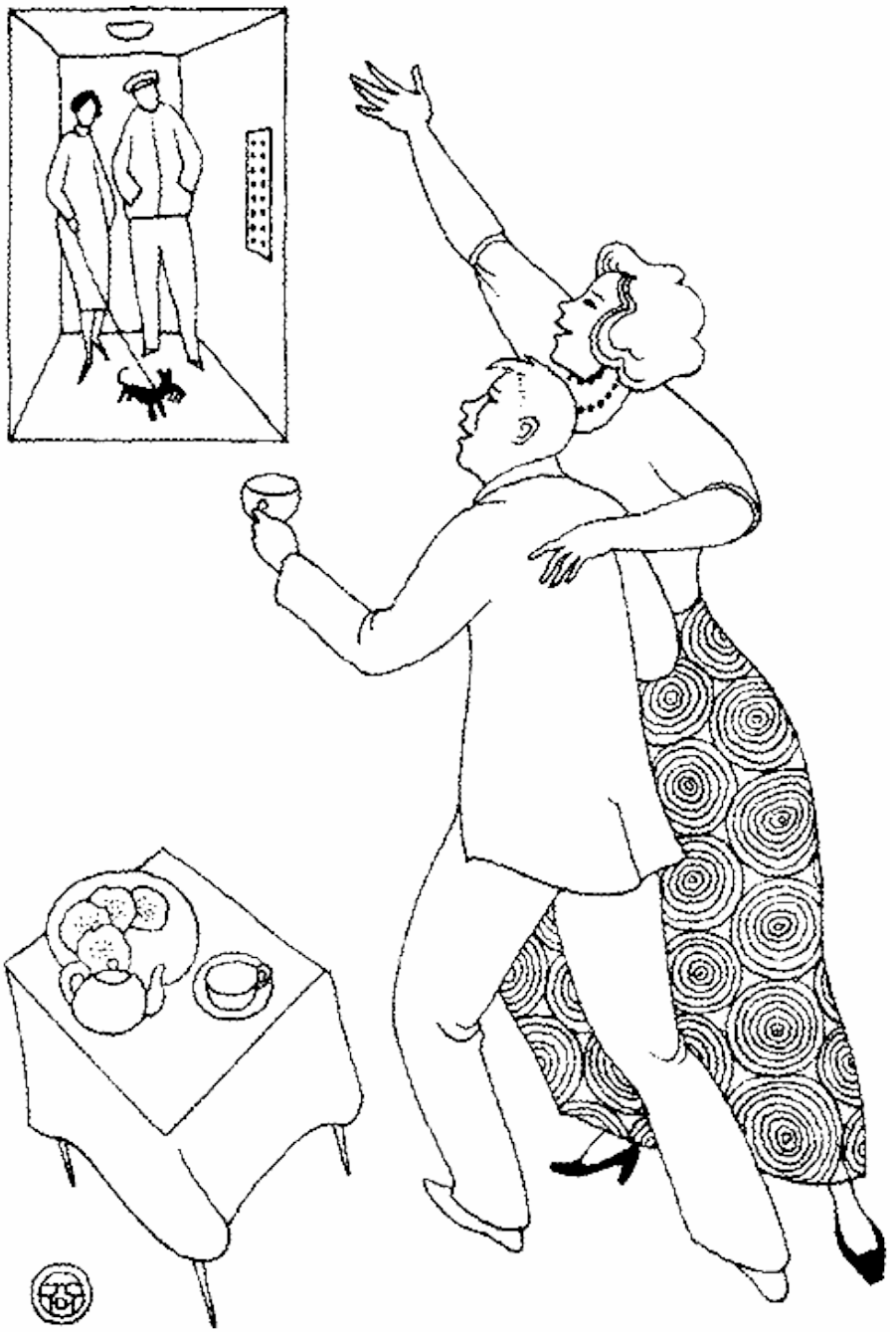
Может, это мята окажется, а может, и не мята.

Только надо сорванные листики в чай не глядя кидать, чтобы все по-честному. Игра так игра!

Это как в «Гарри Поттере» конфетки такие были — никогда не знаешь, с каким вкусом попадется. Бывает, что и с каким-нибудь гадким.

Вот и тут: завариваешь листья кипяточком, думаешь, мята, а оказывается — просто какой-то сорняк! Хотя, если подумать, мята — это тоже сорняк.

Нина Хеймец



В нарды удалось немного отыграться, но с шашками не везло совершенно. И в «дурака»: из пяти конов только один удачный. И в шахматы у него выиграть тоже никак не получалось. Он умел так: движутся фигуры, наступают размеренно, даже скучновато как-то. И вдруг пешка — где-нибудь на краю доски оживает, будто ей тоже скучно стало, и всю игру перекашивает, и всё, и подловил он. Долг продолжал расти, ежедневно.

А началось все почти случайно. Я зашла к Димке в гости. Мы пили чай с пирогом, который его мама испекла. А потом стали играть в карты. Нам быстро надоело, и тут Димка сказал, что это все вообще несерьезно, и что нормальные люди играют на деньги, и что так гораздо интереснее. Мы попробовали играть на деньги, и я стала проигрывать. С каждой новой игрой я надеялась исправить положение и становилась должна Димке все больше и больше. Пятьдесят копеек, рубль, пять рублей и, наконец, в тот чертов день, — двадцать пять. Двадцать пять рублей. Немыслимая сумма.

— Знаешь, я, наверное, куплю себе удочку, — говорил Димка, — спиннинг. С катушкой. Буду ходить на речку в Измайловский парк, на рыбалку.

«Где же взять эти деньги, — думала я, — где же мне их взять? Столько мне никогда не скопить. Можно, конечно, отдать Димке мои марки — шесть самых любимых, цветных, с локомотивами. И ту, особенную, выцветшую — с солдатом в пилотке и датой: 1942. Но я останусь должна столько, что это все равно ничего не решит».

— Не нужен мне этот спиннинг, — решал он спустя пару дней, — сдалась мне эта речка, тащиться туда. Я, пожалуй, подожду, пока ты мне еще проиграешь, и куплю себе велик, складной. Очень удобно. Приехал, сложил его, и места он не занимает. А? Что ты на это скажешь?

«Что же мне делать? — думала я. — Что же мне предпринять?»

В тот вечер мы пошли на крышу. Димка ее нашел.

— Я знаю тут классное место, — сказал он, — туда никто не ходит.

Через дорогу от нашего двора начинался квартал, который строили пленные немцы. Его так и называли: Немецкий городок. Но красные двухэтажные домики начали сносить, а образовавшиеся пустыри застраивали панельными домами — в шестнадцать этажей и в восемнадцать. Мы вошли в лифт. Он был новеньким, пах клеем и пластиком. На стенке висело зеркало. Я

смотрела на наше отражение. Димка был на год старше меня, но ниже меня ростом. Его тринадцати ему никто никогда не давал. Никто не верил, что он уже в седьмом классе.

— Там должно быть открыто, — сказал Димка.

Лифт поднялся на последний, восемнадцатый, этаж и остановился. Мы поднялись по лестнице. Дверь была широкой, обшитой металлом. Мы навалились на нее, она тяжело поддалась, даже не заскрипев на смазанных петлях, и мы оказались на крыше. Уже почти стемнело, и на трубах химзавода, в трех кварталах от нас, зажглись красные огоньки. Дом обступали шестнадцатиэтажки, почти во всех окнах горел свет. Но здесь, на крыше, у взгляда была свобода выбора. Можно было не замечать их, метнуться, выскользнуть из светящихся решеток, перескочить подступающую с востока туманную громаду Кусковского парка — лишь секунду задержаться над ней, не узнавая тот парк, где однажды, много лет назад, мы с бабушкой увидели двух лосей и где белки, если присесть на корточки и замереть, сдерживаться, не шелохнуться, подбегали к раскрытой ладони, хватали цепкими лапками сырой от впитавшегося пота орешек и, отскочив в сторону, на безопасное расстояние, закапывали добычу в прелые листья. «Они готовятся к зиме», — объясняла мне бабушка. За парком, за крышами многоэтажек светились огоньки — красные, белые, голубоватые. Сигнальные огни высотных зданий, прожектора, окна далеких домов, фонари — взгляд метался от одной мерцающей точки к другой, не в силах выбрать направление, задержаться, сфокусироваться. Так лилипуты, накинув на Гулливера тысячи ниточек, лишили его возможности спастись бегством.

— Смотри, как здорово! — сказал Димка. И вдруг, разбежавшись, прыгнул на опоясывающую крышу бетонную ограду. — Что ты там застыла? Иди сюда! — Он взмахнул руками и, неловко изогнувшись, прыгнул назад, спиной по направлению к центру крыши, оступился, упал и, тут же поднявшись на ноги, снова вскочил на бортик. И — спрыгнул на крышу. Потом опять — на бортик. Как будто кто-то прокручивал взад-вперед один и тот же кадр.

— Что ты делаешь? — закричала я ему. — Пожалуйста, слезь оттуда! Не надо!

Но Димка, казалось, не слышал меня. Он продолжал прыгать.

Я подошла к краю крыши и легла животом на ограду. Она была мне по пояс. В ширину — примерно метр. Ткань свитера легко пропустила исходившую от бетона прохладу. Я подтянулась к краю ограды. Падающее тело еще продолжало бы бессмысленно сопротивляться, а взгляд, даже не попытавшись за что-нибудь

уцепиться — ни за окна, ни за провода, ни за ветки, — устремился вниз, в открывшуюся шахту, и выхватил внизу, на самом ее дне, точно под нами, пятачок — козырек подъезда, поворот тротуара, припаркованный грузовик.

— Взлетаааая! Выше ееели! — орал Димка — Не вееедая преград! Блин, как они делают это свое сальто?

Я сползла на крышу, села, прислонившись спиной к ограде. Высота перестала ощущаться. Передо мной была знакомая железная дверь. Даже ветер не чувствовался, если сидеть так.

— Давай уйдем отсюда, прошу тебя. — Говорить громко не было сил, но Димка вдруг услышал меня и остановился.

— А что уйдем-то? — сказал он. — Мы же даже еще не покурили. Зачем пришли, спрашивается?

Он спрыгнул с ограды, сел напротив меня, достал из кармана ветровки пачку «Явы» и протянул мне сигарету.

— А сколько у тебя за раз колечек выдохнуть получается? — спросил Димка.

— Ни одного, — ответила я. Мне было все равно, что он сейчас скажет.

Но Димка не отреагировал. Он следил за своими колечками. Они постепенно теряли форму и растворялись в вечернем воздухе.

— Понял! — Димка повернулся ко мне. — Я понял, что я хочу купить! Футбольный мяч! Адидасовский, белый, как у Толяна!

Белый мяч! Ну конечно. Странно, что это только сейчас пришло Димке в голову. Толян жил в соседнем дворе. Пару раз в неделю он выходил из дома со своим мячом. Сокровищем. Толян определял, кто будет нападающим, а кто проскучает всю игру на воротах. Без такого мяча фиг бы кто стал его слушать. Чей мяч, тот и решает.

— Футбольный мяч должен быть белым! Понимаешь? В нашем классе один чувак как раз такой продает. Ему отец из загранки привез. Ты отдашь мне деньги, и я сразу же и куплю. Толян упадет, когда увидит. Представляешь? И там еще останется — так я вратарские перчатки куплю и насос. В «Спорттоварах»!

«Это никогда не кончится, — подумала я, — я никогда не выпутаюсь из этой ситуации».

Все решилось назавтра.

Было субботнее утро. Я шла по школьному двору и увидела Димку. Он сидел на траве, а рядом, на баскетбольной площадке, стояли два подростка. Они были старше нас и очень друг на друга похожи. В руках у одного из них был мяч. Тот самый. Белый футбольный мяч.

— А где Толян? — спросила я Димку.

— А он тут ни при чем. Это к тете Вере из второго подъезда племянники приехали. Они в каком-то другом городе живут. Завтра утром уезжают. А мяч — их.

— Эй, мелкие, — позвал нас один из братьев, тот, что постарше, — в «колечко» будете играть?

— Будем! — обрадовался Димка.

Я тоже была не против. В «колечко» у меня как раз неплохо получалось. Игра была простой — нужно было забросить мяч в баскетбольное кольцо, на щите. Сетки на нем давно уже не было. Попадаешь из круга перед щитом — одно очко, из круга в центре поля — пять очков. Еще можно было попробовать попасть из дальнего круга, того, что перед противоположным щитом. Так можно было получить сразу десять очков. Но это редко кому удавалось.

Мы вышли на площадку. И Толян вдруг тоже откуда ни возьмись появился. И еще какие-то подростки. Нас было уже человек семь. Мы начали игру. Старший из братьев кидал первым.

— Кстати, — он обернулся к нам, — мы на пингвина играем. Это ничего? — Он посмотрел на брата. Тот подмигнул ему, и они засмеялись.

— А что значит «на пингвина»? — спросила я.

— То и значит. Вот ты проигрываешь, правильно? Берешь так мячик, аккуратненько. Зажимаешь его коленями и идешь себе вокруг площадки, по всему периметру. А пока ты идешь, еще говорить нужно: «Я пингвин. Несу яйцо. Я пингвин. Несу яйцо». Ну что, играешь? Или слабо тебе? — Братья опять переглянулись.

Это было лишне. Унизительно. Нечестно. И я уже заранее знала, как эта игра закончится. Надо было выйти из нее, выйти, пока не поздно.

— Не слабо, — сказала я.

Димка тоже остался. И Толян — ему броски из центра обычно очень хорошо удавались. А двое мальчиков, которые перед игрой к нам присоединились, — ушли.

Мой первый бросок был мимо. И второй — тоже. У меня дрожали руки. Не получалось правильно бросить мяч — от поясницы, чтобы он летел, продолжая траекторию движения руки, по ровной дуге, мимо непрозрачных от дневного света окон, в центр щита. У меня было меньше всех очков. Я проигрывала. Точно как тот, старший, сказал. Скоро это со мной произойдет. Совсем скоро. В конце игры.

— Кто же так играет?

Мы остановились. У края площадки стоял человек — средних лет, невысокий, полный, в кожаной куртке. На ремне у него висела связка ключей.

— Тоже мне спортсмены! С такого расстояния уже даже в детском саду не кидают. Сейчас я вам покажу настоящую игру. Кто тут на новенького? — Человек направился к нам. Он был нетрезв. Его пошатывало.

— Мы на «пингвина» играем, — сказал ему Толян, — кто проиграет, зажимает мяч коленями, идет так вокруг площадки и говорит…

— Меня твои пингвины не интересуют, — перебил его человек.

Он забрал у Толяна мяч и направился к противоположному щиту.

Бросок. Мяч отскочил от щита, не попав в кольцо.

— Ладно, с кем не бывает, — сказал он, — я издалека кидаю. Все равно больше вас всех очков наберу.

Во второй раз мяч полетел мимо щита. И в третий — тоже. И в четвертый. Человек уже не разговаривал с нами. Смотрел только на мяч у себя в руках. Провожал его взглядом, как будто стараясь довести до кольца, не дать ему свернуть в сторону. Мимо. Опять мимо.

Игра закончилась. Кто-то протянул ему мяч. Человек взял его неуверенно.

— Ребята, вы шутите, что ли?

— Это правила, дядя, — сказал ему старший из братьев, — правила одни на всех. Вы обещали.

Человек не спорил с ним. Он отошел от нас, встав на противоположном краю площадки. Стало тихо. Никто больше не произнес ни слова. Мяч выскользнул у него из рук и покатился по асфальту. Человек поднял его, с трудом удержав равновесие, и вернулся на край площадки.

В первые секунды никто не придал этому значения. Мало ли зачем Димке это понадобилось. Он вышел вперед и направился к человеку с мячом. Димка быстро шел по площадке, наискосок, по еще не прогретому солнцем, потрескавшемуся асфальту. Я смотрела ему в спину и вдруг представила себе, вдруг увидела, как он идет по этой же площадке, среди пятиэтажек, — а видишь, это наш балкон, на четвертом этаже, третий слева, видишь, стекло чуть треснуто. Это однажды птица об него ударилась, — как он идет там через двадцать лет и через тридцать. Такой же худой, и у него та же точно походка — спина чуть согнута, острые локти прижаты к бокам. И у него будет та же стрижка. Только

рыжеватые волосы поредеют на макушке.

Димка приблизился к человеку в кожаной куртке. Человек смотрел теперь на него. Это была его передышка. И тут Димка качнулся в сторону, сделал резкое движение рукой и, выбив у человека в куртке мяч, отскочил в угол площадки. Мяч теперь был у него в руках.

— Эй, ты чего вмешиваешься? — спохватился старший из братьев. — Ты что, самый умный? Шею тебе намылить?

Димка не ответил ему. Он взглянул куда-то в сторону, и мне показалось, даже издали, что я узнаю это его выражение лица — когда пешка вдруг оживает на краю шахматного поля и Димка смотрит так, как будто сам этому удивлен, как будто не верит, что это — его рук дело, что это у него так ловко вышло. И вдруг он сорвался с места, побежал от площадки, мимо школы, через газон, к гаражам.

— Эй, ты что? — заорал кто-то из братьев. — Вернись сейчас же! Вернись, кому говорят! Отдай мяч!

Они бросились за Димкой, скрылись за гаражами.

— Убежит, — сказал Толян, — бегать у него хорошо получается.

Я пришла к Димке вечером. Мы зашли в его комнату. На кровати лежал белый футбольный мяч.

— Они тебя потом искали, — сказала я.

— Ага, они даже сюда приходили. Думали, наверное, что я им дверь открою, «кто там?» спрошу. Они утром все равно уедут. А мяч у меня останется. Было ваше — стало наше.

— Я принесла тебе рубль, мне дед подарил, на марки. Возьми, в счет долга.

— Очень мне нужен твой рубль! — сказал Димка. — Ты бы мне еще три копейки принесла. У меня теперь мяч и так есть. Точно как я хотел. Белый, адидасовский, посмотри! И покупать ничего не нужно.

— А как же долг? — спросила я.

— Съешь свой долг, — ответил Димка, — проехали. Или, знаешь что, давай мне этот рубль. Завтра «Космос» куплю. Отпразднуем.

— А вратарские перчатки?

— А зачем они мне, — сказал Димка, — пусть теперь Толян на воротах стоит.

Димка взял с кровати мяч. Сдавил его руками, проверяя упругость. Провел пальцем по шву между белыми кожаными полосками.

— Хороший мячик, — сказал он, — завтра поиграем.

Песочный пирог с антоновскими яблоками к чаю

Тесто:
3 стакана муки
200 граммов несоленого сливочного масла
2/3 стакана сахара
2 яйца
Сода на кончике ножа
Щепотка соли

Начинка:
1 килограмм яблок (антоновка)
1/2 стакана сахара
2 столовые ложки коньяка
Корица по вкусу

Смешать муку с сахаром, добавить соду и соль, в образовавшуюся смесь положить нарезанное кубиками охлажденное сливочное масло. Растереть. Добавить яйца. Размешать. Размять руками. Получившуюся однородную массу завернуть в полиэтилен и положить в холодильник на 7 час.

Очистить яблоки, нарезать дольками, перемешать с сахаром и корицей. Добавить в начинку 1 столовую ложку коньяка. Перемешать. Вновь наполнить коньяком 1 столовую ложку и выпить ее.

Смазать разъемную форму сливочным маслом. Выкладывать тесто коржами, перемежая их начинкой. Верхний корж смазать белком.

Разогреть духовку до 180 градусов. Выпекать приблизительно 30 минут.

Оставить готовый пирог на кухонном столе и уйти на работу, велев детям выпить с ним чаю и немедленно садиться за уроки.

Бюро находок

Первым делом они выключали телефон.

«Себе позвоните!» — говорила Кира Анатольевна и выдергивала провод из розетки. От частых отключений розетка повредилась, какие-то контакты — тонкие медные проволочки, клеммы в прозрачном пластике — не срабатывали. В трубке

шуршало и пощелкивало, голоса собеседников различались с трудом.

Потом они заваривали чай. Александр Михайлович доставал из железного шкафчика подстаканники и кипятильник. Кира Анатольевна приносила с собой печенье, с фруктовой начинкой. Чай покупал Александр Михайлович. Не «Индийский», в желтой пачке со слоном, легкомысленный. А тот, который «№ 36». Грузинский. Александру Михайловичу нравилось, что вместо названия — номер. «Значит, существует чай „№ 35“, — думал он, — а где-то пьют чай „№ 1“». Во время чаепития они не разговаривали. Им нужно было сосредоточиться. Подготовиться. Они оба это чувствовали.

Началось все полгода назад, в июне, Александр Михайлович помнил дату. Был вечер, московский вечер после жаркого дня. Александр Михайлович собирался домой. Вот-вот должен был прийти сменщик. Александр Михайлович дремал на диванчике. У них был такой диванчик — жильцы с шестнадцатого этажа, когда переезжали, оставили его на улице, а они со сменщиком подобрали, и очень правильно сделали. В дверь постучали. «Наверное, кабина застряла между этажами. Теперь придется забираться на чердак, возиться с мотором». В дверь стучали все требовательнее.

— Иду! Иду! — крикнул Александр Михайлович. Он распахнул дверь. На пороге стояла женщина лет пятидесяти, в сиреневом шелковом платье с оборками. В правой руке она держала хозяйственную сумку. Левую протягивала Александру Михайловичу, запястьем вперед. Александр Михайлович попятился. Женщина шагнула в диспетчерскую.

— У меня пропали часы, — сказала она. — Вы видите, их нет. Это очень важная для меня вещь, — продолжала женщина, — очень важная, понимаете? Золотые часы, редкой формы. Правда, минутная стрелка у них не крутится, но я и по часовой могу точно время определять. Не стоит делать проблему из таких мелочей, я считаю. Это часы моей бабушки. Она подарила их маме на шестнадцатилетие. Мама подарила мне, а теперь их нет. Я у всех спрашиваю. Пожалуйста, если услышите что-нибудь, попросите вернуть мне эти часы. За вознаграждение.

— Да вы не волнуйтесь так. Может, еще и найдутся ваши часы. Садитесь, передохните. — Александр Михайлович и сам не знал, зачем он это говорит. Колотит в дверь, врывается. Что он ей, бюро находок? Поскорее бы она ушла. Надо так и сказать ей, мол, ничем я, к сожалению, помочь не могу. Развесьте объявления, может быть, кто-нибудь откликнется. И всё, и до свидания.

— Хотите чаю? — спросил он.

— Спасибо, — сказала женщина, — раз уж я здесь.

В чайнике еще оставалось немного заварки.

— А что это у вас тут? Что это за аппарат, в углу комнаты?

— Это пульт контроля лифта, — сказал Александр Михайлович. — Когда лифт вызван, зажигается лампочка. А через микрофон можно говорить с пассажирами, если понадобится.

Женщина встала и подошла к пульту.

— И часто вы это делаете?

— Что делаю? — не понял Александр Михайлович.

— Часто вы разговариваете с пассажирами?

— Нет, лифты у нас хорошо работают.

— По-моему, вы упускаете редкую возможность, — сказала женщина. — Пока человек едет в лифте, вы можете говорить с ним о чем угодно, и он будет вас слушать, потому что деться ему некуда.

— Да, но по инструкции переговорным устройством можно пользоваться только в экстренных случаях, — сказал Александр Михайлович.

— Инструкции устаревают, — ответила женщина.

— Мне не о чем с ними говорить! Это чужие люди! Я с ними не знаком! Послушайте, что вам нужно?

— Всегда найдется что сказать друг другу, — спокойно произнесла гостья.

Она подвинула к пульту второй стул и указала на него Александру Михайловичу: «Садитесь!»

На пульте как раз зажглась лампочка: в кабину лифта вошел пассажир.

— Говорите! — приказала женщина и нажала на кнопку микрофона. — Говорите, вас слушают!

Александру Михайловичу стало казаться, что в комнате не хватает воздуха. На пульте мигала желтая лампочка. Гостья смотрела на него.

— Товарищи, — произнес Александр Михайлович в микрофон, — дорогие товарищи… — Александр Михайлович закашлялся, его рубашка стала мокрой от пота.

— Дорогие товарищи, — женщина взяла у него микрофон, — вас приветствуют из диспетчерской. Мы желаем вам приятного вечера. Пожалуйста, отходя ко сну, не забудьте выключить телевизор. Никто не знает, что вы увидите там рано утром. Позаботьтесь о своем настроении. И электроэнергию сэкономите.

Гостья вновь нажала на кнопку. Желтая лампочка перестала мигать.

— Ну вот. Поговорили, — сказала она, — мне пора, я тут у вас сильно задержалась. Я зайду к вам на следующей неделе, узнаю про часы. Кстати, можно узнать, как вас зовут?

— Александр Михайлович.

— Кира Анатольевна.

С каждым днем Александру Михайловичу становилось все яснее, что же он должен был ей сказать. Он находил все более колкие фразы, все более веские аргументы. Он был резок, саркастичен и непреклонен. Он был тверд, и он был великодушен — до слез, во всяком случае, дело не дошло.

Через неделю она пришла.

— Здравствуйте, Кира Анатольевна, — сказал Александр Михайлович, распахнув дверь.

— Здравствуйте, Александр Михайлович.

Она принесла печенье. С фруктовой начинкой.

После чая они подошли к пульту. Александр Михайлович пододвинул второй стул.

Они дождались, пока в кабину войдет пассажир. Кира Анатольевна нажала кнопку переговорного устройства.

— Я попробую, — сказал Александр Михайлович. Кира Анатольевна передала ему микрофон.

— Добрый вечер, товарищи… — произнес Александр Михайлович. Ему показалось, что он больше не вспомнит ни одного слова. Никогда.

Лампочка мигала.

— Добрый вечер, товарищи! — сказал он снова. — Вас приветствуют из диспетчерской. Пожалуйста, не загораживайте балконы и выходы на аварийную лестницу. Отвезите старую мебель на дачу, а доски выбросьте — дались они вам. Будет пожар, вам же и придется со всем этим разбираться.

Александр Михайлович выключил микрофон. Они молчали.

Кира Анатольевна приходила каждую неделю. Они пили чай и приступали к главному.

— Товарищи! Скоро закончится дачный сезон, — говорил в микрофон Александр Михайлович, — не допускайте на свои грядки колорадских жуков, боритесь с ними! Сами они не уйдут. Съедят вашу картошку, примутся за соседскую.

— Не забывайте заботиться о себе, — вступала Кира Анатольевна. — Любите мандарины — источник антиоксидантов!

Потом они придумали подвешивать кабину. Когда в подъезде нажимали кнопку вызова, Александр Михайлович переключал на

пульте специальный рычажок, и лифт останавливался. Они ждали — минуты две-три. За это время в подъезде успевало собраться несколько человек — долгое ли дело в восемнадцатиэтажном доме. Так их могло услышать больше народу. Да и время было подходящее — конец рабочего дня, час пик. Жильцы приходили в диспетчерскую, стучали в дверь. Им не открывали. Иногда пассажиры отвечали им через переговорное устройство, но как-то неудачно. Кира Анатольевна говорила, что постепенно жильцы привыкнут и смогут участвовать в беседах.

Они выключали микрофон и снова пили чай. Александру Михайловичу очень хотелось проводить Киру Анатольевну домой, узнать, где она живет. Он пытался представить себе, как выглядит ее квартира. Он был уверен, что на лампах там — матерчатые абажуры. Оранжевые. И обязательно с бахромой. Еще у нее наверняка есть кошка, сиамская. Спит себе где-нибудь, не торопится выходить к гостю. Или собака. Болонка, не иначе. Александр Михайлович не любил болонок — от них не знаешь чего ожидать. Но против болонки Киры Анатольевны он не стал бы возражать. После чая Кира Анатольевна сразу уходила. Александр Михайлович оставался один в опустевшей диспетчерской, ждал сменщика.

В тот вечер Александр Михайлович возвращался с работы как обычно. Он вспомнил, что дома закончился хлеб, и решил зайти в булочную. Александр Михайлович уже открыл было знакомую дверь, но тут в освещенной витрине булочной он увидел Киру Анатольевну. Народу в магазине почти не было, Кира Анатольевна разговаривала с продавщицей, в кондитерском отделе. Он стоял на улице, смотрел на Киру Анатольевну, и ему казалось, что, если она сделает какое-то неосторожное движение, случайно махнет рукавом плаща каким-то определенным образом, то все предметы в булочной — все эти разноцветные бумажные кубики, жестянки, фантики, золотые ключики, маски, цукаты, гусиные лапки — приобретут особую легкость, закружатся в вихре, завьются за нею шлейфом. Продавщица слушала Киру Анатольевну, облокотившись на прилавок. Потом она достала с полки плоскую картонную коробку. «Печенье покупает, на завтра», — догадался Александр Михайлович. Он почувствовал себя неловко — как будто со старинных часов зачем-то сняли крышку, обнажив механизм. Или по чьему-то недосмотру второе дно в сундуке фокусника вдруг оказалось прозрачным.

Ночью Александр Михайлович заболел. У него поднялась температура, ломило суставы. Он часто просыпался, а когда засыпал снова, ему снилось, будто он управляет огромным кораблем. На пульте зажигались тысячи разноцветных лампочек, датчики показывали глубину воды и удаленность от космических объектов. Айсберги расступались перед ним, лифты распахивали свои створки, в кодовых замках плавились реле, стрелки железных дорог поворачивались на юго-запад.

Температура держалась весь следующий день. К вечеру ему стало получше. Александр Михайлович закутался в плед и подошел к окну. Смеркалось, в окнах домов зажигали свет, и на его фоне комнатные растения казались силуэтами из кукольного представления. «Без больничного не обойдешься, — думал он. — А потом поеду в санаторий, мне уже давно путевку предлагали. И вообще, нужно уходить из этой диспетчерской: как сломается лифт, так и поднимайся пешком на восемнадцатый этаж». Александр Михайлович вернулся в кровать и снова уснул. На этот раз он проснулся отдохнувшим, проспав долго, без сновидений.

Черный чай

В алюминиевую кастрюльку налить из крана 1 литр холодной воды.

Вскипятить кипятильником.

Вымыть заварочный чайник. Ошпарить его кипятком.

Положить туда половину столовой ложки чая «№ 36».

Добавить чайную ложку сахара.

Залить кипятком (две трети заварочного чайника).

Дать заварке настояться пять минут.

Пить, разбавив горячей водой по вкусу, из стаканов с подстаканниками, желательно в темное время суток, когда электрический свет придает получившемуся напитку теплый оттенок.

Елена Боровицкая

Счастливое платье

Лизка нетерпеливо переминалась и жала кнопку звонка соседской двери: раз-два-три. «Иду, да иду же», — раздался голос тети Вари. Дверь распахнулась, и соседка ахнула, увидев Лизку:

— Сожгла свадебное платье? Утюгом? Говорила ж тебе, осторожнее!

— Да нет, тетечка Варечка, с платьем все в порядке, можно войти? Тетечка Варечка, спаси!

— Ну проходи в комнату… Да не ори громко, соседский Мишка со смены вернулся под газом. Получка у них, спит теперь.

В комнате Лизка взахлеб принялась рассказывать: такая беда, вот ведь не додумались, приехала родня Кольки из деревни, надо не только свадебное платье, а еще и на второй день. В деревнях свадьбы большие гуляют, как же без второго дня?

— А у меня только синее, шерстяное, которое ты мне в позапрошлом году для училища сшила, а так юбки обтрепистые, сама знаешь, откуда у меня еще одно платье, — Лизка от расстройства чуть не рыдала, — Колькина мать губы поджала, говорит, ты что, в поле обсевок? И денег нет, да и были бы — где матерьял купить, мне уж на свадебное-то Нюрка из сорок шестой устроила… Тетечка Варечка, милая, ну придумай что-нибудь…

Если и был кто в силах помочь Лизкиной беде, так это Варвара. Шутка ли — уж лет тридцать, с шестнадцати, портнихой в ателье работала. И не в простом, а для начальства. Золотые руки у Варвары: хоть платье с плиссе или гофре, или тонкую вышивку, а то и плетеное кружево — все умела. Лизке такое подвенечное за неделю сшила — все бабы ходили смотреть. А тут такая напасть — еще одно понадобилось.

— Ты вот что, Лизавета, принеси стремянку, в передней стоит, да слазь-ка на антресоль. У меня там всякие обрезки-остатки, может, чего придумаем…

У Лизки мигом высохли слезы, и она умчалась. На это она и надеялась — знала о Варварином антресольном богатстве. А кружев там! Кружев! На подвенечное Варвара расщедрилась, такую вставку ей сделала, говорила — брюссельские, трофейные. Лизка взгромоздилась на стремянку.

— Так, достань мне вон тот фанерный чемодан, помнится, там креп-жоржет был у меня, желтый в черную крапинку.

— Я желтое не люблю, — предупредила Лизка, но чемодан достала. Ну и тяжелый же сундучище!

Что может быть интереснее, чем копаться в диковинных обрезках? Да Лизка таких в жизни не видала: узорный панбархат, гладенький креп-сатен… Прикладывала обрезочки к себе и представляла себя дамой, у которой целое платье из такого есть.

— Тут одна мелочь, надо посмотреть, что в глубине… —

Варвара вытащила кусок чего-то струящегося, желтого, как солнышко. — Ну вот, если это скомбинировать с чем-нибудь, то платьишко может выйти…

— Ой, тетечка Варечка, а это что? Целое платье! Ой, да какое! — Лизка держала в руках крепдешиновое платье.

Платье действительно было загляденье. Бело-синее, полосатое, с пышной юбкой клиньями, а на лифе — оборки из однотонного синего, в тон, плиссе!

— Надо же, давно на него не смотрела, — неожиданно грустно сказала Варвара.

— Это твое? С такой талией?

— Ты что ж, думаешь, я всегда такая была?

— Ой, тетечка Варечка, — Лизке было не до переживаний соседки, — а можно померить? Ну пожалуйста, тетечка!

— Да меряй, не жалко, — вздохнула чему-то своему Варвара.

Лизка скинула застиранный халат и погрузилась в платье. Юбка широкая — как не повертеться перед зеркалом. Лизке платье шло. Она сунула руку в кармашек, в шве юбки.

— Ой, что это? Тетя Варя, это ты?

Варвара осторожно взяла в руки твердый четырехугольник. Совсем пожелтела карточка, смешная карточка, сделанная у моментального фотографа. Варвара в этом самом платье, молодая совсем, в руках — рожок с мороженым. А рядом с Варварой мужчина. Высокий, худощавый, почти худой. Взгляд непонятный, словно не здесь он, или здесь? Губы тонкие, но не злые. А Варвара — от счастья светится.

— Интересный какой. Кто это?

— Все тебе скажи… Муж мой.

— Ой, муж… а сейчас он где? На войне погиб, да? — Лизка быстро окинула глазами — вдруг не заметила чего — стены комнаты и полки этажерки. Нет, не было у Варвары нигде фотографий, обычных в семьях погибших на фронте.

— Нет, мы давно расстались, до войны еще. Да и прожили-то вместе всего два года… Ладно, снимай платье, давай чаю попьем, подумаем, как тебе помочь.

Лизка, успокоившись, что перед деревенской родней своего жениха не осрамится, принялась грызть пряник. Нет-нет да и поглядывая на карточку. Странно ей казалось — никогда она ничего о муже Варвары не слыхала. Впрочем, «до войны» она не помнила.

— Теть Варь, а он кем работал? Выглядит как образованный… Учитель или вообще — профессор. — Лизка прыснула, представив себе профессора в Варвариной коммуналке.

— Да, образованный, в музее он работал. Языков знал много,

четыре-пять ли, — Варвара отвечала скупо. Непонятно было, то ли говорить не хочет, то ли, наоборот, не может удержаться от соблазна, чтобы не поговорить.

— С ума сойти! А где ж ты с ним познакомилась?

— Да тут и познакомилась. Комнату мне тут дали. Генеральша одна слово замолвила. Больно ей нравилось, как я ей платья гоношила, тогда гофре в моду вошло. А на всю Москву всего несколько мастериц его делали… А он тут жил, в угловой, где Мишка теперь с Клавкой.

— Ну и? — Как всякая невеста, Лизка про чужое любовное слушать любила — чтобы со своим сравнивать: кто счастливее.

— Что «ну»? Так и сладилось. Он тихий был, ласковый. Шанежки очень любил. Я мало понимала, что у него на работе было. Спрошу, ответит: «Хорошо все, Варенька». Да и куда мне с восемью классами-то.

— Чай, в койке-то классы не нужны! — Лизка засмеялась собственной шутке.

— Ох и дура ты еще молодая, Лизка, — необидно фыркнула Варвара. — Я всегда, все два года знала — не по себе дерево валю, не по себе… Ну да что? Два года счастливых — а все мои.

— Ну и что, бросил он тебя, да?

— Да нет, почему бросил. Просто ушел. Наследство какое-то получил, что ли. Да и съехал. Подвальчик снял. Книги туда перетащил свои да и съехал.

— Ну а ты что же? Даже не спросила, мол, а я как же?

— Ну что спрашивать? Не позвал, ушел, значит, решил, что больше не по пути. Да я ж говорю, знала, не по плечу он мне. Умный, книгу писал… А я — что я кроме ниток да иголок видала? Да и другая у него появилась.

— Да ну? Молодая, наверное?

— Я и сама нестарая тогда была. Другая — лучше не скажешь. Вот уж пава-то была. Красавица, холеная, аж светится. Надо же, сколько раз ее у нас в ателье видала…

— В ателье? Она что, тоже у вас работала?

— Лизк, ты чем слушаешь? Такие дамы не работают, они у нас платья заказывают. Она, правда, у Зинаиды Алексеевны, Зинки то есть, шила. Та уж старшей мастерицей была… А потом опустел подвальчик. И другие люди там поселились.

— А ты откуда знаешь? Что, ходила, следила? Варвара опустила глаза.

— Да что греха таить, ходила. Только не следить, а хоть на минутку его увидеть. Опустел подвальчик. Пава еще какое-то время в ателье заходила, а потом и она пропала. Не знаю, сладилось у них или нет. Ну, да дай бы бог.

— Как ты так можешь! Гордости в тебе нет, тетя Варечка, вот! — Лизка от полноты чувств шмыгала носом, ярилась не на шутку. — И что, так за двадцать лет ни разу и не объявился? Попользовался тобой, как ветошкой, да и выкинул? И как звать тебя забыл?

— Ну зачем ты так, глупая, — Варвара улыбнулась. — Ничего он, конечно, не забыл. Он человек чувствительный был. Однажды дворняжку дверью в парадном зашиб, приблудная собачонка была, так, почитай, полгода потом маялся, все рассказывал: Варенька, снится она мне… А ты говоришь, меня забыл. Да что ж он, по-твоему, — нелюдь? Разве может человек забыть того, кто душу ему отдал?

— А что ж не объявился?

— Значит, не смог. А говорить так не смей. Он тоньше нашего чувствовал. Вон, Мишка напьется, бывает, себя не помнит, но Клавку-то не забывает. Он, Мишка-то, — рвань. А тот душевный был.

— Ой, тетечка Варечка, а ты его до сих пор любишь, да?

— Не знаю, Лизка, люблю ли. Понятно, позвал бы — так на коленках бы на край света за ним поползла. Да не нужна, видать. И что я разболталась с тобой… Все платье это полосатое. Зинка тогда крепдешину по спецталону достала — большой отрез. Себе и мне. Хороша я в этом платье была. Один раз всего и надела. Мы с ним тогда еще в музей пошли, лекция там была. А потом мороженое ели в парке. Фотографировались… — Варвара замолчала, задумалась, а потом тряхнула упрямо головой: — Вот что, Лизка. Теперь опять такое носят. Я тебе воротничок чуть-чуть подправлю, да и забирай ты это платье. Будешь красавица! Да не сомневайся: это платье — самое счастливое!

Рецепт приготовления чая, оставленный Варечке ее любимым мужчиной

Ополоснуть заварочный чайник крутым кипятком да еще и поставить его на просушку сверху на чайник с кипящей водой. Всыпать в просушенный таким образом заварочный чайник по чайной ложке заварки на каждую предполагающуюся чашку чаю. Воды пока не наливать! Заварочный чайник прикрыть крышкой и оставить на пару минут на кипящем большом чайнике. Потом налить в заварочный чайник до половины кипятка. И снова подержать на водяной бане. Если вода слишком жесткая, щелочная, бросить в чайник кусок колотого сахару. И долить водой доверху.

чай должен быть темно-янтарным, прозрачным. Пить его надо сразу, потому что, постояв, он мутнеет. Лучше всего для такого метода подходит крупнолистовой черный чай — английская и ирландская смеси, к примеру, которые можно иногда купить в коммерческом магазине на Арбате. Эти чаи продаются в красивых железных коробках, в которые потом можно складывать нитки, иголки, мулине и пуговицы.

Юка Лещенко

Заячий пирог

Сижу с компрессом, облепленная ватой, пропитанная спиртом, завернутая в целлофан, под носом кружка с горячим, масляной пенкой набухающим чаем, и бабушкины руки пахнут аптекой, на указательном — рыжий йодовый след, на мизинце зеленка.

— Ну пей уже.

Я умею выпадать из плохих минут, главное, зажмуриться до звездочек, скукожиться, — и вот чтобы носки не кусали пятки. Душно, влажно, пневмония, и по стенам ходит страшное: караморы на длинных лапках, шерстяной пучеглазый бабай, вытянутое лицо фонаря — желтое с зеленым, главные цвета болезни.

— Ну пей, пей, скоро дедушка придет.

Я знаю, дедушка идет к нам через лес — в лесу живут морщинистые сосны, белка, чужие дядьки и ягода земляника, потом через поле — летом поле цветет гречихой и жужжит пчелами, а зимой там бегают куропатки — такие птицы в крапинку, раньше их ели, теперь едят кур, они все равно некрасивые.

Дедушка идет с работы, у него черный портфель с блестящей, как будто соленой, застежкой, дедушка никого не боится. Когда дедушка доходит до полянки — от нее три дорожки вверх, одна к нам, — из тучи выползает луна, я знаю, что она не из сыра, но ночью так вкусно прикусить ее плавающий в окне краешек — зубам холодно, и язык в пупырышках.

Дедушка останавливается возле пенька — под ним живут мурашки, если засунуть к ним палочку, а потом облизать, будет кисло, тоже хорошо. Дедушка говорит в темноту:

— Я тут.

Из-за пенька выходит зайка, ну заяц — настоящий, только в серой шубе, они летом всегда переодеваются в серое.

— Юленька хорошо себя вела? — спрашивает заяц строго, прямо как бабушка.

— Хорошо, — говорит дедушка, он немножко врет, но это не страшно.

— И все лекарства выпила? — снова спрашивает заяц и прядает мягким ухом.

— Все, все, — говорит дедушка и складывает указательный и средний крестиком, чтобы вранье не считалось.

— И чай? — удивляется заяц. — Горячий масляный чай? С медом? Весь выпила?

— Да, — выдыхает дедушка, он настоящий октябренок и не сдается. — Ну почти весь, на донышке осталось.

— Ах, какая хорошая девочка! — говорит заяц и улыбается, и

лапкой закрывает зубы — просто зайцы боятся стоматологов, прямо как я, и никогда к ним не ходят, ни даже на минуточку просто посидеть в клеенчатом кресле. — Раз она такая умница, я передам ей что-то секретное, что-то очень вкусное.

— Спасибо, — говорит дедушка и прячет в портфель пакет. — До завтра.

— Ладно, — отвечает заяц, — там видно будет.

Дедушка идет дальше по тропинке. Сосновые иголки поют под ботинками, где-то в папоротнике топает еж, и звезды такие чисто вымытые, что прямо поскрипывают…

— Ну пей, — снова говорит бабушка и смотрит на часы, — пять минут осталось.

Компресс прилип, и караморы смотрят сердито. Я вылущиваюсь из одеяла и в пять огромных, торопливых — в горле щелкает и ухает, как сова, — глотков выпиваю чай.

— Юленька молодец, — говорит бабушка.

И я слышу шкряб-шкряб-шкряб ключа в замочной скважине, покашливание, шелест пакета.

Дедушка снова прошел через лес — он протягивает мне крошащийся треугольник пирога, с изюминами, с сахарной корочкой, с прилипшей сосновой иголкой.

— От зайца? — спрашиваю я шепотом.

— От зайца, — шепчет дедушка. — Только он сказал…

— Он сказал — еще чаю, — киваю я. Я знаю правила, я часто болею.

Дедушка дует на лампу, и та гаснет. Когда-нибудь я тоже так научусь. А пока у меня есть заячий волшебный пирог. Самое удивительное, что бабушка печет такой же, но у заячьего совсем другой вкус.

Манник от зайца (Для тех, кто выпил чай)

Взбиваются в пену четыре яйца и стакан — обычный советский граненый — сахара, туда же добавляется 250-граммовая баночка сметаны — желательно без баночки —

и опять-таки граненый стакан манки, смешанной с разрыхлителем теста, пачка творога и немножко сливочного масла. Изюм и прочие радости можно добавлять по вкусу. Все еще раз хорошенько взбалтывается, выливается в форму и ставится в предварительно разогретую до 180 градусов духовку, где и печется при той же температуре 40 минут. Съедается моментально.

art

Художественное оформление книги

Обложка

МАКС ФРАЙ + АМФОРА = ФРАМ

Однажды Маруся Вуль, о чьем искусстве варить кофе слагают легенды в обеих российских столицах, предложила мне сделать «Кофейную книгу» — сборник рассказов, персонажи которых непременно пьют кофе, а авторы любезно делятся с читателями рецептами его приготовления. «Тогда уж должна быть аналогичная книга рассказов про чай», — заметил писатель Дмитрий Дейч. Его замечание показалось мне совершенно справедливым. Тем более что хотя серьезных книг о чае и искусстве чайной церемонии в последние десятилетия появилось предостаточно, до сих пор никому почему-то не пришло в голову сделать сборник рассказов, персонажи которых пьют чай, тем более — с авторскими рецептами приготовления этого священного напитка и достойных хорошего чаепития закусок. Поэтому нам пришлось сделать такую книжку, а вам теперь придется читать, а потом заваривать чай и печь пироги по нашим рецептам, — повезло, что тут еще скажешь.

Макс Фрай

366 книжный клуб

www.amphora.ru

9 785367 008630

ISBN 978-5-367-00863-0

Рисунки на обложке Людмилы Милько

издательство амфора

Однажды Маруся Вуль, о чьем искусстве варить кофе

слагают легенды в обеих российских столицах, предложила мне сделать «Кофейную книгу» — сборник рассказов, персонажи которых непременно пьют кофе, а авторы любезно делятся с читателями рецептами его приготовления. «Тогда уж должна быть аналогичная книга рассказов про чай», — заметил писатель Дмитрий Дейч.

Его замечание показалось мне совершенно справедливым.

Тем более что хотя серьезных книг о чае и искусстве чайной церемонии в последние десятилетия появилось предостаточно, до сих пор никому почему-то не пришло в голову сделать сборник рассказов, персонажи которых пьют чай, тем более — с авторскими рецептами приготовления этого священного напитка и достойных хорошего чаепития закусок.

Поэтому нам пришлось сделать такую книжку, а вам теперь придется читать, а потом заваривать чай и печь пироги по нашим рецептам, — повезло, что тут еще скажешь.

Макс Фрай

notes

Примечания

1

Этот традиционный турецкий рецепт, до сих пор имеющий хождение среди старых сефардских семей в Иерусалиме и Яффе, хорош тем, что позволяет достичь удовлетворительных результатов при использовании посредственного чая, в том числе даже черного порошкового чая фирмы «Высоцкий» в мешочках (одной чайной ложечке листового чая соответствует один мешочек). В таком случае мешочки с чаем следует вынуть из чайника после первого этапа заварки. — *Примечание автора.*

2

Александр Галич. После вечеринки.

3

Александр Галич. Баллада о вечном огне.